



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (500)

2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Михаил Бордуновский. Ульсгор отдалённый. <i>Стихи</i>	3
Марина Бувайло. Тётя Люся. <i>Рассказ</i>	7
Нина Александрова. Потому что любовь не имеет названия. <i>Стихи</i>	11
Евгения Скобина. Курков дом. <i>Повесть</i>	16
Евгений Вольперт. «это стихотворение будет совсем без сюжета...» и др. <i>стихи</i>	41
Софья Суркова. Посмертная фотография. <i>Рассказ</i>	44
Иван Стариков. Weihnachtsmarkt и др. <i>стихи</i>	47
Валентина Фехнер. «разомкнутый вопрос...» и др. <i>стихи</i>	55
Владимир Тренин. Король шмелей. <i>Рассказ</i>	61
Виталий Гурамишвили. «Там, где спускались травы в небеса...» и др. <i>стихи</i>	74
Дмитрий Лагутин. Про еще одного поэта. <i>Сказка</i>	80
Сергей Шаталов. Из цикла «Непрерывность ветра». <i>Стихи</i>	92

ДРАМАТУРГИЯ

Антон Ботев. Великая тайна и ужасающая глубина смерти и вечности.....	96
--	----

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Михаил Бару. Легенды черных листателей.....	129
--	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Алексей Голицын. «Яков Вебер проповедовал гибель советской власти».....	149
--	-----

СТРАНИЦА ПРЕМИИ «НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН»

Елена Соловьева. Завершитель, реаниматор, глубокопател, наблюдатель. Обзор премиальной критики.....//.....	167
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Данила Давыдов. Непрочитанные знаки О кн.: Юлия Лукшина. <i>Сухое плавание</i>	174
Борис Кутенков. Ласковый бог ремейка О кн.: Олег Дозморов. <i>Хорошие песни</i>	176
Елена Соловьёва. Дагерротип самой себя О кн.: Анна Арно. <i>Ты не заставишь меня открыть глаза</i>	180

УЛЬСГОР ОТДАЛЁННЫЙ

1. Две статуи всадников невдалеке от Ульсгора

Кто говорил другому: «ты есть»? В облаках уже созревали колосья войны, когда мы покидали Ульсгор. Покидали Ульсгор – это дело; не век же болтаться в желудке у горного храма: сколоть имена, абрикосовой ветвью прикрыть зевающий рот. Обращайся к ручью по имени-отчеству, зря пятернёй не размахивай в воздухе, в запахе полных полей, винограда смертельно отяжелевшего. Двинь мне. Ударь, я хочу очнуться от слепней, ласкающих шею мою и губы. Явись. В предместьях Ульсгора падают листья, их птицы хватают за плечи среди мокрого воздуха соприкасаясь мизинцами, лапами, грудью. Всем телом дыши, я тебя не замечу: ты ещё есть, ты повсюду, ты брат мне, ты встречен, весть обо мне тебя догоняет. Прохожий в предместьях Ульсгора нас принимает за камни – но мы движемся много быстрее ручьёв, покидая чёрный Ульсгор. В руке моей ласточка.

Есть у тебя ум, или весь ты состоишь из души? Есть лицо, или твоё лицо – это рыба? Сказать ему нечего, тёплый воск, лицо твоё не яснее случайных людей, различных в толпе. В словарной статье об Ульсгоре два-три безмятежных слова – и каждое слово, щёлкнув зубами, свивается; хлопнув дверью, уходят слова на работу в час, когда мы покидаем Ульсгор. Обнаружив исчезновение наших плащей, горожане смеются, псы собираются в церковь. Листва опадает.

Михаил Бордуновский родился в Челябинске в 1998 году. Главный редактор журнала поэзии «Флаги». Публиковался в журналах «Воздух», «Гвидеон», в разделе «Студия» «Новой карты русской литературы» и др. Член комитета охраны ЛЭП. Живёт в Москве.

2. Владетельница Ульсгора принимает гостей

Итак, они с гобеленов сходят,
пекут пироги, поочерёдно дуют в трубу,
но гневливые струны скрипки, лопнув, ломают
лицо музыканта. Переводная картинка:
партитуры совестливых оркестров,
что, взявшись за руки, золото звука выносят, серебряный след –
всё смещено, всё немного
не на своих местах. Гребень ливня
луговую траву причесал, сбил с путей, вдоль которых
она росла. Да, покой трудоёмок. Да, сад заперт.

Между тем, фонтаны наши все в чешуе туманной,
гости наестся не могут, над ними
узел сна качается нестерпимый.
Кольца, яблоки. Сторож сада, расколотый натрое
бурным стеклом. Каждый раз, при встрече,
я имя твоё из памяти вынимаю
как из колоды карт...

3. Ульсгор собирает армию

Юноши свиты Хосрова, и
соляные божки Каспийского
моря, пузырь гладкотканой
рыбины, вздутый среди
потрохов, счета с безупречными
столбцами расходов, глубокое
дно вещей, их завязанные
глаза, и я, я – который
младше собственной тени:

всё это необходимо, и всё это будет взято.

Выбор сделан. К вечеру начинается
дождь. Молния смотрит
кино воды. А плечи твои
существуют отдельно, напоминают
дальние перистые облака. На стыке
памяти и покоя мы видим предметы
о которых люди молчат: керамику ада,
фаянс грозы, стеклянный осколок оружия;

спасибо. Это сон. Вздывается шар воздушный,
и за стенами замка, где каждая дверь обладает
именем (Альфа, Альфина, Дельта,
Регина – и Фула), собираются птицы:
прячутся под козырьком, курят, смеются,

ругаются матом. Герольды
указывают листьям, как правильно погибать.

...а мы ещё иногда замечаем в небе след реактивного самолёта,
или звезду падучую (певчую).

4. Вечером они читают газету

Кто такой министр? Он
схлопнулся внутрь сердечного приступа:
чаем, ввезённым беспошлинно, пахнет теперь
на улицах; лезвием ночи поддета
крышка твоей ладони над белым
листом бумаги. А люди сами –
краткосердечны; под каждым
камнем у них монетка, в карманах –
персики. Солнце уходит за город,
в меркнувшие ручки окуная пальцы.

Ты стала другой за то время, пока я произносил твоё имя.

Вот в книгах-то имён несчетное братство,
и на картах – рек несчетное детство;
все они окружают Ульсгор, как очевидцы
смерти случайной: над телом встают, качаясь,
женщины в тёмных беретах и ослепительные солдаты.
Безмозглый гранит из-под ног утекает, кричит
газовая горелка, придворные врут королю:

это не страшно. Но всё же сегодня ещё и
с веревочной лестницы осень сорвалась, и тихий
рабочий из ямы мне головою кивнул –
будто друзья мы.

5. В город въезжают иностранные послы

Вишни, солеломни, мутнеющие сады;
упавшему с лошади, согласно традиции, раскалывают
череп; песчанощекая девочка
играет на дудочке гнева. В том и наш хлеб,
и наш герб. Посланник весь бел. А мы
в своих шляпах широких, спрятаны, как в сундуках.

Эти стихи ни на что не годны. Ими не накормить голодных.

Вещество устало, но музыка гривой машет:
так, будто айсберг твоей парадной причёски
ещё иногда замечен в толпе. Что, и ты

не предавал никого? С чужой
женой не ходил, не пил
чужого вина? Так о чем мне с тобой говорить?
О *geaituria oxiana*? В пленной воде пруда
загустевает материя, становится уткой;
Ульсгор Отдаленный знаком нам по сводкам погоды,
по крику «добыча! добыча!» с которым ребёнок, играя,
бросается к птицам. Это недопустимо:

твоя ладонь на моём животе – металл на металле.

И люди видят сквозь тусклые стекла:
круглый зверь ходит по кругу, треугольный –
зерно ест. Жгут листья. Двор выметен. Всюду прохлада.
Пора исчезать, но помедлим ещё минуту –
вытряхнуть камешек из твоего ботинка.

6. Я ничего не помню

Безоблачное яблоко догрызаю –
безоблачное яблоко покоя, спрашивающее:
когда? когда ты вернёшься к чтению? когда
липы осядут, падут усадьбы? когда
враги к тебе подойдут с собаками двухголовыми?
Здесь ангелов бессчётно:
ангел-шуба, ангел-зеркало, аспирин-ангел –
и всё же нет у них грузовых кораблей, чтоб везти твоё сердце по миру.

Да, все мы измучались.

Да, однажды меня отец водил по Ульсгору:
выпал снег венценосный, ударила нас
полой плаща проезжавшая тень.
Мы говорили со статуями, неплохо
провели день. Очень устали. Хватит об этом.

Оседают липы, усадьбы трубят к отходу.

Словно моль мы с тобою кружились и пили
снег животами. Ведь всё уже было,
кроме зимы Ульсгора.

сентябрь 2020 г.

ТЁТЯ ЛЮСЯ

Рассказ

Тётя Люся была креативным человеком. Слова такого тогда не было. Или было, но где-то в другом месте, не у нас. То есть слова не было, а тётя Люся была, хоть для её креативности были другие слова, может быть, изобретательным или творческим человеком называли бы её, если бы хотели назвать как-то по-другому, а не так, как обычно называли. Многие слова я и узнавала именно в связи с тётей Люсей. Например – пройдоха подзаборная. Так к ней обращался ещё один наш сосед, дядя Ефим. А уж как она к нему! Я на горьком опыте поняла, что повторять это при бабушке не стоит, когда она запретила мне выходить на кухню, если там была тётя Люся. Но, запрет нарушая, выходила, и в гости к тёте Люсе, первая комната от входа, заглядывала. И все слова запоминала на всякий случай, который обязательно вскоре случался, однако использовала осмотрительно, осмотревшись по сторонам, чтобы не только бабушки, но и вообще взрослых или ябеды Аллочки рядом не было. Свои креативные конструкции тётя Люся использовала точно и точно, наповал. И надо сказать, умение пользоваться тётей-Люсиным словарем меня не раз спасало от больших бед, не только в дворово-уличных стычках детства, но и позже, в ночных возвращениях домой или поездках на попутках.

Еще у тёти Люси был свой язык цветов, домашних цветов в горшках. Для каждого посетителя свой. Обычно цветы у неё жили на окне на улице, широком и солнечном, а для коммуникаций (таким красивым словом называл тётей-Люсины цветы военный полковник, при бабушке я на всякий случай его не повторяла) было другое окно, узкое как щель, во двор на мусорные баки. Цветы на этом подоконнике означали приглашение, кого и зачем, знали приглашённые, и забегали во двор посмотреть, не зовут ли? Говорили, что давно, до войны и даже раньше, почтиштоприцаре, наша квартира, вся целиком, как есть, принадлежала одному человеку, а потом, в один прекрасный день... когда моя бабушка говорила *в один прекрасный*, ясно было, что ничего прекрасного не произойдёт, а совсем наоборот, так вот, в один прекрасный день этот человек, и отец его, и их жены куда-то исчезли, а сына человека отправили в детский дом. Будешь так себя вести, убежать в чужие дворы и повторять за этой... тётей (бабушкин голос менялся, интонация изображали насмешку, переходящую в презрение)... Лю-ю-сей, и тебя отправят. Детский дом меня не очень-то пугал, подумаете! Я не верила, что бабушка разрешит забрать меня в детский дом, если меня даже в детский садик совсем рядом, через сквер, туда я очень хотела, не пускают. Тем не менее, театр на театр, и я закатывала самую убедительную истерику, на которую была в тот момент способна.

Марина Бувайло родилась в Баку. По образованию врач. С 1981 года живет в Лондоне, работает психиатром. Публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и др. Автор книг «Эх, дороги» (М.: НЛО, 2006), «Игры» (М.: НЛО, 2009), «С.П.У.М.С.» (М.: НЛО, 2011). В «Волге» публикуется с 2012 года.

Хотя тетя Люся работала на мясокомбинате, она сама мяса или там колбасы-сосисок не ела, говорила, тошнит. Но домой приносила и выставляла на подоконнике герань, или фикус, или какую-нибудь фиалку. Те, к кому это сообщение было обращено, понимали и забегали или звонили по телефону.

Были ещё и музыкальные сообщения. Лёшка-с-Покровки стучал по водосточной трубе та-та-та-тата, и тётя Люся шла, если хотела, открывать ему. А могла и не идти, если настроения не было, или военный полковник зашёл, или дядя Витя у неё находился, или девчата выпивали, а с Лёшкой если выпивать, то беды не оберёшься, потому что Лёшка пить в компании не умел, буянить начинал. Дядя Витя и сам любил приходить в одиночестве, постучит та-тата-та-та, не открутит, дальше идёт, у него в соседней арке друг жил, на флейте играл.

Сам дядя Витя на губной гармошке хорошо умел. Держит одной рукой, у него осталась одна, а вторую он «оставил под Рыжевом, город такой», не очень понятно, почему под, а не в самом Рыжеве, держит гармошку и дует в неё, играет. Ещё они с тётей Люсей пели, раздавят бутылочку, обнимутся и поют – «не искушай меня без нужды», и «отцвели уж давно хризантемы», и «мой костер в тумане светит и скрыгаснет налету», и «очень черные очень страшные». Про «не искушай меня» я знала, перед тем как шлёпнуть меня, бабушка несколько раз это повторяла, и если я не переставала скандалить... В общем, понятно – води себя хорошо. Костер скрыгаснет тоже понятно, мы однажды с Генкой из спичек и сухих листьев развели костер на помойной лестнице, и он тоже довольно сильно скрыгас, там всегда был ветер, дуло из разбитого окна. Очень черных и страшных я боялась и не вникала в подробности. Про раздавленную бутылочку тоже вначале было непонятно, я не сразу смирилась с объяснением дяди Вити, что осколков нет, потому что взрослые умеют раздавить, не разбив, а у меня бутылка не давится, потому что её с другом выпить надо, а для этого вырасти надо.

Вот ещё столько ждать! На кухне между рамами стояла бутылка молока. Я думала наша, но оказалась... неважно, не наша! не тёть-Люсиная, не дяди Ефима, с ними можно было бы договориться, тем более что Генка, с которым мы эту бутылку и давили, был родным сыном дяди Ефима, хотя жил с матерью в другом подъезде.

Честно допив, я с отвращением, потому что молоко терпеть не могла, а Генка хоть и любил, но был такой копушка, ужас! (бабушка говорит, что стареет, когда ждёт меня, а я выросла, пока он глотал, отдуваясь, свою половину), честно допив эту бутылку на помойной лестнице, мы по очереди и вместе залезали на неё и, держась за подоконник, топали. Я прекрасно понимала, что стеклянная бутылка не раздавится, в лучшем случае разобьется, но эксперимент (слова этого я ещё не знала) есть эксперимент. Результаты я доложила дяде Вите, который и сказал, что это был эксперимент, (я несколько раз вслух и про себя повторила такое трудное слово), но не чистый, потому что ещё не доросли.

К вечеру на кухне началось расследование – пропала бутылка молока Васильевых, а они оба были очень важными, он был кем-то в Большом театре, а она в ЦУМе. Расследователями были все. И подозревали всех, кроме меня и тёти Люси. Все знали, какие скандалы я устраивала, если бабушка пыталась влить в меня молоко, а «эта» его тоже не употребляла, была почти веганом, хотя и такого слова не было. Её друзей, дядя Ефим называл их клиентами, а другие – алкоголиками, тоже не особо подозревали, молоко не выпьешь и не продашь, и сами они сытые, тётя Люся их колбасой кормила. А вот все остальные жители квартиры, включая самого Васильева – «мог отнести своей Блядерине» – должны были доказывать свою невиновность.

Про Блядерину было известно, что она «целыми днями живёт на морковке и молоке, чтобы легче было махать ногами, и даёт всем подряд». Бабушка часто водила меня в Большой, нас пустили по знакомству с Васильевым, как балерины танцуют в ряд, я видела, но что они при этом могут жевать морковку и пить молоко, не знала. Хотя сразу поняла, как это прекрасно, балерины махают ногами, и чтобы им легче было махать, Блядерина на цыпочках, на пуантах, плывёт мимо них как лебедь, и даёт всем подряд морковку. У всех подряд изо рта торчит по морковке, которую дала им Блядерина.

Следователями были все. Расследования и дознания проводились публично на кухне. Все присутствующие, а они менялись, из всех сил доказывали свою невиновность и рассказывали, кого и почему подозревали. Дядя Ефим предложил вскладчину купить «эту бутылку», но бабушка и тётя Люся отказались, бабушка сказала, что это было бы признанием вины, а тётя Люся, что единственная радость от житья в коммуналке, это смотреть, как они скандалят, в цирк ходить не надо. Дядя Ефим сказал, – ну, с женщинами разговаривать... э... себе дороже.

В отличие от тёти Люси, дядя Ефим не обладал умением точно сказать то, что хотел. Выражение «пройдоха подзаборная» по отношению к тёте Люсе никакого, ни на том моём уровне понижения, ни позже, смысла не имело. Вот одна знакомая собачка была пройдоха, а иногда пролаза, в зависимости от подзаборной щели. Она всегда удирала из сквера от хозяйки, и её потом ловили «всем миром», хотя ясно, что мир большой, если такая маленькая собачонка добежит до Парижа или Китая, вряд ли её там будут ловить и сдавать в багаж, как они узнают, откуда она сбежала? Тётя Люся была согласна со мной – мир большой, делов там много без того, чтобы собак гонять, особенно если собака и хозяйка её обе дуры безмозглые.

Меня тётя Люся звала Мартыхой, когда была в хорошем настроении, а если сердилась, это случалось, но редко, и как правило за дело, звала меня моим именем, не как бабушка – Аля, а полным, Аделаида. Однажды я слышала, как она сказала дяде Валентину, который жил в длинной комнате за сундуком, что единственный нормальный человек в квартире это Мартыха, и если бы не я, Мартыха, она, тётя Люся, давно бы переехала куда-нибудь, хоть на Магадан, а нашу квартиру напоследок залила бензином, чтобы мудаки, которые бросают незагашенные чинарики, взорвались к ибёнофене.

Дядю Валентина мне стало жалко, он был очень красивый, с чёрными усами, он уходил рано, а возвращался поздно, и сразу проходил к своей вешалке за сундуком. Он носил шапку, похожую и на кораблик из газеты и на бабушкину шубу из каракулей, у него были чёрные сапоги, которые он чистил на сундуке, и такие смешные штаны с пузырями по бокам, между попой и коленками. Я в него была немножко влюблена, и изредка вспоминала об этом и ждала, сидя на сундуке перед его дверью.

Тётя Люся сердилась на меня редко, но однажды больно отшлёпала и выгнала из комнаты. При этом ткнув в сторону сундука, что-то прошипела, что я не расслышала. Я не заревела и даже не очень обиделась, скорее удивилась и решила, что она не поняла – я точно не виновата, а наоборот. Это косорукий Генка засадил палкой в окно кухни, вместо пожарной лестницы, на которой застрял наш мячик. Стекло треснуло, Генка убежал к себе, а я пошла домой и доложила тёте Люсе, что произошло. И в ответ на этот хороший поступок...

Посидев дома и поскандалив с бабушкой из-за борща с большими кусками свёклы, я решила идти к тёте Люсе объяснять, что она не поняла, окно разбила не я, а... Тут мне очень повезло, так как за это время к ней пришёл дядя Витя, и благодаря его вмешательству мне не попало по попе ещё раз. Я только открыла рот, чтобы начать, как тётя Люся закричала: – а, стукачка, явилась!

Дядя Витя снял свою руку с тётки-Люсиного плеча, ухватил меня и притянул к дивану. Люська, ты чего на Мартыху катишь? Ну, малая, признавайся, чего натворила? Тут я и заревела, сначала вправду от страха, и только потом, слегка ободрённая смехом дяди Вити, настроилась на рёв как для бабушки. Но, в отличие от бабушки, он не начал кричать *немедленно замолчи!* – а сказал вполне серьёзно: Люсь, Мартын, объясните, в чём дело, только по очереди, тогда и поговорим. Что мы и сделали, под мои всхлипывания и тётка-Люсины (не-для-бабушки) комментарии.

В общем, смотря на этот разговор с достаточной временной дистанции, я не думаю, что можно было бы более убедительно объяснить шестилетнему, да и не только шестилетнему, просто человеку, что такое донос, и почему доносить плохо.

В ближайшую прогулку я поделилась своим знанием во дворе. С тем успехом, что ябеду Аллочку стали звать не ябедой, а стукачкой. Её мать устроила визг на весь двор, обзывая нас шпальной, уркаганами и вредителями, но все держались и меня не выдали.

А потом нашу квартиру, и не только квартиру, всех сразу, расселили по разным другим квартирам и домам.

Наш дом забирают под общежитие МГБ, сказал бабушке по секрету дядя Ефим.

Под куда?

Под абакумовский гадюшник, ответила мне тётка Люся, она ставила в коробки свои цветы.

Лёшка-с-Покровки ткнул в меня пальцем, Люська, ты аккуратней при ней, ещё повторит кому.

Ничего, сказала тётка Люся, это Мартыха, она теперь умная, всё понимает.

Нина АЛЕКСАНДРОВА

ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ НЕ ИМЕЕТ НАЗВАНЬЯ

впервые смотрела «танцующую в темноте» в 2004
мне было 15 не такая как все обычно для этого возраста
артхаусные фильмы всегда показывали ночью
я заранее договорилась с родителями
замерла у телевизора в большой комнате
в начале один персонаж говорит про героиню Бьорк как странно она поет
тогда мне тоже казалось странно
я ничего не знала о джазе бурдонном складе об атональной гамме
но сдвинутая реальность захватывала
в этой музыке было то чего не было в неустроенном мире начала двухтысячных
(жареная курица только-только перестала быть праздничной едой)
в обычной подростковой жизни индустриального уральского города
(унылые уроки музыкалка две сигареты по дороге от дома до школы)
дело даже не в выкрученном на максималки контрасте кадра
а в странном и небывалом стоящем рядом со скучным и повседневным
превращающим одно в другое и обратно пока они полностью не сольются
до сих пор кажется что режиссер ухватил это случайно
ведь настоящее в фильме не сентиментальная история подростково-упрямой
героини
(в 15 вызывает чувство солидарности в 30 кажется эгоизмом)
а индустриальный шум становящийся музыкой
песня которая звучит в твоей голове
неслышная никому больше
самая важная
единственно важная

I.

приехать в далекий город свой город
как будто бы по делам но на самом деле
нежно звать город по имени
чесать за ушком целовать в шею

Нина Александрова родилась в 1989 году на Урале. Закончила Литературный институт им. Горького. Стихи и критика публиковалась в журналах: «Воздух», «Цирк "Олимп" + TV», «Знамя», «Волга», «Урал», «Контекст», «Парадигма», альманахе «Артикуляция» и др. Вышли три книги стихов. Лауреат премии «Московский наблюдатель» (2021) и др. Редактор журнала «Литература», проекта «Метажурнал», проекта «Ф-письмо». Живет в Ереване.

проходить насквозь
украдкой гладить
ствол дерева скамейку в парке
нагретые за день плиты набережной

потому что любовь не имеет названья
потому что просто такое небо

2.

что запомнишь увезёшь с собой в чемодане
обещая что теперь никогда не забудешь

туман поднимается от воды заливает ночной парк
плывешь сквозь него сквозь густое тёплое молоко

синие цветы в пучках травы на обочине улицы Куйбышева
как подарок тебе одной ведь никто больше не замечает

ручей шелестит под ладонью на дне обмелевшей реки
спрыгнула с набережной чтоб поздороваться чтобы погладить

город распахивается как шкатулка полная самоцветов

глаз выхватывает из темноты
нежно щерятся руины огромной гостиницы
прожекторы изумленно гудят
мотыльки бьются о стену света

I.

когда разводилась с первым мужем
даже еще не разводилась просто рассталась
ушла самой себе не признаваясь это конец
хотя точно знала это конец
до последнего очень боялась снимать кольцо
думала каждый вокруг увидит и сразу поймет
то ли про фиаско в личной жизни
то ли толстовское «ничья жена»

даже маме не говорила
было так мучительно стыдно
как будто не справилась не оправдала
муж носил кольцо до последнего

даже когда разъехались окончательно
даже когда выпал камень
даже когда треснуло
(запаял и носил)
только когда раскололось напополам
понял – теперь точно все

второй муж был музыкантом
звучит почти как диагноз

я называю их первый второй
как будто нет имен ничего не было все неправда
однако же было было
теперь могу принять с благодарностью
огромную безумную эту нежность
неуклюжие юношеские попытки
говорить другому ты имеешь значение

2.

иногда думаю что отношения
огромная непосильная ноша
между словом вылетающим изо рта
между ухом которое его ловит
непреодолимые расстоянья

слова соскальзывают деформируют смыслы
лицо другого растворяется исчезает
внутри своих оскалившихся проекций
стоят зажмурившись два человека
испуганные дети слепые котята

3.

в паспорте на странице семейное положение
можно поставить только четыре штампа
дальше менять паспорт
терять его
эмигрировать в свою внутреннюю Монголию
макровселенную
взрослую жизнь

(интервью для этого текста взято у Ирины, г. Оренбург в рамках проекта «Идущий человек» в 2020 году)

заболела я два года назад
рак молочной железы

но химии не было
то есть щадяще все прошло
хотя очень тяжелые лучи
в смысле лучевая терапия

у меня был молодой врач
ну знаете у молодых же много амбиций
я ему говорю удаляйте все я боюсь
а он нет обязательно сохраню красоту

лучи сожгли верхушку легкого
не все легко
но легче чем могло быть
без химии обошлось

я даже передать не могу
другой бы отчекрыжил и все
мне 48 сами понимаете
когда такое случается
думаешь хоть бы убрали тут на все согласен
а ему нет
ему эстетическая сторона важна
не абы как

я радовалась знаете
мне так повезло

а еще когда я лежала в палате
мне так повезло с девчонками по несчастью
когда коллектив такой положительный
энергия идет
энергия помощи

вот была история
она наверное татарка по национальности
у меня операция в девять утра
и так страшно
я говорю позвони в церковь при онкоцентре
у меня там все готово свечку я купила пускай поставят
и она сама пошла спустилась зажгла попросила
за меня помолилась
а она даже не той веры
такая поддержка
когда после наркоза отходишь
а все вокруг
ведь точно такие же
болезненные хрупкие
тебе помогают
две недели находишься с близкими людьми

как будто бы знаешь их всю жизнь
мне так повезло

повезло с соседями по палате
а потом что попала в волонтерское движение
не одна со всем этим осталась
никогда не было фотосессий
а тут такие шикарные
мы выезжали с байкерами и на природу
то есть то чего у меня никогда не было
гончарное дело нейрография
очень много движения стало кроме дома/работы
почувствовала где-то нужной себя
насыщена чем-то жизнь стала

никто не замкнулся на своей болезни
сами мы не замкнулись и другим не даем
страшно иногда конечно
со страхом можно доковыряться до безумия

думала конечно копалась за что мне
не просто так
за что-то дано
не наказание а испытание
значит должна это пройти

со временем знаете все становится лучше
я вот иду по парку
меня раньше муж довозил до работы
сейчас за две остановки высаживает
я иду по парку дышу и радуюсь

я раньше осень не замечала
на какие-то вещи совсем не обращала вниманья
сейчас стала ценить

люди вокруг и даже эти стихи
вот мне же одной посчастливилось попасть
это все стечение обстоятельств
таких хороших
мне повезло ну ведь скажите

КУРКОВ ДОМ

Повесть

Глава I

Аня и сундук мертвеца

– Аня, что барин кладет в карман, а крестьянин бросает на землю?
– Не знаю, дед! Что?
– Сопли.

Темная гряда леса напознала, и тревожно дуло с полей. Световые всполохи освещали сундук мертвеца. Что происходит на зеленых выгонах ночью, кто бродит по троп инкам, кто свистит, кто ломает в лесу ветки? В темноте, нечаянных сумерках мерещилось движение. Казалось, что из леса кто-то высовывает руки, но пока полыхают зарницы, не решается выйти. Надвигалась гроза, и я знала, что она, темная, страшная, погромыхивая железными гириями, каждая в десять пудов, придет. Она обовьет цепями мой дом, будет сдавливать и прыскать токами.

Я не могла отыскать двух вертлявых котят, и в ужасе представляла себе, как они проведут ночь на улице. Они лазали под сараем, и мне никак не удавалось их выманить. Меня снова позвали домой. Голос бабушки был сердитым, она больше не собиралась меня уговаривать. Я еще раз посмотрела на розовые флажки света на синем грозовом небе. Там, вдалеке, изливались дождевые потоки на Волгу.

– Река грозу притягивает, – сказала бабушка. – Идем в дом.

Низкая дверь заставила меня нагнуть голову. В дальнем углу сидели пауки с жирными тельцами, я боялась их до одури, а бабушка, сматывая паутину на кулак, говорила:

– Ничего, они добрые вести приносят.

Я торопливо запрыгала по лестнице. Пахло неприятно, а попросту воняло. Внизу курятник, а прямо по курсу ватерклозет: дырка, два метра свободного падения и болото дерьма. Бабушка, или, как ее называли деревенские, «московская барыня», не любила водить здесь гостей. С одной стороны – что естественно, то не безобразно, а с другой стороны, люди терпеть не могут выставлять свою человеческую природу. Каждый норовит вывернуться таким образом, чтобы показать, что все это ему чуждо. Я закрыла дверь на железный крючок, будто это могло остановить грозу. На кухне плавилась, сбегая желтыми дорожками, длинные свечи. Я села на сундук, согнулась, убрала бахромку скатерти и защелкала ключом: двенадцать оборотов – и музыка. Низкая, звучная, как удары колокола, которые неслись по полям после дождя и оглушали морским прибоем. Сундук крепкий, железом окованный, сколько ему лет – пропасть. Бабке он достался от мужа. Они вместе прожили в доме десять лет, пока дед не свалился с лестницы и не проломил себе череп.

Евгения Скобина родилась в 1988 году в Москве. Училась в РГАУ-МСХА имени Тимирязева, на Высших литературных курсах Литературного института им. Горького, в магистратуре ВШЭ по программе «Литературное мастерство». Работает копирайтером (фриланс). Публикуется впервые.

- Сказку, бабушка, – попросила я.
- Гармонист за мной ухаживал, – сказала она, приминая большим пальцем тесто.
- Это сказка про Ивана-царевича?

– Волосы у него были легкие, светлые, как лён. Девицы вокруг него шастали, а он за мной, как телок на веревочке. «На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, лента в якорях». Помнишь, мы с тобой ее пели, когда ты была маленькой?

- Дедушке она не нравилась.

Стол, на котором бабушка раскатывала тесто – желтое, упругое, пышное, – был испещрен всяким. Этот стол мы с ней вытащили из Куркова дома, но вандалы, они же подростки, уже успели над ним надругаться. После бабушкиного разъяснения я перестала задавать вопросы о сакральном смысле буквосочетаний. Надпись «Гоша – дурак», где вместо буквы «д», стояла «м», была одной из самых ласковых. И если текст не имел значения, то имело значение тесто.

Ничего бабушка не умела и не любила готовить так, как пироги. Как когда-то учила бабушку ее мать, так теперь бабушка учила меня месить, раскатывать и вырезать форму. Во время этой учебы я, конечно, набивала живот. На столе стояли три стеклянных вазочки, в одной варенье – куманичное, в другой – земляничное, в третьей – черничное. И хотя клубника и смородина ягоды вкусные, не было им места в избранном кружке. Только ягода лесная, омытая дождями, взлелеянная мхами и пропитанная солнцем, могла спорить за вакансию. Если не было куманики, а это вполне могло быть, потому как куманика – ягода быстрая, мелькнет в июле и исчезнет, в ход шла малина. Пироги бабушка делила на три отсека, которые потом переплетала тестом. Ягоды мы собирали вместе, а потом она варила их на улице и снимала белую с червленой каемкой пенку. Рядом кипел самовар. Бабушка на самый верх, в корону, укладывала еловые шишки и поджигала. Золотистые чешуйки тлели и дымились. Налетающий ветер относил черные струйки в цветущий сад.

– Гармонист меня в Москву позвал, сказал, что на фронт уезжает, что проводы будут. Мамочке моей, Царствие ей Небесное, я правду сказать не могла, соврала, что вербой пойду торговать. Дело перед Пасхой было. Адрес у меня на клочке бумаги был записан, на газете. Не почерк, а каракули, но я все разобрала. Блуждала по улицам, с правой на левую сторону перескакивала, нашла. Постучала, спросила, а мне мать его говорит, что я на день опоздала. Вот так, моя хорошая.

- А дед как же?

– Дед твой на два класса старше учился, с братом моим дружил, дома бывал у нас часто. Я его, прости господи, с печки столкнула, когда он ко мне с глупостями полез. А через две недели он пришел к моему отцу и поставил ему самогон. Пока они сговаривались, я в бане слезы отирала. На побывку едет молодой моряк, – бабушка подхватила железный лист, легко поднялась с лавки и запела. Низкий, чуть дребезжащий голос, заполнил маленькую кухню. – Идем, тебе спать пора, и я тоже чуток вздремну.

Прежде чем занавесить окна, бабушка всмотрелась в синеву за окном, которую на части резали молнии. Она пробормотала: «Страсти-то какие», – и перекрестилась. Я нырнула в кровать и прижалась спиной к печке. Русская печь занимала всю стену, приятно пах распалившийся кирпич. Белая краска местами обвалилась, и проступила рыжина, она рисовала фигуры, морды, карты, буквы, знаки. Читать ее можно было справа налево, слева направо, сверху вниз и наоборот. Я водила рукой по краям и старалась не обращать внимания на зловещие отсветы. Толстое, стеганное, в два пальца одеяло пахло солнцем. За перегородкой застонал топчан под тяжестью бабушкина тела. Дождь лупил по крыше, хлестал по стене и падал на траву, которая сминалась, сгибалась в самом нижайшем поклоне.

- Бабушка! – позвала я. – Бабушка!

Размерено шагали ходики, и мне казалось, будто я осталась совсем одна в большом, холодном доме, где единственным безопасным местом была кровать. Вода, должно быть, уже плещется по полу, и меня вот-вот затопит. И на кровати, с железными поручнями, с разболтавшимся резным изголовьем, меня уносит. Куда? В темный лес, где хрустят, сражаясь, над головой ветки, где

страшно кричит птица, где болото, яма, которая засасывает в земное ядро, где свищут змеи, где ломят кабаны, где давят ягоду медведи и гудят телеграфные провода. Я зажала пальцами рыжего котенка на печке, сомкнула глаза и уснула. Но через сон я все-таки продолжала слышать, как свирепствует первобытная стихия, пытаясь разломать маленький домик под оранжевой крышей, единственное место в мире, где я могла спрятаться.

Глава 2

Аня и Курков дом

– Дед, зачем ты положил грязную ложку обратно в сервант?
 – Я ее облизал, Аня. Отличишь от чистой?
 (звон столовых приборов)
 – Нет!

Они приезжали туда каждое лето, маленькая деревенька в семь домов, всего в двадцати пяти верстах от города. Дом на зиму не заколачивали, ставили на харч сторожа, а летом возвращались. Гунька выбирался с фазенды Сурниковых весь синий. «Фу, черт, весь спился», – говорила Нина Марковна. «Малек дал лишку», – теребя обвисшую на шее кожу, отвечал Гунька. С пятого раза он заводил мотоцикл и убирался восвояси. Долго по каменной дороге – вся в разноцветную пупырешку – дребезжала пустыми бутылками люлька. Говорили, что каменка застала еще Екатерину Великую, что ездила она по этим мощенным булыжниками дорогам по государственным делам и что старые, заросшие чагой березы, несшие караул на обочинах, тоже в свое время кланялись императрице. Так говорили, но в деревнях вообще любили поговорить. Предметом разговоров долгие годы был Курков дом. Упирался он верандой в проезжую часть и, оставленный своими хозяевами, разрушался. Сашка Курков приезжал распахивать огород и сажал картошку. В расхристанной рубашке он вваливался на двор к Нине Марковне, чтобы напиться воды, чем вводил невестку «московской барыни» в ужасное смущение. Желтые щеки покрывались краской, и она никак не могла отойти от своего гостя, изредка обмахивая его могучие плечи и налитый живот сорванным лопухом.

Нине Марковне шел тридцать седьмой год, сложения она была хлипкого, воспитания интеллигентного, состояла в замужестве и имела одну дочку, которую ласково звала Нюсей. Курков насчитывал годков немногим меньше, парень был видный, плечистый и, хотя пил много, на лицо был пригож. Он жадными глотками хватал холодную воду и скользил глазами по открытой груди соседки. Нина Марковна торопливо запахивалась и смущенно улыбались. Сашка рассказывал про волков, которые зимой перетаскали немало скотины. Что ни ночь – одной овцы не досчитывались. Подсказала одна баба поставить на постой бодливую козу. Нашли такую у одной старушки, в чем только душа держится, а двух коров блюла исправно. Сама маленькая, сгорбленная, вся черная, а руки спорые. И огород, и скотный двор, и мужиков своих: троих сынков – в ежовых рукавицах держала. Семенила она по деревне, а за ней маленькая собачка как резиновый мячик прыгала – Динька.

– Коза у нее злющая, – сказал Сашка. – Рога как у лося, морда как у летучей мыши. Забирали с братом в перчатках и ватных штанах. Все норовила боднуть, да так хитро, с подвывертом. Была бы моя воля – рога бы ей пообломал, того и гляди проткнет. Бабка на прощанье говорит: «Кормилица моя, вы уж ее берегите, она у меня в сердцах предобрая». Добрая, – повторил Сашка и закурил, – мы ее в загон, а она кишки поросенку тут же выпустила. Как будто ее для этого брали. На ужин закусь, значит, образовалась. Оставили козу на ночь, утром приходим: все овцы целы. Кровь до забора тянется и серую шерсть ветер треплет. Думали волк, оказалось, собака. Одичала.

Сашка снял с языка крошку табака, махнул Нине Марковне рукой и сказал:

– Ждите вечером.

Нина Марковна с затаенной тоской смотрела ему вслед и даже не стала браниться, когда заметила, что Курков оставил колодец открытым, а ведро на бортике полным. Подует ветер, слетит алюминий, цепь дзынькнет и порвется, потом лови десятилитровое металлической кошкой о шесты крючьях.

Бог знает, какими картинами было украшено воображение Нины Марковны, пока она готовила немудренные котлеты и давила пюре. Лоб ее покрылся испариной, на лицо набегала улыбка, кожа горела, и серебряное обручальное кольцо оставляло на ней дымчатый след. Умаявшись, она стукнула створками окна и, впустив на кухню ветер, прижала руки к щекам. Надо было куда-то спрятать дочку, но она не знала, дома ли питерские. Она тихонько позвала:

– Где ты мой бутончик на тоненькой шейке? Нюся!

Нина Марковна прошла по комнате. По половым доскам, выкрашенным в темный коричневый, наплывчатый цвет, стлались разноцветные ковры. Толстые нити выписывали кренделя и сворачивались в улитку, замыкая фейерверк в точку. В доме стояла тишина, лишь изредка шебуршились мыши в подполье и бубнили часы. Нина Марковна дернула гирию на цепи и нахмурилась. Убежала друзей проводить не спросясь. Как же теперь быть! И Сашку не принять и за дочь волноваться. Она прошла по двору, заглянула в заросший сад – надо будет Сашку попросить, чтобы скошил в саду траву: сныть заполонила все. Ну да это после, после.

Через два часа трактор затарахтел у Нины Марковны под окном. Еще через час в кухню шагнул Сашка. Он, высокий, плечистый – под потолок, согнулся над низким рукомойником, и звякая, плескаясь вымыл шею и, едва не вогнав Нину Марковну в еще большую краску, подмышки, откуда перла густая поросль.

Сашка заглатывал еду быстро, и казалось Нине Марковне, что он едва ее прожевывает. Насытившись, он притянул за поясочек женщину и жадно облапал. Нина Марковна даже не пискнула, вся подалась вперед. Она шарилась своим цыплячьими, худыми руками по груди Куркова. Платье было смято, определено на пол, а Нина Марковна с Курковым оказались на широкой кровати. Сашка действовал напрямки и вскоре на изголовье забили своими языками колокольчики.

Нина Марковна и не заметила, как набежали за окном сумерки. Как похолодели поля и смочила травы роса, что солнце, утопая все дальше за горизонтом, черкает на краешке неба последнее письмо. Сашка откинулся и закурил. Нина Марковна поправила прическу. Ей вдруг стал неприятен и сам Сашка, и его дешевый табак – то ли «Беломор», то ли «Прима», и ей стало ужасно совестно, что она поддалась какому-то мороку. Она вспомнила про дочь и заволновалась.

– Ты мою Нюську не видел?

– Что ей делается, – сказал Курков, шаря по кровати в поисках трусов.

Нина Марковна бегала по дому и из всех пяти окон – два выходили на юг, три на север – кричала:

– Нюся, домой. Дочка, домой, слышишь!

– Поехал я, – сказал Сашка.

Заскрипели пружины, когда он нагнулся за брюками. Нина Марковна бросила на Куркова умоляющий взгляд.

– Саша, миленький, выручай! Вдруг ее волки съедят.

Курков басом, раскатисто расхохотался.

– Скажешь тоже. Придет.

Трактор взревел и, мигая, пополз по дороге. Нина Марковна нацепила сапожки, схватила куртку и не помня себя выбежала на дорогу. Она металась по всей окoliце и выкрикивала имя дочери.

– Нюся, отзовись, дочка!

Она выбилась из сил, травы захлестнули ей ноги, и она упала. Нина Марковна рыдала и, выпивая из земли цветы, чуть не изрезала себе пальцы. Она смолкла. День отгорал, вдалеке тем-

нел лес, из которого пробирались тени и окружали несчастную женщину. Стихал шорох, повисал ветер, и только кузнецы вели свою ночную работу. Нина Марковна вскинулась, ей вдруг почудился звук, и материнское сердце всколыхнулось. Она бросилась в Сашкин огород, наткнулась на телегу и в сумерках, в потемках, увидела дочь. Она как лягушка лежала придавленная платформой, пузырились слезами её мокрые щеки, треугольник родинок под правым глазом. Мать своротила тяжелые мешки, скинула платформу и бросилась целовать дочку.

– Кто это тебя так? Кто? Родненькая моя, хорошая. Кто? – причитала она, не давая возможности дочери ответить.

Глава 3

Аня и ураган

– Рассказать тебе сказку про белого бычка?

– Расскажи.

– Рассказать тебе сказку про белого бычка?

Василиса Петровна, бережно придерживая ветку, обирала смородину. Зеленые пятиконечные листья, чуть сворачивались, когда она шелкала секатором. День хмурился и солнце никло. Линовали небо ласточки, они свили под крышей гнездо, и часто-часто мелькали фалды их фраков. Если бы стояла тишина, можно было бы услышать писк голодных птенцов.

Василиса Петровна любила пернатых и ненавидела хищников. Одноглазая Мурка притаскивала ей птиц, за что регулярно огребала валенком по пушистым бокам. Мурка взвизывалась, орала дурным голосом, но понять, за что была бита, не могла. И на следующий день или через день вновь приносила на белую большую пуховую подушку дохлую, в красных язвинах птицу. Если бы не мыши в подполе, которые грызли и картоху, и морковь, и чего они только не грызли, Василиса Петровна никогда бы не завела кошку.

С утра она уже успела закопать маленький комоч желтых перьев, трясогузку, которая на свою беду облюбовала конек их крыши. Старуха часто и подолгу с ними разговаривала, как будто только птицы могли ее понять. Она тяжело вздохнула и перевела взгляд на внучку. Аня сидела скорбленная и вся белая, как поганка лесная. Чернели глаза да треугольник родинок на правой щеке. Она начала стремительно худеть, и сколько бы Василиса Петровна не откармливала внучку пирогами, проку никакого не было. Сначала она подумала, что дело в той гадюке, на которую Нюся напоролась в лесу. Внучка встала на колени и сказала: «Змейка, не кусай меня, я жить хочу». Василиса Петровна рассмеялась было, чего же не посмеяться, коли смешно, но что-то жалобное, пронзительное было в голосе Нюси, и смех умер.

– Аня, это гадюка, смотри, у нее по спине идет шахматный узор. Она не ядовитая, – пояснила бабушка.

Качались высокие сосны, сметая паутину облаков. В голубизне неба растворялся глаз, а желтая монета солнца, раскаленная, словно в тигле, плавилась и оползала. Василиса Петровна погладила шершавую кору сосны и посмотрела на внучку. Дрожала, выдвигаясь вперед, губенка, распухал от соплей нос. Аня обиженно посмотрела на бабушку и спросила:

– А зачем, бабушка, змеи ядовитые, зачем ягоды ядовитые, зачем, бабушка?

– Обороняться им нужно. Ты вот пришла в гости, а они живут в лесу. Ты для них ровно богатырь Святогор, что по горам Елионским ходит. Мы тут чужие. Ягоду собирали, поблагодарим лешего и откланяемся.

– А водяные тут бывают? – ахнула Нюся.

– Бывают, а то как же, – сказала бабушка, увлекая за собой внучку. Она осторожно ступала, тщательно выбирая кочку. – И русалки всякие, утопленницы, это те девочки, что под ноги не смо-

трели. Это ведь не поляна с цветами, это болото. Видишь, как засасывает, – бабушка позволила жиге уволочь, спрятать под мшистой зеленью ступню в резине.

Василиса Петровна ловко перевела разговор на нечисть, девочка отвлеклась. Но нет. Не через змею и волчий глаз она худеет телом и болеет душой. Старуха прислушалась. Даже на веранде было слышно, как ругался с невесткой ее сын. Анечка смахнула зеленые лодочки со стола, на котором недрогнувшей рукой была вырезана всякая похабщина. Василиса Петровна готовила запасы витаминного чая на зиму. Она сыпала зверобой, Иван-чай, смородину, мелиссу в разных пропорциях и продавала соседям как гомеопатическое средство. Она было сунулась на местное радио, которое приглашало в эфир лекарей и крутило рекламу алтайской мази для здоровья суставов, но понимания там не встретила. Василиса Петровна подняла цену на символические пять рублей и на том успокоила свою амбицию. Крики в комнате становились все громче. Внучка ерзала на лавке и все чаще вскидывала глаза на окна.

– Что, Анечка, было той ночью? – вкрадчиво спросила старуха, и тут же почувствовала, что промахнулась. Насторожилась внучка: напрягла ручонку, ногу, какую только что болтала, остановила, и только лицо окаменело в безмятежности.

– Какой ночью? – переспросила Анечка, старательно насаживая на веточку листик, будто парус.

Василиса Петровна вхолостую щелкнула секачом, потемнела лицом и, еле сдерживая гнев, попыталась изгнать металл из голоса.

– Когда Курков огород нам вспахал.

Анечка пожалала плечами и попыталась убрать с лица волосы, залепившие глаза. Бабушка протянула руку, смахнула светлые нити и взялась за упрямый подбородок.

– Может, все-таки что-то было?

– Не было, не было, бабушка. Ты что думаешь, я вру? – выпрямилась как под электрическим током девочка и уставила на старуху влажно-голубые глаза.

Бабушка не ответила. Она поднялась, задев висящие на веранде веники с первой июньской березой, и прошла по дощатому полу. Она взяла белый матерчатый холст, покопалась в жестяном коробе, выудила катушку ниток с протыкающей тело иглой и вытянула Кошееву смерть. Василиса Петровна прищурила левый глаз, отвела руку и на расстоянии попыталась вставить нитку в маленькое ушко.

– Бабушка, смотри, Милаша вернулась!

Над коровой, которая вбежала во двор, черным облаком висели оводы. Большие, толстые мухи с крупными крыльями окружили свою жертву. Одна кусала ляжку, другая садилась на лопатку, третья на круп. Дрожала кожа, лупил по бокам хвост, дергалась из стороны в сторону белая морда. Оводы отлетали, черная туча взвивалась над животным и опала. И снова один укус за другим, корова протяжно мычала и, мотая огромным розовым выменем, шарahalась по двору. Няся с бабушкой отворили ворота, завели скотину внутрь и погасили свет. Оводы затихарились и с жужжанием перелетали со стены на стену. Корова молчала.

– Продала я тебя. Ну прости, старую, – сказала Василиса Петровна, наливая в черный алюминиевый бак со сверкающим белым швом воду.

Темная створка отъехала, и на свету прорезалась фигура соседки. Ирка, вонзая зубы в ногти, шагнула к ларю.

– Лущует ее Хмельчиха! – сказала она и широко раскрыла рот, будто бы для того, чтобы рассмеяться, но не издала ни звука.

Безумие этой странной женщины, которую за массой спутанных волос едва ли можно было принять за человеческое существо, было всем хорошо известно. Она раздражалась бранью и боялась только мата, которым ее, не скупясь, крыли. Если не отвечали на ее крики, она нагнала и вновь принималась за оскорбления. В деревне, среди приезжих – москвичей и питерцев – о ней ходили самые разные слухи. Чаще всего говорили, что она жертва насилия, но, как правило, все сожаления и вздохи заканчивались тем, что Ирка принималась костерить особо сердобольных.

И даже самые седовласые и фильдеперсовы не могли удержаться, чтобы не ответить чем-нибудь позабористей. Кроме громоподобного мата, Ирка боялась только Бога. И в этой ее боязни было много любви и стыда. Вдруг посреди обычного разговора, она внезапно начинала стелиться по земле. Она кружилась, извивалась, ползала и смотрела в небо. Бог, которого она боялась, сходил на землю молнией.

Ураганов боялись все деревенские, но Ирка трусила пуще других. В дешевой зеленой тетради, купленной в сельском магазине, где под потолок взмывала деревянная, раскрашенная в румянец девушка с караваем, она купила еще и шариковую ручку. Галя, местная продавщица, сверкая из рта золотом, нудила ее признаться, зачем ей писчие принадлежности. Из дачников и местных образовалась целая очередь, но Галя продолжала, грозно зыряка и весело ругая, пытаться Ирку. Сумасшедшая, выскочив из магазина как из бани, сохранила тайну.

В муравчатой тетради Ирка вела исчисление гроз и ураганов. Первыми об этом прознали пиртерские, у которых ястреб таскал куриц. Хищная птица вздымалась над полями и парила в голубом лоскутке неба. Она кружила на воздушной подушке и медленно поворачивала свою морду с изогнутым клювом и желтыми стереоскопическими глазами-линзами. Завидев добычу, хищник резко бросался вниз, выставляя вперед бахромчатые ноги с расставленными когтями. И горе тем дачникам, которые забывали поставить над пеструшками сетку. Ястреб уволокивал свою вкочущую жертву в поднебесье.

Когда опустел соседский курятник, Ирка тут же заявила на усыпанный перьями и пухом двор и многозначительно подняла палец вверх. «Это вам наказание по грехам вашим! По вашу душу давеча была гроза», – победоносно сказала Ирка. «Какие еще такие грехи?» – возмущался приезжие. «Матушку свою обокрали». Гадкий слух по деревне пошел быстро, а потом и вовсе окзалось, что и впрямь, когда два брата делили наследство, мать-старуха оказалась под лестницей.

– Ураган будет сегодня, – задумчиво сказала Ирка, наклоня голову и прислушиваясь к нарастающим крикам. – Чего это ваши глотки дерут?

– Сейчас я тебе метлой поперек хребтины огрею, вот и посмотрим, кто тут горло дерет!

Старуха схватила метлу и накинулась на соседку. Ирка с визгом, переходящим в смех, отскочила и с криками: «Убивают! Убивают!» – бросилась вон. Нюся опустилась на корточки, ей вдруг отказали ослабевшие ноги. Бабушка притянула внучку, обняла и дунула в ухо:

– Не слушай ты ее, ради Бога. Мелет чего не попадя. Зайди в дом, попроси маму самовар поставить.

– А дом не загорится? – спросила Анечка, вскидывая голову.

– Ну что ты, Нюся, самовар тот – электрический.

Василиса Петровна поставила метлу в угол, дернула тугую дверь, которая вела в людскую, поморщилась от запаха и медленно, держась за поручень, поднялась. Дверь с внешней стороны была обита кроличьими шкурами, некоторые порвались, отстали от дерева, в разные стороны торчал войлок. Шум становился все громче. В темноте вместо ручки Василиса Петровна попала на прореху и завозилась. Когда она вошла в комнату, голоса стихли. Слышалось только сиплое, с присвистом дыхание самовара.

Ужин невестка не приготовила. Василиса Петровна думала хоть на старости лет отдохнуть. Нет, все та же посуда, все та же готовка, та же стирка. И хвалишь иной раз такое, что несварение желудка, а все равно не понимает, ну тупа как пробка. Бездельница, лентяйка, и где только сын ее нашел? Василиса Петровна поискала на столе нож, отодвинула ящик. Острого, тонко заточенного ножа, который она приберегала для резки мяса, на месте не оказалось. Не дай Бог еще Нюсяка найдет. Схватила прошлый раз, кровищи было на целый таз. Невестка хотела зашивать, но, Бог милостив, справились.

Старуха выглянула в маленькое кухонное оконце, и увидела, что тучи угрожающе пухнут и на глазах превращаются в распolzшиеся черничные пироги, варенье из которых вот-вот хлынет.

– Что, бабушка, будет дождь? – закрутилась под ногами Нюся. Три родинки то появлялись, то исчезали.

– Не задавай глупых вопросов. Возьми лучше стул и выжми белую кнопку на счетчике, справишься? А я белье сниму.

Она проследила, чтобы Нюся не повредилась, и шагнула за порог. Ветер чуть не свалил ее с ног, и старуха схватилась за калитку вместо того, что держать юбку. Подол задрало выше колен, и она уже не помнила, когда кто-то вот так бесцеремонно выставлял ее исподнее на всеобщее обозрение. Из клеток смотрели вертикальные, длинные, бессмысленные зрачки кроликов. Они быстро-быстро, вздувая и опадая щеками, грызли молодую морковь. Удар грома заставил их отпрянуть в глубину клеток. Василиса Петровна подняла голову, небо стало черным. Оно нависло над ее головой и придавило, как могильная плита.

– Что делается-то, – пробормотала она и принялась срывать кофту за кофтой.

На веревке висели детские вещи. Нюся пачкалась, как будто не была девочкой. В прошлый раз, когда гремела гроза, когда ураган вырывал с корнями деревья и выжигал свои клейма на соснах, отчего они начинали дымиться, унесло Нюсину кофту, любимую, розовую, и потом они долго бродили по округе, пытаясь понять, куда ветер мог закинуть тряпку.

Старуха дергала рубашки и штаны за рукава, и веревка звенела, описывая круг, и мелко дрожала, возвращаясь к статике. Ударил молния, она дробилась по всему небу и била где-то уже совсем рядом.

Василиса Петровна уже давно не боялась смерти. С тех пор, как она впервые испугалась боли, она была совсем девочкой, которая жала серпом траву и бежала по полосе впереди всех. Перехватила зеленый остов травы, резанула: быстро и резко – и попала чуть выше. Василиса Петровна посмотрела на свою руку, белый след полумесяцем висел на ее коричневой ладони. Загар не смылся, за столько лет труда и беспощадного солнца, она уже никогда его не отмоет. Посыпался дождь, на руке он подпрыгнул, как на барабане, и враз намочил траву. Трава стала холодной, жесткой и колола щиколотки. В бок ударил порыв ветра, и старуха вцепилась в веревку. Она погрозила пальцем молнии.

– Играй, играй!

В доме раздался женский крик. Василиса Петровна с перекошенным ртом повернулась. Она бросила белые портки Нюськи и кинулась в дом. Она взлетела по лестнице, дернула дверь, и увидела, что внучка, стоя на круглом, как шляпка гриба, табурете, отжимает белую кнопку. Василиса Петровна успела заметить, как белая, мерцающая точка с какой-то неумолимой скоростью бежит по проводу от телеграфного столба, чтобы врезаться дом и навсегда поглотить его в пламени огня.

Глава 4

Аня и встречный поезд

– Чай не пил какая сила, чай попил совсем ослаб.
– Дед!
– Аня!

Банально начинать рассказ со дня своего рождения. Лучше пойти задом наперед. Я же Рак, я родилась в июле, и мне положено ходить задом. Пardon. Я иногда выражаюсь как сапожник. Право, в этом нет моей вины. Так говорила мать еще до того, как отец нас покинул. Она стояла на коленях перед раковиной, как будто молилась, и кричала: «Сукин сын! Твою мать! Чтoб тебя перевернуло и подбросило!» Когда она замечала, что меня колотит, как автомобиль на дизеле, она говорила, что она это так, и вообще ни к кому конкретному не обращается. Через несколько секунд и через несколько попыток пробить засор ребристым длинным шнуром она повторяла: «Сука! Сука! Сука!»

Я, конечно, пыталась поверить, что это так и что она ни к кому конкретному не обращается, но выходило у меня скверно. Я старалась не пользоваться раковиной, вызывала все тарелки, которые потом подчищала туалетной бумагой, но сантехника все равно вылетала из строя. В нашей квартире в тартарары летело все: проводка, канализация, радиаторы, потолок, стены. Все нуждалось в ремонте. Но я, кажется, забегаю назад. Решила же запустить обратный отсчет, значит, нужно придерживаться плана. Вот они, мои прекрасные даты: 12 июля 2001 – 18 июля 2017. Так выбито на табличке. Моя кончина, так забавно это произносить, случилась под колесами машины. Я не успела разглядеть марку, но, кажется, это была синяя ауди. За рулем сидел плотный, высокий мужик. Как и полагается, лицо его было белым. Он пытался что-то вынуть из кармана рубашки. Наверное, это был валидол или что-то такое. Он совал его под язык, а рука его съезжала за шиворот. Я бы рассмеялась, если бы могла, но я, как вы понимаете, была уже не в состоянии. Умирание – это ответственный процесс. Синатра, говорят, попросил инквизитора, когда тот читал свои славословия, не фальшивить. Другие бормотали иные откровения, ну нельзя же вот так взять и умереть, не сказав какой-то пафосной фразы. Я, например, хотела сказать: «Папашу вашего переехало». Но я отключилась раньше, чем успела огорошить своих спасателей. Корпус машины меня боднул, как молодой бычок. Я описала красивую дугу, а потом шлепнулась, как, должно быть, шлепается метеорит с неба. Обреченно, безысходно, обыденно.

Некоторые думают, что перед смертью небесные механики делают нарезку счастливых моментов. Доложусь. Такого точно не будет. Даю зуб, только вам самим придется за ним идти. Лежу я на кладбище в Саларьево. Это конец красной ветки, станция белая в красных кубиках, стильная, модерн. Выход из метро к торговому центру, потом нужно перейти на другую сторону, дожидаться автобуса. Хотите уточнить номер, лучше спросите у Гугла. Я, понимаете, давно не каталась на общественном транспорте. Ехать минут пятнадцать. Кладбище большое, занимает как минимум две остановки. Вы представляете, сколько у меня соседей? Тут очень тесно, и если бы росли яблоны, яблокам некуда было бы падать.

Меня положили в гроб, сложили руки на груди, закопали. Сверху клали венков, написали на лентах всякого, водрузили сверху крест. Крест я бы предпочла деревянный, желтый такой, лаком покрытый, но они решили, что железо прочнее. Прицепили фотографию. Я бы такую никогда не выбрала. Снимок они выбрали школьный, из седьмого класса. За секунду до щелчка я сдула со лба челку. Треугольник родинок на правой щеке красит, но вид у меня все равно идиотический. Я умерла, поэтому не ругайте за политкорректность. Если вы скажете, что я покойница, я ни капли не обижусь. А вот если вы скажете, что я человек с ограниченными возможностями, я рассмеюсь вам в лицо.

Они недолго надо мной стояли. Мать выла около часа, отец отклонялся через пятнадцать минут. Я рано поняла, что одни люди рождаются актерами, а другие декорацией. Маленькой я еще надеялась, что меня возьмут хоть статистом, но жизнь быстро убедила меня в обратном. Я была декорацией, которую можно, как и любую ширму, убрать, сломать и даже сжечь.

Когда мой отец впервые меня ударил, он сказал мне: «Привыкай, мужики все такие». Он ударил меня трусливо, когда матери не было дома. Он тогда был на больничном, а мама впихивала, как тяжеловоз. Отец просидел дома целую зиму и выдал мне 37 тумачков. Я не сильна в арифметике, но тут уж я точно не ошиблась. От затрепчин у меня звенело в ушах, и я плакала. Вас никогда не били? Это очень унижительно. Особенно когда быют в первый раз. Ты такой удивляешься. За что? Это нормально? Почему так больно? И плачешь от всего сразу: от неожиданности, от боли и обиды. Но я, скажу сразу, плакала от обиды больше. У меня болевой порог не так чтобы очень низкий. На мне все как на собаке зарастает. Я наступала на гвозди, битое стекло, булавки, вытаскивала из себя лишние детали и, оставляя за собой кровавый след, шагала дальше. Мать, конечно, быстро догадалась, что к чему, но стеклянный графин разбила только весной, когда поняла, что этот урод даже не собирается выходить на работу.

Он исчез на три дня, а потом вернулся за своими вещами. Он выглядел несколько виноватым. Когда дверь за ним захлопнулась, мать сказала, что он нашел бабу. Это известие по непонятной

причине ее деморализовало. Перегоревшая лампочка в нашей ванной выставлялась три недели. Паук свил себе гнездо в углу над унитазом. Из трубы на кухне воняло вареным котом. Вам интересно, зачем варить кот? Ответ будет очень простым, так делают студенты-ветеринары, которым нужен скелет: косточки сами себя не посчитают.

Конечно, кот варить лучше в дохлом виде. Живой он будет вырываться и очень царапаться. Не пугайтесь, пожалуйста. Это у меня такой юмор. Я собиралась идти в мед. Очень люблю внутренности, они красивые и пульсируют. Вы только вслушайтесь в музыку названий. Блуждающий нерв, двенадцатиперстная, правая подвздошная, брыжейка. А по-латыни? На мертвом языке еще звонче.

Как я уже говорила, мама выпала в осадок, не ходила на работу, отговариваясь тем, что у нее тяжелые месячные. Начальник у нее был мужик мировой, и когда слышал такое объяснение, сразу пасовал. Я готовила себе баланду. Заваривала в кипятке старые корки, щедрой рукой сыпала бульон «Магги» и жарила на сковородке печенье – из муки, какао, соды, яиц и сахара. Оно было гадким, и вскоре у меня началась изжога. Мать, кажется, вообще ничего не ела. Так продолжалось около месяца, пока матери не позвонила подруга и не сказала, что с лица новая пассия отца такова, что воду, может быть, пить можно, но санэпидемнадзор не рекомендует. На следующей день мама прочистила засор, пристукнула паука и поменяла в ванной лампочку. А еще через пару недель у нее закончились «тяжелые месячные», и она вышла на работу.

Наша жизнь должна была стать проще. Мать целыми днями работала, а я торчала в квартире и читала все подряд. «Никому не открывай!» – распорядилась она. Я росла, мама старела, и нам стало не хватать денег. Презренный металл! Книги, которые я читала, убеждали меня в том, что они ничего не стоят, если у человека есть характер и принципы. Характер – замкнутый – у меня был, принципы тоже имелись. Скажем, я никогда не показывала всему двору сиськи за деньги, как это делала моя соседка Мила. Я не шмонала карманы в школе, как это делала моя одноклассница Ритка. Она обещала проломить мне нос, если я проболтаюсь, что застала ее за «инспекцией». А еще я не лазала в мусорные контейнеры рядом с торговым центром. Говорят, что еду выбрасывали вполне в приличном состоянии. У них закончился срок годности, но употреблять их без опасения провести следующий день на толчке еще было можно. Осенью, когда нам нечего было жрать, я брала лестницу для малярных работ и обдирала яблоню, которая росла на границе леса и дороги. Яблоки были крупные, кисло-сладкие, только зубами кожуру надорвешь, так тут же и брызжет. Мы запекали эти яблоки в духовке. Плита была старая и ржавая, и газовщик при каждой проверке грозил поставить заглушку, но мать его жаловала, и он брал грех на душу. Мы скальпировали яблоки, засыпали внутрь сахар и ставили на огонь. Они становились податливыми, коричневыми и приятно пахли. Кто-то скажет, яблоня у дороги впитала все выхлопы, а я скажу, когда живот от голода подводит, выбирать не приходится.

На мать я смотрела снисходительно. С возрастом она стала болезненной, капризной и превратилась в тень. Когда я приходила домой, она лежала в кровати, как покойник в холщовом мешке, которого вот-вот выкинут за борт.

Я уходила к себе, запиралась, теребила рукой между ног и смотрела на прекрасное сплетение мышц, нервов, вен и костей на анатомическом рисунке. Под свой шепот: «Clitorido», «Glans penis» – я засыпала.

Примерно в это время и позвонил отец. Он попросил о встрече и предложил отступничество. Когда он видел меня в последний раз, маме говорили: «Рожайте еще девочек», теперь у меня были черные точки на носу, волосы кое-как стрижены, ногти обгрызены под корень. Он обнял меня, но я чувствовала, что брезгует. Мы пошли в Макдональдс. Он сидел напротив – подтянутый, в брендовой одежде, волосы по-модному выбриты. Мне хотелось рассмотреть его, но я только глаза прятала. Я расплзлась по стулу и чувствовала, что выпирает живот, что грудь поплыла по столу. Я заказала четыре гамбургера, две большие картошки и вишневый пирожок. Он ограничился колой лайт и начал втирать мне что-то про семейное древо. Но мне это было не интересно, и я толком ничего из этих историй не запомнила. Когда он спросил про мать, я врать не стала и

сказала, что она больна, что ей нужны лекарства, что эти лекарства дороги и прочее. Я говорила зло и, кажется, потребовала с него денег. Он сказал, что денег дать не может, что у него большой кредит за машину и дачу. Я хмыкнула. Тогда он рассказал мне еще одну байку.

Прадед мой сильно болел. Шла война, лекарств не было. Он страшно мучился и обременял семью страданиями и потребностью в пище и уходе. Решили, что ему нужно поехать в город ко врачу. Недалеко была станция, и по хорошей погоде до дома долетали гудки паровоза. Поплелся отец семейства на поезд, домашние успокоились. На следующее утро их разбудили крики под окном. Вбежал на крыльцо сосед, шапку сорвал и кричит: «Папашу вашего переехало». Отец отодвинул пластиковый стакан и сказал, что ему пора. В торговом центре большие, аквариумные стекла, да и угол обзора отличный. Отец легко впрыгнул в машину, бибикнул красивой девушке в красном платье и отъехал. На заднем сидении я разглядела детское кресло.

Глава 5

Аня и скрипт

– *Слышу, идут позади двое. Обернулся: два шкафа с верхними ящиками.*
 – *Избили, дед?*
 – *Я их, Аня, лбами столкнул, искры так и летели.*

Лиза уселась за стол и воткнулась глазами в картину. Офис был голым: мебель, провода с блоками и экранами – и вот эта вот пальма. Вешать картину по меньшей мере было глупо. Она напоминала о недостижимом. Люди, запутавшиеся в проводах, как в паутине, никогда бы не оказались на Мальдивах, это было очевидно. Тетки, что прижимали ее с боков и зазывали пенсионеров на комплексное обследование, пребывали в запущенном состоянии. От одной несло немытым телом, и она своими волнами жира напоминала чудовище из сказки про Русалочку. Вторая напоминала Русалочку после сорока лет блуждания по земным пажитам и не досчитывалась зубов. Лиза еще раз посмотрела на картину. Произведение было телом совершенно инородным, и хотелось его перевернуть. На экране запрыгала, как червячок на удочке, зеленая трубка.

– На инструктаж, – коротко бросили из наушников.

Лиза резко встала, пытаюсь не смотреть на пальму, которая нежились под пышным, словно политым медом, оладушком солнца. Наташа собрала вокруг стажеров и сердито, как казалось, на всех посматривала. В ней чувствовалась туго натянутая пружина, которая заставляла все части ее тела быть на местах и смотреться ловкой и подвижной. Ноги сверкали черными лосинами, на губах лоснилась помада, позвякивали в ушах кольца серег, и тело утопало в объемном черном, крупной вязки свитере. Она откинулась на спинку и сцепила остроконечные пальцы.

Зал напоминал самолетный ангар, заполненный столами и криками. В целом же для человека здравомыслящего – вся эта контора, которая именовалась филиалом медицинского центра, обвитая проводами без единого медицинского оборудования – была бы местом невообразимым. Но Наташа, все ее существо, не позволяло ни на секунду усомниться в допустимости этой реальности. Мысли Лизы, их легитимность обеспечивала только картинка с пальмой, где на желтом пушистом песке лежали кокосы или еще какие-то экзотические фрукты, название которых она не запомнила с последней передачи Кожухова.

– Очень часто нам звонят психбольные, натурально нездоровые. Запихнут себе в промежность или анус огурец, говорят, застрял там, и спрашивают, что делать. С такими мы не работаем. Им скорую вызывать нужно. Или вот случай, звонил мужик, хозяйство себе отрезал и спрашивает: мне зеленкой или йодом прижечь.

– Бензином, – засмеялся парень с длинными растрепанными волосами. Его зеленые глаза засасывали не хуже болота, а конституция позволила бы ему сыграть в детском спектакле гражданина Бессмертного.

– Вот ты, Иван, веселишься, а он же от кровопотери умереть может. Ваша задача распознавать психов, а не лечить. Вы у меня подкованные, все студенты медицинских, ветеринарных учреждений, вы найдете, чем уболтать, только не увлекайтесь, ваша задача отправить их по пищевой цепи нашей организации. Вы их приглашаете на бесплатное сканирование, а там уж их в оборот возьмут. Если они там пройдутся по всем специалистам, ваш процент вырастет. Не на стипендию же жить, – Наташа подмигнула, и соседка Лизы, девчонка с круглым лицом и треугольником родинок под правым глазом подытожила: «А то».

Ребята разошлись по местам и начали расстреливать телефонную базу. Многие жители не самой культурной столицы в мире сразу посылали, но некоторые интересовались, глотали наживку, а дальше с этим крючком отправлялись в странствие по пищеварительному тракту общества с ограниченной ответственностью. Чаще всего хватались за ниточку пенсионеры, то ли им, правда, телевизора не хватало, то ли перспектива сканирования была очень уж захватывающая.

Лиза работала по скрипту, отвечала на каверзные вопросы. Пенсионеры все норовили выяснить, каково соотношение порядочного давления, нормально, что у них уши закладывает или память худшеет, а то и вовсе слова из речи вываливаются. Ане, ее соседке, часто перезванивали. Зажав ладонью микрофон, она шепнула: «После защищенного секса – инфекция, да или нет?» Лиза зарылась в ссылки и рекомендовала спросить: «Анальный секс с вагинальным?»

Аня повторила формулировку и нажала отбой. Лиза сначала не поняла, в чем дело, а потом услышала в зале смех. Соседка подорвалась с места, показала Ивану третий палец и опустила обратно, отчего вверх взвилась юбка.

Через два часа подвешивания языка девочки устали и устроили перерыв. Народ повалил на перекур, зашуршал пакетами. Лиза обвязала горячий лоб холодными пальцами и закрыла глаза. Перед глазами у нее скакала центрифуга, которая отсеивала примеси, и вообще была занята тем, что сепарировала вещества большей плотности от меньшей. Девушка подумала, может, и жизнь так устроена: выясняет, какой человек плотности, чтобы поставить его на место. Она еще раз посмотрела на картинку с пальмой. В том секторе, где она оказалась, Мальдивы могли быть только такими: картонными и засиженными мухами.

– Спишь? – в спину ее толкнула соседка.

Аня училась на ветеринара, ходила на стретчинг курсы и впахивала на работе, но хуже всего было то, что она вообще не обращала внимания на картинку с пальмой. Когда Лиза пыталась привлечь ее внимание к этой проблеме, девушка отвечала, что не стоит заморачиваться по пустякам.

– Тебе совестно иногда не бывает? – спросила Лиза, когда им выплатили первую зарплату. Аня шумно листала каталог Орифлейма, то и дело терла пальцем глянец страницы, а потом жадно втягивала запах. Девушки прогуливались по залу, разминали ноги и допивали сладкий, жидкий кофейный напиток из автомата, который только лишь по недоразумению назывался «Капучино». Под ногами пластался прорезиненный ковер, и шаги съедались. В пропасть микрофонов операторы медицинского центра вбрасывали информационный сор. Кто-то тихо, кто-то громко, кто-то настойчиво, кто-то деликатно, но впаривали, по мере своих возможностей, все.

– Чего вдрут? – спросила Аня, подтягивая на ходу колготки. Кофейный стаканчик она ловко держала в зубах, и Лизе почему-то казалось, что если она вот так закусит пластик, жидкость быстро окажется у нее на кофе. Аня оголила круглые ляжки, ничуть не задумываясь о том, что на нее смотрят.

– Ну вот пенсионерка припрется на бесплатное сканирование, ей скажут, что там в легких затмение или, наоборот, подозрительно светло по женской части, предложат специалистов, она со страху и согласится.

– Ну согласится, и хорошо, тебе же деньга будет, – Аня бросила стаканчик в урну, но промахнулась.

– Ну это да, конечно. Но ведь это обман.

Аня засмеялась, ее родинки всплыли на пухлой щечке, как буйки. Лиза растерянно глядела на неё, она никак не могла понять, над чем соседка смеется. Они стояли посреди самолетного ангара, где пилоты разнокалиберной техники не могли связаться со своими диспетчерами и ором взрывали эфир. Даже если они взлетали, это означало крушение и тысячу трупов в пластиковых мешках. Искать черный ящик было бессмысленно, и так было все ясно.

– Это не обман, это сказка, – сказала Аня. – Понимаешь, как в лесу. Занует ветер, это леший чихнул. Чавкнет болото, это утопленница высунула за крупной ягодой руку. Ветка дрогнет, сломается, дурная примета, это Баба Яга на ступе пролетела. Все так и здесь. Приглядишься: лешие, водяные, утопленницы. Выбирай кого хочешь!

– Да ну тебя, я серьезно, а ты!

Они шли молча и сосредоточенно изучали своих товаров и товаров. Аня заметила Ивана первой, пригладила волосы и провела язычком по губам. Лиза и охнуть не успела, как Иван посадил девушку к себе на колени. Аня подобрала ножки, свесила хвост на левую сторону, чтобы щекотать парню шею, и затенила ресницами щеки.

– Ты какую позицию предпочитаешь? – спросил Ваня, выстреливая ей ручкой в запястье.

Девушка сделала вид, что вырывается, но на самом деле разглядывала его нос, худое лицо, прозрачные, чуть в прозелень глаза и острый кадык. Она откровенно им любовалась, но ответила грубо:

– Ширинка у тебя коротковата.

Всплыли окошки чата, и Иван столкнул девушку в проход. Аня с достоинством поправила одежду, и девушки вернулись на рабочее место.

– Симпатичный, – уважительно сказала Лиза, ей почему-то захотелось сделать коллеге приятное.

– Разве? – спросила девушка, отодвигая стул с мягким ходом. От соседнего ее стол был отделен отсеками неопознанной надобности. Локтями девушки не стучались, а вот голос заглушить ничем было невозможно.

Они заканчивали поздно, за окнами давно было темно и давно была зима. Они все чаще болтали, пили чай и бегали в туалет. За простой им не платили, только проценты, но Лизу почему-то это нисколько не подстегивало. Глядя, как расстраивается из-за незакрытых заявок Аня, она помогала ей выудить рыбку. Вполне возможно, лениво думала Лиза, что она сидит даром в этот вечер. Погасила одна за другой продольные лампы, и охранник выгнал их на улицу. Слева материализовался Иван. Он предложил им выпить, и девушка с тремя родинками не отказалась. «Только вот, – сказала Аня. – У Лизы живот болит, и она не сможет к нам присоединиться». Когда Лиза сделала три шага вперед, она услышала позади себя смех. И ее, словно взрывной волной, отбросило к метро, где под землю ее засосало вместе с холодным воздухом.

Утром Аня сообщила, что вагинальный секс у них с Иваном был три раза. Лиза долго думала, что ей ответить, а потом написала: «Круто!». Спустя три секунды Аня прислала ей фотки квартиры и сказала, что она теперь ни за что не вернется в общагу.

На работу Аня пришла смурная и, когда Лиза сунулась к ней, то подруга сначала нарычала. Лиза угостила ее «Воздушным» и даже сходил за фраппучино. Аня, заметив, что Иван, проводя ручищей по волосам и отпуская шуточки, появился, разговорилась. Оказалось, что утром вернулась его родительница. Мать Ивана на нее набросилась, назвала прошмандовкой.

– Я ей, втычине, говорю, что у нее шторы с обоями диссонируют.

– А она чего? – Лиза вцепилась соседке в белую мякоть руки и легко так, без нажима поглаживала.

– А она замахнулась на меня веником и осыпала бранью. Потом помянула всуе, тут я и выскочила. Когда Бога призывают – дело дрянь.

– И все?

– Нет, не все. Разве меня выгонишь? Поднялась я по лестнице, решила, подожду. Увижу, ду-

маю, поговорю, а там видно будет. Нельзя же так просто сдаваться. Он, конечно, не влюблен, ну да этого и не надо. Мы же медики. Сидеть пришлось долго. Мимо меня пару раз переступили. Одна ретивая баба даже пыталась выгнать. Жилец из 105 квартиры угостил сигаретами. Ждала часов пять, телефона у меня его нет, взять не догадалась. Слышу в половине шестого, дверь открывается, именно та дверь. Раздалось сначала шуршание, точно мышь под обоями. Я только потом слова различила. Иван говорил. Знаешь, что сказал? «Ты, сеструха, чика мировая, так отбарабанила скрипт!»

Аня громко, вызываясь расхохоталась. Лиза перевела взгляд на пальму, никогда она ей еще не казалось такой искусственной. В одной этой девушке было больше Мальдив, чем на всей этой картине.

Глава 6

Аня и физиология

– Аня, тебе хлеб в две руки или в одну?
(девочка задумывается)

– В две!

(дед отрезает тонкий ломоть хлеба, который ломается,
как только девочка берет его в руку)

Зимой окна синие, если ночь, сверкнет где и звезда. Если утро раннее, темное, советующее словно залечь в спячку, то синева съедает все. Синь. Синька. Антисептик и краситель. Павел Фомич вздохнул. Он заложил руки за борта халата, прошелся по кабинету. Десять на двадцать. Черное кожаное кресло, дубовый стол, книжные шкафы и стенды с фотографиями. Где он только не был! И в Аргентину ездил. Помогал поднимать хозяйство в Южной Америке. Было время. Под вычищенными ботинками поскрипывал паркет, Павел Фомич привычным жестом пригладил на затылке седые волосы. «Послужной список у меня ого-го-го какой», – подумал он, и даже усы у него под носом победно зашевелились. В этом кабинете он написал четыре книги о содержании разных видов животных. Студенты и студентки даже автографы у него просили. Завкафедрой уже пять лет, столько связей, сколько дружественных ферм и клиник. И все это перечеркнет одна сопливая девчонка. Павел Фомич нахохлился и опять подошел к окну. Непроглядная. Непроглядная тьма. И что обидно ведь – ни за что пропадать. Никогда за рамки не выходил – там тронет за локоток, футболочку отдернет, а иногда, но это раньше, до всей этой суматохи, бывало, и по попые хлопнуть мог. Чисто для воспитания. Железный я, что ли. Нацепят узкие майки, юбки по самое некуда, а потом предъявляют! Нахалки. Всегда круглых любил, ножки крепенькие, грудь крупным шрифтом, волоокие и волосы, волосы обязательно чтобы густые.

За физиологию – как она там написала: масляные глаза – я что, разве ответчик? И теперь жаль только одного, жаль, что Юленьку тогда отпустил.

Павел Фомич подошел к столу, нагнулся и отсоединил от удлинителя провода. Красивая была девка, сушая цыганка, колдовские глаза. Не выдержал, тянул коньячку на 50 граммов больше и подошел, зарделась. «Смутил», – обрадовался тогда Павел Фомич. Он тогда спросил какую-то безделицу, он всегда с ними шутил, чтобы не подумали чего.

– Ну что твой папик?

Девушка, конечно, оскорбилась, сказала, что никакого такого папика у нее нет. Он перевел взгляд на ее грудь и долго поправлял ей шарфик. Она лоботрясничала, а он пятерки рисовал за красивые глаза. Юленька хохотала весь урок с подружкой, а он той, что смеялась вместе с ней, бездельнице, баллы не жалел. Однажды не сдержался, указал на доску, где корова во всех ана-

томических подробностях, и спрашивает, тыча в мышцу или нерв. Уже и сам не помнит. Десять лет прошло, каким он тогда еще был молодым. Что такое для мужчины пятьдесят лет? Вся жизнь впереди.

– Что это? – говорит.

Она, озорница, сияя своими умными глазенками, отвечает:

– Подниматель хвоста.

Весь класс в смехе полег, едва успокоил. Журил всегда ее, бестолковую, за тетрадки. Принесет, бывало, всю обтрепанную, а он притворно сердится.

– Ты чего с ней делала, мух на корове била?

Она опять смеется, кудри по плечам прыгают, щеки покраснеют, хороша, ох, хороша девка.

Павел Фомич натянул в руках провод, сложил в несколько раз и подергал. Он поднял голову и усталился на люстру. Желтое, нестерпимо яркое пятно и непроглядная тьма. Что жена подумает? А сын?

Павел Фомич хотел поддаться жалости, хоть не к себе, так к близким. Но остановился. Сын взрослый. Жена – старая высохшая карга. Сколько лет с ней под одним одеялом. Надоела до скрежета зубового. Стряпает неплохо. Мясо отменно тушит, пироги печет и одежду его держит в чистоте. Он же заведующий, все время на людях, ему дурно выглядеть нельзя. Павел Фомич подтащил стул и забросил провод на крюк, подергал.

«Подниматель хвоста», – улыбнулся он в усы.

Она тогда сказала, что перчатки потеряла, вернулась. У самой губы дрожат, глазенки бегают. Влюбилась, что ли. Он помнил, как эта мысль пробежала у него в голове и заискрилась, как запело его сердце. Влюбилась и сама пришла.

В его собственные руки, делай что хошь. В голове помутилось. Со студентками прежде дел не имел, только на выездах где пошаливал, но вдалеке от своей кафедры. Торопливо и неопрятно. С Юленькой так было нельзя. Он взял ее под руку и чинно вывел на улицу. Он что-то тогда ей рассказывал. Вспомнить бы. Павел Фомич сел на стул и вцепился в дупло розетками.

По привычке шутил. Как удойных коров, шлезвигов или голштинцев, гнали из Германии, а они через год давали вполовину меньше молока, а уж через два года совершенно с местными сличались. Земля, говорил, непитательная. Корова – она тоже существо с понятием, ей в тепло, на пышную ниву нужно. Юля молчала, ежилась. Павел Фомич, не таясь от коллег, ничего не боясь – вот дурень-то – схватил такси, назвал гостиницу, и поехали. Таксист завел песню о бензине, ценах и пенсиях, жаловался, да как-то неказисто, смешно у него выходило. Юленька оживилась и снова смеяться стала.

Павел Фомич нагнулся и аккуратно расшнуровал ботинки. Приехали, регистрация, то-се, комнату взял приличную, а все равно что липкая скатерть, вроде чистая на глаз, а трогать не хочется. Юля сбросила пальтишко и спросила:

– Что, Павел Фомич, для храбрости не хотите?

И полезла раздеваться.

Павел Фомич вздохнул. Подскочил к ней, кофту запахнул и давай кричать:

– Такая-сякая, чего удумала, дура. Я пошутить с тобой хотел, одевайся, безмозглая!

Брови свел, грозу на лицо навел. Она перепугалась сначала, потом перегнулась и давай снова хохотать. Вышли из гостиницы вместе, а дальше пошли врозь. До конца семестра еле лекции дочитал, как посмотрит на нее, так сердце и дрогнет.

Потом видел ее еще на аллее, в корпусах, но близко не подходил. Пришел на вручение диплома, только на нее смотрел. Ей какую-то грамоту вручали потешную: самая злостная нарушительница распорядка в общежитии номер три. Все охотно смеялись, знали, от кого чего ждать. Выпустилась, от сердца отлегло. Тяжело, но и легко было. Как будто в болезни, но уже не обращаешь на нее, злодейку, внимания. И пошли годы мелькать. Не отставил своего Фомич, продолжал девок

что пофигуристей да поглазастей фаворитить, говорил двусмысленности, заправляя за уши кудри. Бес в ребре никак не мог уговориться. Подошел к нему старший преподаватель – Митрохин, человек знающий, положительный, женатый, но с ужимками, и заговорил: «Бросайте старое, времена нынче не те». Фомич вскинулся. Чего ты себе позволяешь, я тебе что, Петрович с биохимии? Он под партой непотребствует, вот ему и говори.

Петрович – Павел Фомич хорошо знал его когда-то, был ему однокурсником, приехал из далеких Сочей, заселился в общежитие, так и не женился, ждал, что квартиру дадут, а тут Союз лопнул и пошла байда. Кто перековался, время оседлал, тот человеком остался. А Петрович так и не смог вырваться из общежития, круговерти пропускных пунктов, соседей, которые могли заявиться с петухами и оставить их в ванной. Гости из далеких республик все еще наезжали, распутничали под боком. А Петрович сначала держался, думал, еще успеется, а потом спекся. Слухи поползли быстро, сначала одни студентки пожаловались, потом другие. Поначалу все перли к женщине – одной из профессорш, к ректору или местному завкафу жаловаться идти стеснялись. Как будто не по чину.

– Посыпался Петрович. Я тебя, Павел Фомич, как старшего товарища предупреждаю: держись в рамках, слава дурная пойдет, не отмоемся.

И ведь как в воду глядел. Первокурсница Анна Сурникова ему сразу в глаза кинулась: мощная грудная клетка, ножки как у циркачки, треугольник родинок и глазищи на пол-лица. Павел Фомич и повелся. Шутки шутил, ручки распускал, но не выходил за рамки, держал в голове. По привычке уж и глаза горели и ус топорщился. И Анечка не так чтобы очень распяляла его воображение. Видал он и покрасивше. Юлю все чаще вспоминал. Должно быть, замуж уже выскочила и детей родила. Пока печалился да предавался сладостным сожалениям – кратчайшим и ярким, как удар молнии, вкралась к нему Анька. Сама подходила, все спрашивала, набивалась в лаборантки. По вечерам ошивалась на кафедре, помогала собирать последнюю книгу.

– Я думала, вы пишете, а вы копипастите, – сказала она как-то, когда он линейкой водил по старому, истрепанному, еще советскому справочнику.

Разозлился тогда Фомич, закипел:

– Иди, голуба, домой. Мне в таких помощниках нет нужды.

Аня заартачилась, пыталась перевести разговор в шутку, но Фомич был непреклонен.

– Ах ты, старый кобель, ты у меня еще попляшешь!

Сказала, выскочила за дверь и хлопнула дверью. Нехорошо стало на желудке, заныла в пальце заноза, и даже заболела пяточная шпора, которая спала беспробудным сном вот уже пять недель кряду. Не обмануло предчувствие. Накатала, стерва, жалобу. Будто облапал, будто в трусы полез, а она, доблестная уроженка города-героя, от него отбилась. Сначала думал, ничего не будет. А потом пошла волна жалоб, за шуточки, за касания, будто заигрывал, флиртовал и выделял, словом, реакцию Флэшмена.

Это он потом услышал про реакцию Флэшмена, как будто это не он этих куриц необразованных научил. Его, уважаемого человека, ученого, автора книг, заведующего кафедрой называли мелким рогатым скотом, учувшим козу в охоте!

Делегация от ректора не заставила себя ждать. Мол, допрыгался, Фомич, слезай с насеста по-тихому, подавай в отставку. Если будешь упрямиться, всех подставишь, а я своей головой ради твоих амурных дел рисковать не хочу. Девушка крови твоей изопьет, мы ей комнатку получше, по учебе поможем, успокоится.

Предельно все ясно. Фомич снял чистый халат, повесил в шкаф. Встал на стул, потянул провод, тот распрямился и противно, тоненько так, заскрипел. Накинул на горло петлю, она обвила шею точно кобра. Подломил колени, взял на пробу крюк, крепкий. Закрыв глаза и представил комнату в дешевом отеле, девушку в белом с оборками лифчике и доверчивые, веселые глаза Юленьки. Иван Фомич оттолкнул стул и захрипел.

Глава 7

Аня и белые палаты

– Когда я умру, ты, Аня, не плачь!
– Не буду, дед.

Анна Юрьевна не любила осень. Но в этом не было ничего оригинального, а банальность, прозу дней, она не переносила. Жаловаться на коричневые комья листвы, на удушающий холод, на зябкие, покрытые цыпками руки и грязные джинсы – как это было просто. Но стойко падающий термометр, который сдавал деление за делением, оказывал одинаковый эффект на всех. Медсестры наливали себе чай и вытягивая верхнюю губу, как какой-нибудь Снусмумрик из книги Туве Янсон, дули на горячую воду.

Больных детей, которых она как будто-то бы должна была любить, потому что это дети, потому что у них пропахшие солнцем макушки, потому что спросонья они дышат молочком и медом, и что не скажи – перл мой ясный, она не выносила. Их никто не любил. И хотя за работу в реанимационной палате коллеги ее звали Матерью Терезой, она была такой же, как и они.

Эти дети были особенными, каждый из них был тяжело болен. Больше чем лекарств и больше чем чистых простынь, они жаждали любви. Анна Юрьевна не могла заставить себя их любить. Сначала она очень старалась: не спала ночами, ломала спину, таская их на руках, переживала до спазмов в животе, ломоты в мышцах, до рези в глазах, а потом с бледным синюшным лицом ехала в общежитие, где не могла заставить себя даже переодеться и сразу валилась на кровать. Анна Юрьевна должна была взять нож и отсечь себя от них. И всё вернулось: бархат свежеевыстиранной кофты, запах кофе со свежей выпечкой и цветастый калейдоскоп выходных. Она стала по утрам крутить прическу, рисовать глаза, любоваться треугольником родинок на правой щеке. В отражении черных дверей «Не прислоняйся» она видела, что мужчины бросают на нее жадные взгляды.

И хотя она перестала чувствовать прикосновение липких ладоней, глаза – эти просящие, молящие глаза бездомных собак преследовали ее. Но она научилась кидать им подачку. В сущности, им нужно было очень мало. Того погладишь, этому скажешь ласковое слово, этому соплю утрешь – они и рады. Главное, не задерживаться, уходить раньше, чем их глаза превратятся в руки, и схватят, и поработят, и закуют в свои цепи. Она научилась делать все на бегу, быстро, аккуратно и расчетливо. Брала ночные смены, а утром, когда они тянулись стайками на завтрак, она находила для них нужные слова.

В редкие минуты, когда она смотрела в зеркало и видела не искаженный, а истинный свой облик, без слоя пудры и строительных лесов, она видела, в кого она превратилась. Там, под этой ровной кожей, она видела провалы, как будто вся осыпалась. Анна Юрьевна пыталась себя утешить тем, что она дает детям толику тепла, которую она знала, другие медсестры не давали вовсе. Они кричали, они хрипели, они грохали ладонями и требовали подчинения. Лица детей серели, головы вжимались, и было понятно, что они скорее язык себе проглотят, чем издадут еще хоть какой-то звук. Послушные, тихие, они были милы взрослым. Но с некоторыми из них не было сладу. Одним из них был толстый, стокилограммовый мальчишка лет четырнадцати, который был дебилом, идиотом с лишней хромосомой. Он имел флэш-рояль диагнозов. Психически, физически, ментально он был нездоров. Он не вылезал из больницы, и лежал то с поносом, то с золотухой. Когда она ставила ему капельницу, он запускал пальцы – слюнявые, липкие, толстые – в ее волосы, прическу, которую она так тщательно собирала перед зеркалом утром. Он разрушал архитектуру, и ей требовало большого труда сохранять самообладание. Она ласково, но строго, звала на подмогу бабушку, которая, принося тысячу извинений, спешила на помощь.

Анна Юрьевна уходила, и долго еще стены коридоров отражали стук ее каблуков. Хуже других, хуже тупого мальчишки, оказалась новенькая, Оля Чибис. Как говорится, ничего не пред-

вещало. Девочка долго валялась в реанимационной палате и не доставляла хлопот. Но когда она вышла из комы и стала соображать, где она находится и к чему это ее обязывает, она стала жаться ко всем медсестрам, как потерявшийся котенок. Она почти не улыбалась и тянула руки. Волосы, которые она давно не мыла, повисли, как листья больничного растения в грязной кадке. А когда ей делали клизму, она кричала, словно ее режут. Девчонка была домашней, балованной и страшно стыдилась, что ее сажают на судно посреди палаты, куда может заглянуть каждый. Когда Оля окрепла, то ее перевели в обычную палату. Анна Юрьевна почувствовала, как тяжесть летит с плеч, и вздохнула с облегчением. Но радовалась она преждевременно: девчонка ей просто не давала проходу. Анна Юрьевна, как быстро она ни двигалась, все время обнаруживала на себе внимательный, напряженный взгляд. Девчонка стояла и смотрела на нее и иногда что-то шептала себе под нос. Однажды Анна Юрьевна ее спросила: «Что ты там шепчешь?»

– По грехам вашим, – ответила девчонка.

Анна Юрьевна измучилась нравственно и духовно, ей все труднее было держать маску. Она отходила от ее лица, и ей нужно было поддерживать руками, прикручивать шурупами и винторезами. Как-то она ставила катетер пациентке в четвертой палате и никак не могла нащупать вену. Страдалица нервничала и плаксиво морщила лицо. Оля стояла над душой, говорила под руку и неотрывно смотрела.

– Уйти, Христом Богом молю, – просвистела Анна Юрьевна ненавидящим шепотом.

Девчонка ушла не сразу, но ушла. Вечером Оля стала носится как угорелая по коридорам, щёки покраснели, глаза блестели. Когда её зажали в угол, она начала крутиться, вдавливая в паркет пятки и выкрикивая что-то бессвязное. Анна Юрьевна вколола ей успокоительное. С выбившимися из причёски волосами, она стояла над ее кроватью вместе с коллегой. Лицо Оли было прозрачным, руки худыми, а тело желтым.

– Как белены объелась, – прошептала Анна Юрьевна.

– Наоборот, вон вся белена на козырьке, – сказала Тамара, запахивая халат, который не досчитывался пуговиц. Анна Юрьевна удивленно посмотрела на сестричку. Тамара взяла ее под руку и подвела к окну. Подтаявший осенний снег обнажил черный рубероидный след, на нем, точно прыщи, красовались таблетки: розовые, синие, желтые, выбирай какие хочешь.

Анна Юрьевна оглядела спящих детей. Казалось, что после криков Оли, от которых чуть не падал потолок, они не должны были бы спать, но они спали. Мерно вздымались грудные клетки, лица разгладились, носы притихли, рты приоткрылись, раскинулись ноги и руки. Но даже в сонных, в них просвечивало что-то тревожное, набегали тень, ночь, холод и разрушали гармонию линий.

Тамара присела у одной из тумбочек и раскрыла нижний большой отсек. Она вытащила из пакета конфету, развернула и сунула в рот. Она выбросила вперед руку, в ладони что-то приятно шуршало. «Хотите? Вся ночь впереди». Анна Юрьевна яростно покачала головой и спросила:

– Заявите?

– Зачем? Заставят проверять. Открой рот, высуну язык, это же сколько мы с этой оравой возиться будем? А потом все на свои круги вернется, вот увидите.

Анна Юрьевна промучилась всю ночь, а утром, невыспавшаяся, с кругами под глазами, решила все-таки передать информацию наверх. Она подкрасила губы, пальчиком подогнула челку и постучалась в белую дверь с крупной табличкой «Зав. отделением».

– Тяжелый случай, – покачал головой Константин Николаевич, когда Анна Юрьевна, чуть задыхаясь, выложила все, что знала. – Сколько им говорил, что спасение утопающих есть дело рук самих утопающих, без толку. Чибис как сдавала мочу соседок по палате, так и сдает. А ведь это я еще на гельминтов не просил, – он сгорбил и посмотрел в окно. Под его правой рукой высились карты больных. Они пузырились своими картонными бортами, их тела распирали исписанные листы. – Спасибо вам, Анна Юрьевна, за сигнал, среагируем.

– А скоро Чибис выпишут? – спросила Кристина Юрьевна, надеясь, что в ее голосе не звучит отчаяние.

– Ну как вам сказать? Показатели из рук вон, держим ее уже второй месяц, а с места не сдвинулись. Но долго держать права не имеем, еще две недели понаблюдаем и отпустим на вольные хлеба.

– Может, с родителями дело быстрее пойдет?

– У нее отец только, и, знаете, такое ощущение, что не от мира сего. Лучше бы ее, конечно, долечить. Спасибо вам, Анна Юрьевна, вы всегда такая внимательная.

Похвала грела Анне Юрьевне сердце и даже прожигала кофту, но к палатам от кабинета врача она добралась мрачная. Тенью легло на чело сознание, что этот волчонок в человеческом обличье еще долго будет отравлять ей жизнь.

Глава 8

Аня и десятый шот

– Хороша штучка, когда болит ручка: кушать можно, работать нельзя.

– Дед!

– Аня!

– Две пачки чипсов съела, бутылку какой-то хуйни выпила, сосисками какими-то еще ебучими закусила. Дуба, думал, даст. А она такая: «Плати!» Хотел ее чем-нибудь пиздануть, но под рукой ничего не было. Пиво-то жалко.

Арташ навалился на барную стойку, ботинки зависли над полом. В темном помещении поскрипывали лампочки, в такт инструментальной музыке звенело стекло, с кухни протекали запахи, а вокруг сновали симпатичные, но уставшие официантки. Одной из них Арташ даже развязал фартук, за что получил увесистое внушение от бармена. Ваня ковырял на бутылке этикетку и смотрел в зал.

– Вань, а Вань, в этом заведении красивых девушек не подают, – сказал Арташ, пытаясь подсунуть палец под ворот водолазки, чтобы с оттяжкой почесать.

– Ты чего так затонировался? – спросил Ваня, стаскивая с него очки. – На двенадцать часов три датых девицы.

За столиком торчали три студентки, их выдавал беспечный и в то же время распутный вид. Они не знали берегов и вели себя так, как ведут себя коренные народы на аудиенции королевы. Девица с распаренным от выпитого лицом что-то громко втолковала второй. Телефон ее то и дело проигрывал «Владимирский централ», доходя до слов «жизнь разменяна» и «тяжкий груз». Они громко разговаривали, явно рассчитывая на публику. Распущенные волосы одной болтались где-то у попы. Она то и дело разделала их на две половины и переводила вперед. Самым примечательным в ней была грудь, это Ваня сразу отметил. Другая крутила на руке кольца и вскидывала глаза на всякого проходящего. Овчарка какая, подумал Ваня. Compliments она принимала как королева, но, как только поклонник отходил, ассимилировала со стенкой. Третья клевала носом. Перед ними стоял полный поднос с едва тронутой едой и опустошенная мензурка миллилитров на 500. На донышке плескалось что-то прозрачное. «А хули нам красивым бабам», «Чтобы у нас все было и нам за это ничего не было», «Я бы ему дала...» Ваня кидал ухо вот уже минут пять и понял: время пришло.

– Какие это двенадцать, ты, бойскаут недоделанный, – Арташ извернулся, соскочил на пол и выпрямился. – Беру на себя пятый размер.

Ваня заломил ему руку за спину и предупредил, чтобы тот вперед батьки не ходил. Он пригладил свои патлы и вытер о штаны руки.

– Нам пять шотов за столик с тремя гуриями, – он махнул девушке в белом переднике и отвернулся прежде, чем успел заметить мелькнувшее на ее лице отвращение.

- Рано, видать, тебя мамка от груди отлучила, – Арташ пропустил Ваню вперед.
- Это мы с психологом на следующем сеансе обсудим, – сказал Ваня. Он было уже собрался обратиться к девушкам, но дорогу ему перерезал друг. Арташ всплыл у столика и распростер руки.
- Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, красивые, не скучаем?
- Те че надо? – сказала девица с длинными волосами. Она окинула его холодным взглядом, готовясь дать привычный отпор. – Пиздуй отсюда.
- Арташ, в самом деле, они пьяные, а не пятилетние. Девушки, мы тут с другом поспорили, кто из вас милее, румяней и белее всех на свете, – сказал Ваня, задвигая друга, как тумбочку.
- Да? И чего решили? – девушка с формами откинулась на стуле. Закинула ногу на ногу, ударилась ботинком о ножку стола и едва успела выправиться. Чтобы не испортить эффект, она крутанула в руках один из лежавших рядом коктейльных зонтиков. Подошел официант и поставил поднос.
- Вашему столу от нашего, – сказал Ваня, усаживаясь на лавку с девушкой, вскинувшей на него ищущие глаза. – Как вас зовут?
- Милена, – хитро сказала она. – А где ваш стол?
- Спящая девица ударилась носом о сложенные руки, подняла голову, а потом уронила снова. Она дергалась так, будто ее кто-то топил в ведре. Ваня не обратил внимания на реплику, полагая, что расширенные алкоголем зрачки как нельзя лучше подходят для экспериментов доктора Месмера. Интересующая его девушка излучала животный магнетизм. Он размял плечо, нагнетая образ атлета. Арташ прибрал коктейльный зонтик и заигрался с ним.
- Даша, я отлучусь, – Милена вздернула носик, схватила сумку и поднялась.
- Арташес, проводи, – распорядился Ваня.
- Я в туалет, – возразила девушка.
- Арташ – рыцарь.
- Этот недоросток? – вскинулась Милена.
- Не хамите. Арташ, проводи даму.
- Миледи, – склонился молодой человек, высоко вздернув локоть.
- Милена не удостоила его взглядом, и «рыцарь» понуро поплелся следом. Ваня установил контакт с грудастой девушкой и медленно, как Господь в день творения, протянул к ней палец и схватился за бижутерию у нее на шее.
- У моей мамы было такое же, – проникновенно солгал он.
- Побрякушка из сувенирки? – фыркнула Даша.
- Ваня провел рукой по ее коже и сгреб в кулак «веру, надежду, любовь». Кожа была теплая и потная, а металл приятно холодил.
- Сюда иди, – сказал он и похлопал ладонью по лавке.
- Не пойду, ты иди, – отказалась Даша.
- Тут освещение лучше, лица твоего не видно. Голубые у тебя глаза?
- Сам смотри, – девушка неуверенно поднялась, а когда пересаживалась, все-таки потеряла равновесие.
- «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом». Ваня, изображая художника, повернул лицо девушки. От нее пахло лаймом и спиртом. Он с нажимом располосовал ее рукой от ремня до ключицы. Даша качнулась навстречу, и Ваня, раздвинув ей губы, скользнул языком в рот. Она обхватила его шею руками, как будто тонула.
- Идем, Даша, этот урод до меня в туалете домогался, – Милена потрясла подругу за плечо. Грудастая девушка отпрянула и задела локтем спящую. Пока та хлопала глазами, Ваня отчитывал друга, надеясь, что ролик еще можно отмотать назад.
- Арташ, как не стыдно!
- Врет она все. Я рядом стоял, чтобы другие ни-ни...
- Как же рядом! В угол меня зажал, я говорю: «У меня парень есть». А он: «Парень не стенка, подвинется», – и под юбку. – Пошли, Даша. Ира, вставай!

Милена потянула девицу вверх. Ира открыла мутные глаза и громко икнула.

– Че-то нехорошо мне, – сказала она, мужественно сражаясь с подступающей тошнотой.

Даша перехватила хвост и засобиралась. Иван недовольно посмотрел на Арташа, тот пожал плечами и отвел глаза.

– Милена покинула чат, – заявила «овчарка», и девушки ушли.

Ваня пятерней забрал с лица волосы. Официантка принесла еще пять шотов.

– Ну, за тебя! – сказал Ваня и опрокинул первый.

– А соль, а лайм? – участливо спросил Арташ.

– Сам жри свой лайм.

– Не виноват я, целка попалась. Я ей руку на колено, а она – в тремор.

– Что же, ночь темна и полна ужасов, не склеим, так напьемся. Я тебе рассказывал, что папашей скоро стану?

– Кто счастливая мать? Аня Роковые родинки? – Арташ приспустил на кончик носа очки.

– У Сюточки мозгов довольно. Нет, другая, с третьего курса. Я ей лабораторную помогал делать. Она такая, знаешь, вся в облаке розового: ногти, губки, юбки, не поверишь, даже трусы и лифчик. Три раза, короче, ее.

– И залетела? Чему только их родители учат? Как единорогами управлять? – Арташ обхватил руками голову и зачумлено посмотрел на друга.

Ваня выпил еще один шот.

– А потом звонит и спрашивает: «Замуж меня возьмешь?»

Арташ поперхнулся.

– Тише-тише, не переводит ценную жидкость. Я ей так и так, замуж только по любви ходят. Давай, говорю, аборт проплачу. А она – наотрез.

– Религиозная?

– Хуже, тупая. Говорит, академ возьму, бэбика рожу, учиться надоело. Ты меня замуж возьми, а мой папа тебе поможет, подмажет где надо, а где не надо уговорит.

– А чего, папа и вправду может?

Ваня мрачно кивнул.

– Может. Нас на стадике загребли, серьезные такие шпики, и давай рисовать дело.

– Пили чего?

– Конечно, но дело не в этом. Они бульбулятор из мусорки вытащили. Фокусники! Говорят, ваш.

– Наркота?

– Нет, травка кошачья, – Ваня скривился, стряхнул зонтики на пол. – Мы уже деньги стали считать, а она такая: «Я сейчас», – и звонить стала.

– Папе? – спросил Арташ, растирая по лицу соусные усы.

– Папе, папе. Короче, отмазал.

– Хороший папа. Слушай, женись, Ваня, я тебе как друг говорю, – Арташ помотал перед лицом друга пальцем.

– Не, жениться, это я не могу. Рано мне, не нагулялся. Сюточка опять же.

– Далась тебе эта Сюточка.

– Ты вот трахаешь беременную подушку своей матери, а у меня для этих целей Сюточка есть. Я тебе рассказывал, как она под орех своего декана разделала?

– Она же мужика на тот свет отправила, – поморщился Арташ, вгрызаясь в лайм.

– А я о чем? Сюточка вывезет. А эта кукла всю жизнь за батяней стоять будет. Мне что, за мужем за ее папой быть? Не пойдет.

– Мальчики, к вам можно?

Над ними качалась затянута в стрейч женщина с густой, пышно взбитой шевелюрой. На вид ей было под тридцать, но под слоями косметики мог скрываться и другой возраст. Она шлепала своими губами, и от частого взмаргивания, казалось, могли выпасть глазные яблоки.

– У нас свободная и гостеприимная страна, падайте, – Ваня решительно подвинулся, не обращая внимания на Арташа, который выражал протест категорическим отказом. «Нет-нет-нет» превратилось в ультразвук.

– Секретничаєте? – женщина вынула зеркальце и, дыхнув на него, затуманила свой облик.

– Больше нет, – ощерился Ваня.

– Эй-эй, еще на наш столик, – крикнул Арташ, хватая за передник официантку.

– Гуляете, мальчики? – женщина положила маленькую руку Ване на плечо и прошлась большим пальцем с красным ногтем по шее. А потом присосалась к его верхней губе. Арташ отодвинулся, запустил видео с Тик-Тока и забормотал:

– Кринж ебучий. Так свою жопу и эдак. И ладно бы красивые, – он завожился перед экраном и стал поедать давно остывшие ломтики картошки. Побежали кадры онлайн-игры, и он кинул телефон на стол, но перед тем как экран коснулся поверхности, замах смягчил: – Встрата реклама!

Стол пошатнулся, и два кулака уперлись в доски. Ване поднял голову и чуть слюной не поперхнулся. Так выглядят неприятности: шея толстая, косая сажень в ногах и плечах, а отступать некуда. Когда мужик обращался к девушке, лицо его было даже милым, так в мультиках чудовищ изображают: вроде страшный, а покормить молочком хочется.

– Светка, кончай. Я же пошутил. Нашла к кому ревновать – к официантке.

– У меня теперь новое интересное знакомство, – Света отодвинулась и утерла пальчиками уголки губ. Ваня держал ее за талию, как рулон ковролина, а она липла к нему.

– Отвали, видишь, дама не хочет, – бросил Арташ, пытаясь отжать крестик.

– Тебя, чурка, не спрашивали, – красное лицо побагровело.

– Ты кого чуркой назвал, это же мой брат кровный, из одной титки молоко тянули! – Ваня вскочил с лавки и встал против мужика.

– Вот ты, растаман, чудовый, – сказал бычара и лбом въехал в переносицу.

Ваня крикнул, сглотнул вязкие сопли с железным привкусом, согнулся и почувствовал, как кровь из горла поперла обратно. Прилёг, отдышался, сделал упор лежа, подскочил. Развернул плечи и дыхнул на быка текилой. Стукнулась грудь о грудь. Прилетел удар, скулу расплющило, заветвились по аксончикам и дендритикам императивы, мозг разнесло от миллиарда взрывов, и увидел Ваня, что пол опять становится ближе. Арташ кинулся в драку. Они с Ваней навалились на мужика и ползали по полу, как карапузы в детском саду. Справлялись они с моторикой избитых конечностей едва ли лучше. Чоповцы вытряхнули их на улицу, как котят из мешка. Щеку ощеривал асфальт, и цокнули зубы. Ване стало холодно, он почувствовал, как озноб пробрал тело. Арташ рванул его вверх, и Ваня, оскальзываясь на молодом льду, поднялся. Из бара вывалились мужики, всего их было шестеро. Лбы как на подбор: заборы сшибать.

– Бля, да их целая банда. Ходу! – крикнул Ваня.

Ваня с Арташем бежали быстро. Темные улицы с вкраплениями фонарей, реклама на билбордах летели им в лицо, как снег. Красные дороги, залитые фарами, представлялись им багровыми реками. Они застряли на светофоре и мучительно отсчитывали секунды. С таким нетерпением они никогда не ждали Нового года. Ваня залепил нос майкой. Арташ баюкал левую руку. Они влетели во двор, заметались по детским лабиринтам, уткнулись в мусорку, оперлись на колени и тяжело задышали. Их нагоняли прогулочным шагом. Один бык подцепил и нес, как коромысло, какую-то шпалу.

– Идите сюда, собаки, ептыть. Твою дивизию! Вы двое, дебилы!

– Ваня, чего это у них?

– Дворником мама тебя быть пугала?

– Лопата? – спросил Арташ. – Я только сегодня юзал маску с абсорбирующим эффектом.

Ваня успел ударить два раза, потом свалился. Били по животу, давили пальцы, выкручивали руки, и он увидел, как Арташ согнулся пополам и что из него, как из лейки, хлынула кровь. Ваня закачался на четвереньках и вдалеке увидел мигалки. Раздался круговой сигнал: «вуап-вуап», и полицейская машина медленно вкатила на задворки. Ваня, хватаясь за ребра, сел на бордюр. Он высунул язык до подбородка, а потом медленно исследовал рот. Чудом все зубы оказались целы.

Острился задний премоляр, но это, может, только с перепугу ему казалось. Лужа отсверкивала огнями, он зажмурился и открыл глаза. Все казалось нереальным: дома прыгали, дорога плыла, баки двоились, небо исходило крошкой. Весь мир был в движении и не переставал кружиться. Фонари кололи своим шипастым светом, крысы шуршали, как дискотечные децибелы, нос саднило так, будто его ломали раз за разом, и эхо ударов только нарастало. У мужиков проверяли документы. Ваня повернулся к другу. Арташ лежал, запрокинув голову, под затылок натекла кровь. Ваня сорвал куртку и подложил, как подушку. Он схватился за пульс, задрал веки. Он тормозил Араташа, надеясь, что друг вскочит и как ни в чем не бывало отмочит какую-нибудь шутку.

– Документы, – услышал Ваня. Он поднял глаза, мужики исчезли, и даже тени их растворились. На улицах не было ни души. Окна домов горели желтым, горчичным, розовым, синим и даже зеленым, но все эти глаза были слепы. Они были обращены внутрь и любовались уютом, поздним ужином и может быть тем, как внучка играла дедушке на фортепиано.

Ваня начал рыться в карманах, вытащил за корешок паспорт, согнул и даже надорвал страницу. Вспомнил, как они, мелкие, ржали с Арташем, подставляя на последней странице вместо «паспорта» слово «жопа». Он сунул в руки полицейского «документы» и принялся жать на горячие клавиши. Телефон отобрали. Подошла вторая пара ботинок.

– Этих пакуем.

– Правый пыжик протекает, – ответил младший.

– Его в больницу нужно. Они ему голову разбили. Вызовите скорую, – Ваня надсаживался так, будто бы его могли услышать. Ему казалось, что друг умирает вот прямо «счас» и что ему обязательно помогут. Всего-то нужно включить мигалку, на всю громкость завести «вуап-вуап» и на всех скоростях гнать в больницу.

– В нашей палате одни капитаны – у каждого свое судно, – сказал старший. – В отделении разберемся.

– А если не довезете, вам отвечать потом, – Ваня озлился.

– Сколько в тебе промилле? – спросил молодой, приподнимая фуражку и проводя рукой по короткой стрижке. – Хочешь помочь другу, хватай с того конца.

Ваня утер сопли и взялся за плечи. Арташ был тяжелым, голова моталась, а под глазами было все синее. «Кожные покровы бледные», – пронеслось у него в голове. Дверца хлопнула. Перед лицом Вани оказалась сетка.

– Я говорю, в больницу везите, – упрямо сказал он.

– Василь Иванович, ты посмотри, молодец какой борзый пошел, – к Ване повернулся младший и беззлобно засмеялся.

– Старо как мир. Кто самый борзый, первый мамку звать будет, – сказал второй и завел машину.

– Дайте телефон, я позвоню, – Ваня почувствовал, как голос его задрожал. Красный и синий цвет разлетался вокруг машины. Ему казалось, что это лопасти какого-то диковинного вертолета, что сейчас взрвет мотор, и они взлетят, распорют самурайскими мечами ночное небо, сядут на площадку Склифа. Навстречу выбегут врачи, примут Арташа, сунут под кожу иглу и пустят по его жилам живительный раствор.

Глава 9

Аня и волшебный ларец

– Ехал, Аня, мотоциклист на большой скорости. По груди ему лупил бегунок молнии. Дай, думает, куртку переверну. Остановился, переоделся, едет дальше. За поворотом улетел в кювет. Остановились двое. Видят, непорядок: грудь мотоциклиста в одну сторону смотрит, шлем в другую.

– И что они сделали, дед?

– Повернули голову.

Отец позвонил вечером и сказал, что бабушка умерла. Я ни черта не соболезнавала и даже не знала, что это такое, но все-таки произнесла: «Я соболезную». Удивительный глагол, его пускают в ход несколько раз в жизни, и то по случаю смерти. Другие слова не подходили, а правду говорить было нельзя.

Дед умер в тот же день – пятого мая – двадцать лет назад. Он не мог умереть своей смертью. Это было ясно. Она его убила. Сначала она всем сказала, что он ударился головой о ведра, которые стояли внизу лестницы. Что он разбился, когда вышел в туалет. Но дед пьяным всегда ссал в раковину. Потом она говорила разное. Деда ударила копытом корова. Что-то про недостроенное крыльцо и балки на земле. Плела, что той весной силы оставили его и что он даже не хотел жить. Позже я позаимствовала эту формулировку, чтобы отвечать на вопросы о матери, но я говорила правду, а она нагло врала. Бабка так никогда и не призналась, что толкнула деда, что он, не удержавшись на ногах, полетел кубарем вниз, ударился о ступеньку и проломил себе череп. Отец попросил меня найти в старых коробках фотографию на памятник и сказал, что бабушку похоронят рядом с мамой.

Долго стоял поезд в тоннеле. Какой-то парень вешал по телефону, как будто стоял у микрофона: «Перед отпуском я письмо бывшей написал. Блок нужно было выбить. Мое сердце было готово к любви, и любовь пришла. Что? Да, ее Любой зовут. Знаешь, что говорит: “Сто оргазмов за раз”. А ты думал, тантрический секс. Я такое в потоке выдаю! То, знаешь, и двух капель не наберется, а тут целое озеро ей на живот выплеснул. Так только по любви бывает». На парне была расхристанная, веселой расцветки рубашка, он был вдрабадан пьян, и слонялся по всему вагону, как будто это могло ускорить спотыкающийся ход поезда.

Остаток дня я провела на антресолях. Еще одно смешное слово, которое обозначает доски, прибитые сантиметрах в тридцати от потолка. На антресоли заталкивают все, что следовало бы выкинуть. И вот эти детские велосипеды, чемоданы с ворохом полуистлевшей одежды, чертежи в тубе, печатные машинки в чехлах, коробки с фотографиями давно умерших людей и сумки с армейскими сапогами зарастали пылью. Я была первая, кто их навесил за последнее десятилетие.

Мохнатая коробка на сквозняке шевелилась будто паука с жирным телом. Я водрузила хранильницу памяти на ламинированную, тщательно вытертую столешницу. Когда я выросла, стала предпочитать ДСП древесине. Такие столы притворялись чем-то иным, и в этот обман хотелось верить. Бабушка часами могла соскребать грязь ножом с деревянного, сколоченного из досок стола. Я следила за этим равномерным чирканьем и вслушивалась в бабушкин голос. Она заговорила мне зубы огненными конями, скатертями-самобранками, яблочками на блюдцах с голубыми каемочками, свирелью, Иванами-царевичами и Жар-птицами. Подперев руками щеки, затаив дыхание, я слушала сказки, а снаружи скребли дом ветки. Я закрывала глаза и представляла себе собаку с длинным высунутым языком, у которой в темноте горели большие глаза-плошки.

Среди чайников с цветами, кружек с забавными надписями коробка, кособокая и неказистая, смотрелась лишней. Коробки тоже стареют, картон высыхает и твердеет, как старая апельсиновая корка. Я разогнула края и надорвала боковушки. В воздух поднялась серая взвесь и осела на белых кружевных салфетках. Новая жена отца была чистюлей, какой никогда не была моя мать.

Передо мной лежала целая кипа фотографий, и я понимала, что этот замечательный майский день я проведу в компании мертвецов. Я вытянула первый семейный снимок. «Вас бы на афишу», – прошептала я и вздрогнула. В квартире, кроме меня, никого не было.

Я разогнула спину только вечером. Для памятника подходили только три фотки, другие были слишком мелкими и нечеткими. Я щелкнула их на телефон и переслала отцу. Пока он думал, я поставила чай. Хозяйничать в доме детства, который переменял облик, было неприятно. Похожее ощущение испытываешь в лаборатории, когда засеиваешь одну культуру, а вырастает совсем другая колония. И вот ты смотришь на эту цветную щетину и понимаешь, что даром потратила две, а то и три недели.

Я прошлась по комнатам и остановилась перед стеной с фотографиями. Отец с женой и маленький мальчик. На стекла светило солнце, и они казались охваченными пламенем.

Телефон закрутился на столе, и если бы я не подоспела вовремя, он бы, верно, упал. Отец прислал сообщение: «Ты специально выбрала фотографии, где бабушка похожа на тебя?» Я разбила чайник с розочками на стену и вытерла заварку с пола кружевными салфетками. Вернулась в общагу поздно, но отец позвонил еще позднее. Он не был пьян, но говорил неразборчиво. Сказал, что бабка незадолго перед смертью прыгнула в лестничный пролет. Не убилась, но бедро сломала. Далее последовало молчание, я сказала, что устала, и нажала отбой. Ваня уже спал. Я забралась в кровать, и он, полусонный, обнял меня.

По полу стелилось солнце. Под крышей курлыкали голуби, а голубое небо вливалось в окна. В зеркале отражались крепкие руки, ноги, выпуклый живот, на котором билась жилка. Я потянула носочки и перекатилась на край постели. Его половина была еще теплой, и я отбросила одеяло. После секса тело было легкое. В комнате витал запах кофе, сиял чистотой стол, а в стакане торчал фиолетовый цветок неожиданно расцветшего лука. В зеленых перьях я обнаружила маленького паучка и смотала на палец паутину. Из ванной доносился плеск воды. Я подошла к окну, закрыла глаза и подставила лицо солнцу.

Ваня никогда не вытирался, и его кожа была усеяна мелкими каплями. Я вытащила из холодильника сыр и масло. Он покромсал тупым ножом хлеб и вскрыл банку с вареньем. Мы ели из одной тарелки, я не слезала с его колен.

– Долго мы еще будем жить в общежитии? – спросила я, обводя глазами бедные декорации и для лучшего эффекта вздевая руки. Ваня сразу нахмурился, и ножик чиркнул по поверхности стола. Лицо у него было помное, пару дней назад он «знатно погудел и даже подрался». С синяками он мне нравился больше.

– На сеструху мою даже не рассчитывай, – отрезал он.

– Так возьми ночные смены, их по двойному тарифу оплачивают.

Ваня наблюдал за мной, как будто я выделяю какой-то сложный акробатический номер, а потом покачал головой.

– Ты же знаешь, легко только кошки рождаются, – продолжала я убеждать, исполняя в одностороннем порядке эскимосский поцелуй.

Ваня провел пальцами по моим родинкам, будто сметая пыльцу, и велел закрыть глаза. Я не послушалась, и через секунду мои ресницы затрепетали под его ладонью. Пока я пыталась ослабить захват, он разжал колени. Я падала спиной и успела даже подумать о табурете, который стоял рядом. Ваня поймал меня за майку и вытянул наверх. Я вцепилась ногтями в его плечи, а он небрежно стряхнул крошки на пол. С черно-белой, чуть в желтизну фотографии на нас смотрела бабка.

Она стояла возле бревенчатого дома и обнимала белую березу. Развалины Куркова дома закрывали темный размытый лес, в котором, я хорошо знала, жили лешие и водяные, сидели на ветвях утопленницы, и по весне, в мае, звали своими тоненькими голосами, заманивая в болото доверчивых, любопытных и жадных. Там, в глубине болота, цветет папоротник и бегают огоньки, там тебе всегда рады. И в самую сильную грозу, когда порывистый ветер снимает шифер, рвет бельевые веревки и ревет, как медведь после спячки, они, майские утопленницы, выходят на поляну, надевают венки и, сливаясь в белом магическом кольце, пляшут в хороводе.

Евгений ВОЛЬПЕРТ

это стихотворение будет совсем без сюжета
разве что чайник сейчас на плите закипит потому что мне хочется чаю
разве что птица в окно залетит потому что окно это будет открыто
между горящих конфорок вышагивать чёрными будет ногами

только сказал что не абудет сюжета как сразу же что-то случилось:
пахнет палёным – посуда не мыта – всю ночь не был выключен свет в туалете –
газон перед домом за долгое лето сгорел под лучами жестокого солнца –
в жухлой траве насекомые бродят и убивают друг друга

в этом стихотворении тухнут и загораются птицы газоны и лампы
вода из-под крана течёт возвращаясь в подземные русла
кто-то на кухню ещё забредёт и возможно помоем немытую эту посуду
или возможно посуду навечно останется девственно грязной

в подвалах мечутся безумные коты
снег тает на разбитых тротуарах
сидят недвижно бабки на скамейках
и гадости друг другу говорят

всю ночь не спал и думал о тебе
всю ночь луна таинственно мерцала
всю ночь кричали пьяницы в подъезде
и птицы щебетали за окном

о чём поют ночами соловьи?
о том что ты ходила в продуктовый
купила сыр и колбасу на бутерброды
теперь он ест всё это по утрам

Евгений Вольперт родился в 1978 году в Риге. В 13 лет переехал с семьёй в США. Выпускник Ратгерского университета. Публиковался в журналах «Знамя», TextOnly, «Новый Журнал», «Двоепочие», «Формаслов», «Литература». Предыдущая публикация в «Волге» – 2021, № 5-6. Живёт в Нью-Джерси.

за универсамом
раньше был пустырь
с непрекращающейся стройкой

там среди цементных луж
и залежей карбида
мы гуляли с пацанами
и играли в игры
правила которых я уже давно не помню

помню только
как играя там однажды
я завяз в одной такой цементной луже
и не мог потом уйти оттуда
целую неделю

полчища бродячих кошек
по ночам
в крошечной тьме
орали на меня дурными голосами

дети продавщиц универсама
приходили
по утрам
смеяться надо мною

я стоял там
и всё время думал
неужели

наши предки для того освобождали
эту проклятую землю
от фашистов
чтобы я здесь так бесславно сгинул

Богом и людьми забытый
с ног до головы
обоссанный
жестокими детьми и дикими зверями

а потом видение мне было
с огненным мечом
в штанах спортивных и застиранной футболке
и оно сказала

ну чего стоишь
давай пошёл отсюда

я пошёл оттуда
и с тех пор уже туда не возвращался

в день февральский холодный насквозь продуваемый всеми ветрами
я иду по дороге
считаю раздавленных белок
липнут белки к асфальту как звёзды к полному небу
если звёзды зажглись значит это кому-нибудь нужно

всё в природе идёт чередом по привычному старому плану
на дороге заторы
сбиваются в стаи тойоты ниссаны и форды
испускает поодаль обшарпанный бьюик последние смрадные вздохи
липнут белки к подошвам и пушистыми машут хвостами

мы встретились но не поговорили
я сразу умер всё пошло не так
тебе как посторонней в морге
не выдавали тело наш десятый «Б»
на похоронах был представлен слабо...
мы встретились увы я снова умер
на похоронах был какой-то сброд
бомжи кладбищенские пара мутных типов
из параллельных классов наш десятый «Б»
на этот раз никак представлен не был...
мы встретились я был де-факто жив
но в доску пьян пел песни хоровые
с дружкой каким-то тоже в доску пьяным
игравшим на баяне нам с тобой
поговорить опять не удалось...
мы встретились я был вполне живой
я объяснял тебе что нет пока в футболе
команды лучше тут я снова умер
на середине фразы впрочем ты уже
другого ничего не ожидала
на похоронах наш десятый «Б»
представлен не был ты сказала речь
тем чувакам из параллельных классов
они похлопали в ладоши пьяный бомж
сыграл нам на баяне больше мы
с тобою в этом мире не встречались

Софья СУРКОВА

ПОСМЕРТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Рассказ

Посвящается бабушке Валере, чья смерть навсегда омрачила мою жизнь

*После детства я ходил с тяжёлым сердцем,
Прицепив под ним твой образ, как японцы носят нэцкэ.
Зангези*

Дедушка Валера был самый огромный и самый великанский из всех, кого я знала. Вот наглядный случай: мы строили на участке сарай, он состоял из брёвен с выемками по обеим сторонам, срубами они укладывались друг на друга. Отец с другом еле как поднимали бревно вдвоём и волокли к постройке, а дедушка просто брал его под мышку и водружал. Как ни в чём не бывало. Я поражалась.

Он жил в Стрежевом, это Сибирь, там Новый год наступает на четыре часа раньше. Он всегда говорил так, у меня книжный бизнес. Это была правда, в Стрежевом он держал несколько книжных лавок. Он очень любил читать; в молодости, когда был дефицит книг, он покупал по несколько экземпляров одной и той же книжки, чтобы потом обменивать их на другие. Из этого и вырос его книжный бизнес.

Он приучил читать меня. Приезжая к нам в гости, он привозил мне коробку книг, к следующему его визиту я должна была их все прочесть и потом рассказать ему, что думаю. Там было очень много книг про сирот.

Дедушка любил Маяковского и Некрасова, он говорил мне: «иди сюда на перекрёсток моих больших и неуклюжих рук» или «и это оскорбление на общий счёт нанижем». Он раскидывал руки и говорил, ну что, видишь, видишь? вот! перекрёсток рук! Или пояснял: нанизывают обычно что? мясо на шампур! так же и я, когда женщины меня обижают...

Он читал мне на ночь «Кому на Руси жить хорошо», и когда я наивно спросила, что такое «временнообязанные», он сказал, Соня, ты что, дура? И вот это «ты что, дура?» стало лучшими словами во всей моей жизни, я ношу это очень глубоко в своём сердце, и когда случаются трудные и сложные времена, я спрашиваю, Соня, ты что, дура? И тогда становится мне светло и привольно.

Летом они с бабушкой Файей подолгу у нас жили, тогда он читал мне или вместе со мной. Я помню «Ваньку». Когда я была маленькой, мама бережливо ограждала меня от всяких потрясений. Ванька Жуков стал первым. Дедушка читал вслух, а я прыгала вокруг на резиновом шаре. Он прочёл: «на деревню дедушке, Константин Макарычу», тогда я остановилась прыгать и горько заплакала.

Софья Суркова родилась в 1999 году в Московской области, с 2017 года – студентка Литературного института. Публиковалась в журналах «Флаги», «Ф-письмо», «Воздух», «Волга», TextOnly, «Цирк «Олимп»+TV», «Литература», «Парадигма», на порталах «Грёза», «Солонеба», «Полутона». Переводила стихотворения Чарльза Симика для сборника «Открыто допоздна» («Полифем», 2021) и ряд стихотворений европейских и индийских авторов ко Всемирному дню поэзии (2021). Шорт-лист молодёжной поэтической премии «Цикада» (2021).

Я не знаю, любил ли он Толстого, но всегда говорил про Пьера Безухова и Андрея Болконского. Он говорил мне, всегда думай, как поступил бы Пьер Безухов, но помни, что ты не он. Он рассказывал мне, как умер Андрей Болконский. Но даже Болконскому не удалось умереть также невероятно, как моему дедушке. Болконский видел, как на него летит ядро, но он не падал, потому что падать стыдно. Дедушка сказал, что эта история про честь. Я всё запомнила, я тоже большая авантюристка! И когда становится очень трудно, я вспоминаю только одно – падать стыдно.

Я много кем хотела стать: хирургиней (не чтобы лечить людей, но чтобы сделать прелестного дельфиноорла, рисунок прилагается), актрисой и писательницей. Но всё оттого, что хотелось бессмертия и гениальности, за которые мне простятся мои мелкие грешки и паршивый характер. Но в четыре года я хотела стать солдаткой, я думала, что солдатки занимаются только тем, что маршируют. Поэтому я взваливала палку на плечо и ходила квадратами по комнате. Дедушка Валера рассказал мне, чем занимаются солдаты, и играли мы с ним уже в другую игру: строили баррикады из подушек, и скрывались за ними, и ползали по-солдатски. Когда я стояла в пикетной очереди у посольства Польши (тогда польским женщинам практически запретили аборт), я опять почувствовала себя солдаткой. Я хотела написать на плакате Я РОЖУ ВАМ ЛЕБАКА, но побоялась и написала the prohibition of abortions is VIOLENCE AGAINST the female body. Я была злая как чёрт.

И вот ещё. Он читал мне вслух Гулливера, доходил до самого интересного момента и откладывал книгу – приходилось продолжать самой. К тому же он обучил меня его методу чтения: нужно выцеплять взглядом всю строку, а не проговаривать слова в голове. Я достаточно быстро читаю. Про Гулливера он поделился со мной секретом, он сказал, многие думают, что там всего две части, про лилипутов и великанов, хотя на самом деле их четыре. Третью я не помню, помню четвертую про гуингнмов и еху. Дедушка сказал, на самом деле эти лошади не так добродетельны, каковыми кажутся, Свифт изобразил общество лицемерных моралистов – я это запомнила, да. И ещё очень их боялась, лошадиные головы наводили на меня ужас.

И вот ещё. Они приезжали к нам из Стрежевого почти на всё лето, большую часть времени он проводил наверху в гостевой комнате, спускался вниз только поесть и посидеть во дворе вечером. Всё время наверху он проводил за книгами, я прибегала туда, и он начинал читать вслух прямо с середины предложения. Так я прослушала отрывками «Отверженных» Гюго. Ничего не помню оттуда, помню только, кто-то постоянно подметал пол, и всё.

В другой раз он читал такую книгу – на обложке значилось имя – Барух Спиноза. Я решила, книга про пеню. Это, на самом деле, вполне очевидно, потому что в Спинозе есть спина и заноза. Я нашла Спинозу в лесу и написала об этом рассказ, он начинался так: «На полянке вырос пенёк». Кажется, я не знала, что пни появляются, когда деревья срубают...

И вот ещё. Дедушка Валера научил меня драться. Хотя не совсем так, я просила его научить, но он отказывался и только сказал, бить надо не силой, а весом. Мне очень понравилось, как звучит эта фраза, я множество раз написала её в тетради. Дело вот в чём. Когда мне было четыре, меня растлил двоюродный брат. Он насиловал меня много лет, а в один раз даже поделился мною с друзьями. Отец всегда говорил мне, у всех есть ангел-хранитель, он следит за жизнью человека и оберегает. В общем, в тот раз я сильно надеялась, что придёт мой ангел-хранитель, я представляла его так: бледного, с золотым копьём, в римском одеянии и белыми крыльями как у лебедя. Ангел-хранитель не приходил, хотя я ждала. Когда брат насиловал меня один, он особо не изощрялся, но в тот раз меня заставляли слизывать мочу, а в конце даже отпинали.

Ни в первый, ни в последующие разы я особо не рыпалась и не кричала, это не значит, что я не сопротивлялась. Я каждый раз, лёжа перед ним на спине, со всей силы сжимала колени, он их разжимал. Я могла противостоять только пару секунд, и я противостояла, зная заранее, что он всё равно раздвинет мне ноги. Лет в десять во мне поднялся боевой дух, я решила научиться драться и спросила у дедушки как. Я выяснила, бить надо не силой, а весом. Спряталась за диван, в зазор между ним и стеной, подставила табурет, он предназначался для чистки зубов, чтобы дети дотягивались до раковины. Я поставила на табурет правую ногу, чтобы опираясь на него, как бы приподняться над своим ростом. Брат нашёл меня довольно быстро, он нагнулся за диван, тогда

я жала кулак и выпрямилась. Кулаком я промахнулась, зато врезалась головой в его лицо и сломала ему нос. Его увезли в травмпункт, и он больше меня не трогал. Я страшно собой гордилась.

И вот ещё. Дедушка Валера рос в деревне под Арзамасом, это Нижегородская область. Они были очень бедные. Его брата один раз посадили на два месяца в тюрьму за то, что он накопил в лесу «общественной» травы на зиму для коровы. Дедушка ненавидел крупы, потому что в детстве они питались только кашей. Оттуда у него сохранилась привычка за едой читать поваренную книгу, чтобы представлять себе более изысканные блюда. Он делал так при мне, а еще приговаривал «очень вкусный суп капустный».

В их сельской школе был всего один учитель, он вёл все предметы. Летом дедушка работал, пас коров, а на вырученные деньги покупал в городе книжки. Он выучил французский по сказкам Шарля Перро и поступил в Томский иняз. У него была идеальная грамматика и ужасное произношение, потому что до института он ни разу не слышал, как говорят на французском. Шарля Перро он мне тоже читал, сразу на двух языках. Эту книгу я помню на ощупь, она была фиолетовой.

И вот ещё. В Томске он встретил бабушку. Её звали Хафиза, потом она сменила имя на Фаина. Она была на несколько курсов его старше, они начали встречаться, когда она уже заканчивала институт. После окончания учёбы она должна была уехать домой в Башкирию, а потом преподавать английский куда-то по распределению. Дедушка рассказывал так, я купил апельсинов и посадил её на подоконник в коридоре общежития. Я понимал, она сейчас уедет, и мы больше никогда не увидимся. Она правда уехала. Тогда дедушка вызнал в институте её адрес и прилетел к ней через день зайцем на самолёте. Она думала, всё это несерьёзно, и не ожидала его увидеть, и очень удивилась, когда он в пять утра появился на пороге её дома.

И вот ещё. Стрежевой был новым городом. Когда они туда переехали, там не было старых людей, только молодые семьи с детьми. Тогда у них уже было две дочери. Мама рассказывала, что дедушка Валера устроился работать в ночную смену на стройку, потому что строителям первым выдавали квартиры. Мама говорила так, мы два месяца жили в палатке и эти два месяца дедушка не спал, потому что работал две смены, преподавателем и на стройке.

И вот ещё. Дедушка Валера не верил в Бога и говорил, я атеист. Один раз он спросил, что мне почитать перед сном. Я сказала Библию. Я так сказала, потому что отец говорил, на ночь нужно читать Библию. Дедушка сказал, Бога нет, и хитро улыбнулся. Он рассказал, учёные летали в космос и не нашли там никакого Бога. Я тогда очень удивилась, потому что не знала, что в Бога можно верить или не верить. Отец говорил, что он есть и всё. Я удивилась бы также сильно, как если бы дедушка заявил, что нет стульев. Я решила назло отцу не верить в Бога вместе с дедушкой. И каждый раз в храме думала, я атеистка. Хотя мне кажется, что тогда, в рьяном отрицании, я сильнее всего верила в Бога, но не от ума, а из необходимости.

И вот ещё. У дедушки был сахарный диабет, все об этом знали. Когда бабушка пыталась колоть ему инсулин, он её шпынял. Ещё у него была меланома, об этом он никому не рассказал, и никто об этом не знал. Они с бабушкой переехали в Подмоскovie, купили большой дом, где были комнаты для всех. Дедушка снял склад и начал свозить туда книги из Стрежевого. Он ездил один на грузовике, в несколько заходов. Это его сильно подкосило.

И вот они переехали окончательно. Меня отправили к ним в гости на выходные. Первым делом мы съездили в магазин за продуктами, чтобы пожарить мясо. Мы вернулись, я и бабушка вышли из машины, чтобы помочь дедушке загнать её в ворота. Он припарковался и вышел, и упал. И он не мог подняться, соседей не было, а дедушка был такой огромный и великанский, что мы с бабушкой не могли его тащить. Тогда он пополз, он полз по-солдатски, загребая землю локтями. Мне не было страшно, мне было просто грустно. Меня немного била дрожь, потому что в голове не укладывалось, как такая громадина может ползти. Он дополз от машины до самого дома. Бабушка позвонила отцу, и меня вскоре забрали. И этой ночью он умер.

Иван СТАРИКОВ

Weihnachtsmarkt

если рождественский рынок
накрыть стеклянным куполом
и сделать из этого недорогой сувенир
ничего в сущности не изменится
искусственные лица
вместо такого же снега
веселье по графику
и прочие фальшивые ёлочные игрушки
настоящим будет
шелест евро
и может быть
вкус глювайна
но это не точно

Несезон

полусгнившая беседка в китайском стиле
охраняемая лентой и табличкой «опасно»
сухие ветви теряет след

приблизительно в 1900 метрах отсюда
согласно закачанной в xiaomi карте
главная улица
шелест фотокамер
тональная речь

*

свежемороженое время
в развес
бывших пансионатов
заколоченных вилл
отсутствующих людей
присыпанный янтарь
разорванным ожерельем

Иван Стариков родился в 1983 году в Санкт-Петербурге (тогда – Ленинград). Окончил биолого-почвенный факультет СПбГУ, магистратуру университета Экс-Марсель и аспирантуру Гейдельбергского университета. Стихи печатались в журналах «Арион», «Воздух», «Знамя», «Парадигма», сетевых изданиях и сборниках. Живёт в местечке Санкт-Ильген, Германия. Предыдущая публикация в «Волге» – 2018, № 5-6.

переключается за стеклом
назад в чёрно-белое
булдури, дзинтари, майори
дуббельн, карлсбад

Вечер после всего, шелест собираемого и гул шагов, исчезающих за край плоскости. Выйди за неё, шепчут, так и будешь двумерным камешком в го, тем или иным? Нестройный храп за перегорожкой, аксиома, что кто-то там, фантом, декорация, пусть. Тёмный дом молчит и не знает о своей скорой смерти. Или знает то же что и соседняя ноябрьская листва неспособная к полёту? Тёплое не равно рядом, *здесь* оставляет зазор, это без объяснений. Ночь не отпускает, ещё не время. Как, говорит, посмотришь мне в глаза, отвернувшись к стене. Издалека поддакивает зима, зайду за тобой пораньше, мол. Утренним первым что-то будет, другое, сереющая глазурь мюнхенским крышам. Если и пряник, то не удастся, съесть нельзя, не смотреть не получится. Погребаёт собой несыгранное и неслучившееся, минус на минус не даёт плюс. Занеси это куда нужно, и ничего не останется, *genug*.

Сказка

Рейнеке-лис крадётся за гусем Марином
Мартин разворачивается
и угрожающе шипит
Лис отступает
Тогда Рейнеке меняет тактику
И оборачивается человеком
Рейнгольдом там или Романом Петровичем
Подходит к Мартину
Хватает его резким движением
И сворачивает шею
Кушать-то всё равно хочется
Лис ли ты, мил человек, или мил человек
Мораль придумайте сами, милыя дѣти

Байесовы методы

hello MrBayes

запустите
всё
затем
execute
файл
или кого хотите

mcmc

для модели параметры
для действия Монте-Карло
церемониальный мастер Марков в цепях

сколько поколений
будет длиться расчёт
и когда это всё кончится
ngen=

впишите значение

запишите
ожидаемые изменения

вырастить
филогенетический лес

burn-in
или burn them all

продолжить?

ребёнок играет
в солдатики
кто-то из них побеждает
в куклы зверюшек
тут побеждать не надо

раз в год
из сундука достаются
шарики дождь дед мороз
тут тоже

раз в четыре-пять
из другого другие
механические заводные
эта игра
называется выборы

потом все проигрывают

сделать свой выбор
дело в москве

или московское дело
ярмарка ремёсел фестиваль шашлыка варенья
кровь клюквенное ссадина брусничное нужное подчеркнуть
прогулка по центру города
в неурочный день
либо с дрессированными животными реконструкторами

согласно преискуранту
твит про то как похорошела москва – подкинем
потёртые рок-звёзды – бесплатно
шашлык – от 300
погулять по тверской – от 10 тысяч
бумажный стаканчик – 1 месяц
поднять наушники – 2 года
твит про детей ментов – 5 лет

потому что знаю что эти люди работают для страны для столицы для москвы

решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности

сделать свой выбор
поставьте любой знак
вот здесь здесь и здесь подпиши

в восемнадцатом году
здесь было остановлено
наступление белых
сообщает монумент
у края поля

согласно вашей заявке
можем предложить вам пройти
именно здесь
послезавтра
с 7 до 9 утра
без применения специальных средств
в частности установок
для усиления западного ветра
и повышения температуры процесса
ваше количество не должно превышать
суточную норму

в случае нарушений
валкователь широкозахватный СВШ-14
агрегатированный с трактором тягового класса 5
будет производить
снегозадержание

не ледяная пустыня
а тундростепь

не такой уж лихой
но бродит
бродит

инда ещё побредёт

Дане Курской

со спутника видно как выкипает цветной гуляш
в нём барахтаются космические посланцы
с планет сыктывкар челябинск канаш
арбат
наш
и зеленоград
наш
за края москвумены замкадовские протуберанцы
это уже не там никогда не тут
до дачных берёзок мясной волной
поглощаемые чёрной золочёной дырой
помянуть помнут
положенной головой
на зеро зер гут
у кого до утра работает невидимый резак
в этом мы все
зуб не ной сам не ной
моисей эней гильгамеш
ой не брани меня мати
есть кому берёзу заломати
заглянути за

могила леонида андреева
во время финляндской республики
находилась в идеальном состоянии
говорит местный краевед
после войны кладбище
разграбили переселенцы
и следы надгробия полностью затерялись

по другой версии
писателя всё же выкопали
и перенесли на литераторские мостки
а вот могилу его матери
обнаружить уже не удалось

герои обязательно находят своего автора
иногда не сразу

П. И. Филимонову

Если долго класть на всё
То, что принято класть
Через какое-то время по заветам Парацельса
Как Афродита из прокрастинационной пены пивной
Появится гомункул
Взбивая её, присядет на край кружки
Его можно послушать
Вдруг что интересное продекламирует
Напишет рассказ или картину
Прибьёт к двери апрельские тезисы
Ещё может статья
Что он теперь ты и есть
А сам ты, ну, не знаю, наверно, где-то остался
Это стихотворение
Тоже написал гомункул

будущий доктор наук, академик
директор института, паразитолог с мировым именем
кавалер двух орденов Борис Евсеевич Быховский
будучи ещё студентом
по свидетельствам однокурсников
писал неплохие стихи
однажды его вызвал к себе шеф
профессор Догель
и с немецкой педантичностью заметил
что вот у вас успехи в науке и стихи, говорят, пишете
но надо бы уже определиться, молодой человек
тогда Быховский за ночь собрал всё написанное
и торжественно сжёг в печке

где-то в толще Белого моря
в жабрах лосося сомнений

безбилетным Ионой
сидит паразитический червячок сомнения
Gyrodactyloides bychowskii

Если ехать на север, то после появится Бабице, а через какое-то время и Катовице.
Если на юг, то будет, что характерно, Райско.
В Большой советской энциклопедии следом идёт осветительная установка, в англоязычной Википедии – австрийское озеро Аузее.

Всё это тоже возможно поместить в стихи.

давайте же говорить о смерти
что вы так и не повзростели что ли
у маши есть п.зда у пети есть х.й
или наоборот так тоже потом бывает
у марьпетровны родина президент патриотизм
о них можно а о смерти нет?
а смерть есть у всех
маленькая в коробочке между разных сувениров
или здоровенная
накрывающая собой ночью
всё огромное
омертвелое оранжевое городское небо

Единственное стихотворение 2021 года

что говорить, когда и далее по тексту
где мы проснёмся
те же, но не те
другие, лучше прежних нас
где после навсегда
лишь межсезонье и приглушённый свет
рассеянный повсюду
и время пять, шесть, восемь?
и бесконечный парк, переходящий в лес
возросший на удобренной среде
кого питает перегной подстав
компост потраченных иллюзий
с немногими, со всеми нами

что осознали торжество и поражение
свободными своих дихотомий
кто нас оставил тут et ipse legi?
поверивши в ботанику теперь
осуществляя невозможный выбор
бессмертник или асфodelь

24.02

я
не знаю
Что
писать дальше

Валентина ФЕХНЕР

разомкнутый вопрос
ответ смеркается
ты выплакал весь гоголевский нос
потерю и до солнца не донес
и день недели придушил до пятницы

теперь среди значений и зеркал
я самого себя до крови промолчал
и речь похоронил как позвонок раздора
среди невозвращенца разговора

...такая теперь тишина
А. Ахматова

здесь – только эта строка о строке
здесь – сентимент об упущенном сроке
заикнуться строк-е-е на той е
что о стране ни е

в этой строке могла быть война
но я говорю ей нет/но я говорю ей да –
из раздираемого семени вырос кровавый плод
(деревце перетерпит? яблочко заживет?)

в этой строке не прописано ни иглы
не покалечит слово ни остроты ни мглы
только новая темень русского сходит на выколотый язык
и говорить темно и молчать впритык

Не спят, не помнят, не торгуют
А. Блок

воспаленное возбуждает в понятиях
не млекопитанием

Валентина Фехнер родилась в 1989 году в Донецке. Живет в Москве. Училась в Литературном институте им. Горького. Стихи публиковались в журналах «Гвидеон», «Плавучий Мост», «Формаслов», «Кварт», «Метажурнал» и др. Автор книги стихотворений «Око» (М.: Стеклограф, 2021).

нечем для осмысления
не вопросом выживания
но ос мышление
нос гоголевской величины
опережает время своей личины

но осы осы их труды почто воспалены
и смерть на острие войны
принять отраву вины
что я убийца или ты
(строка могильной глубины)
что Мы – убийца

но воспаленным всем своим мы говорил мы умирал
мы жил мы помнил мы желал
и всем двадцатым веком прослезился
и коллективно затопил эдиповы глазницы

в строке погибшей жило мы
вот в этой больше не живет
а в этой не было его от сотворенья тишины
и стих не надевал его спасительный жилет

но имя слова было – день
а имя речи было – ночь
язык им был народом тем которому нельзя помочь

АПЦ

камень в тесноте тяжести
человек в потомке надгробия
тело во гробу здоровья
жизнь в том чем кажется

если закрыть мертвому уши
что он услышит двойным оглушением
тишина внутри от тишины снаружи
отличается слухом соотношения

если молчать мертвому в слово
что промолчит он молчанием твоим
немота мертвого от живого
отличается близнецом могил

если ожить мертвому в память
лазарем речи прошедшее продолжать
как будущего камень
под которым потомком лежать

биополярное расстройство вещей
замкнула строфу на восприятие и забыла
блаженно радуется и веселится щей
а ве в разрыве гибель затаило

чем дышит расщепление вообще?
когда от целого осталось обоняние
в нем обретет покой душа вещей?
и задыхается обоснование

разит распадом существа понятий
то ли логика свадьбу играет с абсурдом ревнивым
и ее ежедневно кромсает отелло разъятий
а она воскресает в крови невредимой

в духоте прощания воздух незрячего времени
и глаза выдыхают себя из зрения
и тьма удушаясь сама собой
завершается этой строкой

Античный плач русской девочки

Русская девочка (Р.Д.)
Хор

Р.Д.:

это подземный воздух, налитый памятью, алеет, набухая воспоминанием,
вот-вот и выдохнется наружу плач его переспелый,
и могилы станут легкими, чтобы дышать навзрыд,
смерть выдыхая из умершего, как дурное воспоминание,
а я на краю задыхания и с обрыва его уже сделала шаг роковой,
но вдруг угодила за выемку между вдохом и выдохом
и услышала передышку, ее слезное сердцебиение,
но, прислушавшись глубже, я поняла, что это язык,
который встречается только в таких местах –
между войной и миром,
между добром и злом,
между жизнью и смертью –
и мои слезы текли на нем

ХОР:

отведай нашего языка о девочка русская, –
он – то, что война еще не начавшись шептала братьям твоим

в утробе грядущего,
он – то, чем вожжи заговаривают народ перед новым ударом,
он – первое провидение в сердце пророка,
он – то, что болит между землей и родиной раной власти,
он – то отражение твари, в котором сказал Достоевский русское слово,
он – речевой аппарат топора и посмертное имя старухи,
и рыдание его на иероглиф переводит твой плач

Р.Д.:

о как мне не разорваться на два языка,
когда братья мои выедают друг другу речь,
и язык одного отменяет язык другого,
чтобы на вражеском и молчать не мог,
и тогда все зверства детства моего распахивают свои языки,
и я говорю мальчика у Христа на елке – ооченелое лепетание памяти,
где ускользающая мать охладевает в сиротство,
и красные взбухшие вопросы, примерзшие к выдумке,
играют в самих себя, как в беременные ответы,
налитые тайной безусловной любви,
и дед отводит нас с братьями
гулять в Калининский район на Донецк два –
я помню его, как место, где один брат всегда обгонял другого,
а я подхватывала того, кто начинал задыхаться первым
и вдыхала его поражение на себя, а в него выдыхала свой воздух,
и он продолжал борьбу –
этому научила меня моя мать, а ее моя бабушка,
все женщины в нашем роду жертвовали всем своим ради братского мира,
и, вошедши в горящую избу, так и сгорали,
задувая огню свою жизнь,

но, потом, бабушка не поехала в Израиль за дедом, а
вернулась в Россию, чтобы свое дыхание передать русскому солдату,
в то время как дед задохнулся от тоски

от Донецка два теперь остались только пара надгробных камней,
которые издали напоминают головы удаляющихся братьев,
но стоит приблизиться – они ускользают все ближе и дальше,
чтобы мне навсегда разорваться на их проигравшие черепа

ХОР:

о сестра, растерзанная на два глаза –
из разных взглядов вытекает одинаковая смерть,
и одни и те же вопросы раздирают сестер,
и боль их живее войны и вражды

Р.Д.:

о как мне не разорваться на две смерти,
когда братья мои подрывают друг другу жизнь,

и смерть одного продолжает смерть другого,
чтобы как можно дольше не прекращать
этот поединок, эту братоубийственную войну,

но мое заканчивается дыхание, и свой последний выдох
я больше никогда не отдам враждующим сторонам,
но выдохну в себя и останусь жива в самом сердце –
между трупами родины и политики,
между русским и родным языком,
между альфой и омегой, –
и жизнь моя станет мне братом

ХОР:

да, ты продолжишь
дышать из последнего выдоха –
сама себе родня и родина,
оставила мертвым задышаться в своих мертвецов
и посреди армагеддона в свободу переселилась,
чтобы больше никогда
не сотворить себе власть и войну
и умереть на свободном языке

Монолог Исмены (отрывок из трагедии «Антигона»)

Исмена:

кто вырезал рассвет,
тот по-иному представлял начало.
умывшись тьмой и кровью, было молчание,
свет не отличался от тьмы, рождение от смерти, начало от перечисления

женщины извергали детородные органы,
как манифест утраты материнства,
мужчины вырезали из себя человека и ушли на войну меряться ранами

на этом моменте я умерла от разрыва родного языка,
и снова пытаюсь с тобой объясниться на его останках,
но, как бы я не старалась, ты меня не понимаешь.

нарцисс насилия под ребром власти
одержим каждым своим ударом, каждой войной,
твоя гибель только распалит аппетит новой победы
и мир никогда не отличится от войны

или одеться хочешь в тело террора?
чтоб в глубину ярости твоей он посмотрел и ужаснулся?
война его тебе не по масштабу –
натянуть ее на наряд невесты не хватит смерти

вчера я выкопала отца из его могилы,
чтобы посмотреть, чем он был на самом деле,
какой скелет прятал в теле слепого калеки
я вложила незрячие пальцы в глубину слепоты
в поисках потусторонней опоры,
но, ощупывая отсутствие, завязла в ничто
и, как ни пыталась назначить хоть как-то смысл своим действиям,
мне ничто все сильнее находило на ум
и все потеряло смысл

посмотри на этот камень, что ты видишь?
опору, оружие, надгробие?
как ответит выбирающий жизнь?
во что поверит идущий воевать?
с чем попрощается умирающий?

когда вода/слеза претворяется в кровь?
захочешь утолить жажду и по горло в крови
захочешь оплакать погибших – от крови не отплачешься

что за страх не дает сказать тебе правду?
когда доживаешь за всех, кто не побоялся
проклиная его язык на отлично, как иностранный, ставший родным,
хотя давно уже мыслишь на нем, обсуждаешь последние новости,
а как будет на нем умирать?

сестра, каким огнем полон твой манифест?
каким государством восходит мирное небо?
какую истину проливает его кровь?

пока он убивает всех, кто подает признаки зеркала
и мое отражение доживает смертник

КОРОЛЬ ШМЕЛЕЙ

Рассказ

I

Чёрные островки сугробов притаились на теневой стороне улицы. Холодно, не пришло время насекомых, но когда я уходил с работы, рядом со мной летал шмель. Он прогудел приветствие, я махнул в ответ. Мохнатый и важный представитель рода сделал три оборота вокруг и удалился на бредущем полёте в своё убежище, досыпать до первых цветов. Я понял знак. Главный шмель проснулся и помнит обо мне. Значит, уйдут все невзгоды и болезни. Будет всё хорошо. Король шмелей присматривает за мной.

Спальня тонула в сладкой черёмуховой духоте. Сжимая бледно-зелёную бутылку «Староретской», я жадно глотал солоноватую минералку, тонкий пластик схлопнулся, нарушив ночную тишину. Вода иссякла. Я потянулся за телефоном, открыл заметки, быстро набрал: *«Он думал, что будет счастье. Всегда так случается в первый день лета. Ощущение счастья. Пройдя на кухню, он плеснул в стакан тёплого кипятка и выпил одним глотком. Вода перестала утолять его жажду очень давно. Его жажду не утолить ничем. Он пробовал»*. Я перечитал запись, вздохнул грустно. Вот так всегда – хочешь нечто пронзительное воспроизвести в тексте, а получается банальщина, внутренние напыщенные монологи главного героя из дешёвого нуара.

Нацепив наушники, запустил новый фильм. Выдержал десять минут просмотра и выключил: «либо со мной что-то не так, либо с киноиндустрией». Во всех сферах жизни происходит отрицательный отбор. Неужели режиссеры не могут объективно оценить только что снятый фильм и стереть своё детище сразу на монтажном столе, сколько бы времени для человечества сэкономили. Жалкие сценарии, картонные лица, в одном Майкле Корлеоне из «Крёстного отца» больше харизмы и тёмной силы, чем во всём легионе героев современных криминальных драм. Я вспомнил Фредо, среднего сына Дона Вито: второстепенный вроде персонаж, но прописан тщательно, ранимый и слабый, чужой в хищной стае, он мне нравился больше всех, как же звали замечательного актёра с тонким носом и зачёсанными тёмными волосами. Что-то острое вертелось на языке, ещё чутьчку, и я бы вспомнил, но нет, без интернета не обойтись, неисповедимы сетевые пути. Набрав в поисковой строке «Крёстный отец», я окунулся в океан бесполезных знаний.

Ознакомившись с биографией Джона Казале, исполнителя роли Фредо Корлеоне, направился в центральную Америку, изучил предпосылки революции на Кубе, потом углубился в историю борьбы за независимость испанских колоний, долго шептал имя героического Боливара: «Симон Хосе Антонио де ла Сантисима Тринидад Боливар де ла Консепсьон-и-Понте Паласиос-и-Бланко», скопировал его в записную книжку, так, на всякий случай. Далее кривая любопытства

Владимир Тренин родился в 1977 году. Окончил Карельский государственный педагогический университет и аспирантуру при Институте водных проблем Севера Карельского научного центра РАН. Работал сторожем, ночным продавцом, учителем географии и биологии, занимался поиском месторождений подземных вод в Карелии. Работает в проектной организации. Автор трех книг. Публиковался в журналах «Север», «Дружба народов». Живет в Петрозаводске.

завела меня в Средневековую Европу, и вынырнул я из информационной пучины в четыре утра, изучая династию южно-германских королей Гогенштауфенов.

За открытыми окнами шуршал дождь. Переведя будильник с 6.00 на 6.10, я, вздохнув, сдвинул время ещё на пять минут вперёд, проговорил вполголоса: «Симон Хосе Антонио де ла Сантисима Тринидад Боливар де ла Консепсьон-и...» и заснул.

Сообщили в местных новостях: за сутки выпала месячная норма осадков. Почвенные поры газонов и дворов заполнились влагой, и улицы серого города под низким небом оккупировали дождевые черви. Переступая через длинные розоватые тельца, я старался никого не задеть. Тысячи их на асфальте, холодные обрывки переваренных спагетти, с упрямой настойчивостью покидают траву, падают с поребриков на дорогу, торопят свою смерть, они так похожи на людей, суетятся, ползут в разные стороны по своим якобы очень важным делам. Сколько их много сегодня. Говорят, что с дождями черви расселяются быстрее по поверхности земли, но я-то знаю причину суматохи. Белозубый демон, похититель обручальных колец – Зотик слишком сильно топнул ногой и нарушил равновесие в природе.

2

Маленький мальчик плескался в корыте, играл с крышечкой от мыльницы и удивлённо оглядывался по сторонам. До трёх лет мама мыла меня в женской половине общественной сельской бани, думая, что я ничего не соображаю в половом вопросе. Она ошибалась. Я всё понимал и обладал прекрасной памятью. Некоторые яркие картины отпечатались в глине моего сознания на всю оставшуюся жизнь.

Корабль маневрировал вдоль края мыльного океана. Помню цвет берега: жёлтая эмаль с зелёной каемкой. Женщины всегда брали свои, домашние тазы, брезговали казёнными оцинкованными корытами, которые назывались весьма странно – «шайками». Ведь «шайка» это группа бандитов, разбойников, а вовсе и не таз. Взрослые воспринимают совпадение слов, обозначающих совершенно разные предметы, как должное, я же долго не мог привыкнуть к нестыковкам и искал истоки дефиниций. Откуда взялись названия простых вещей: «хлеб», «стол», «нож»? Почему ружьё называется «ружьём». В четвёртом классе, когда начали изучать французский язык, я обратил внимание на сходства некоторых слов: например, «красный» звучало как «руж». Я подумал, что если предмет может окрасить кровавым, красным, то существительное «ружьё», возможно, и есть производное от иностранного слова «руж». Мне показалось логичным объяснение. Рассказал об этом открытии отцу, он улыбнулся и спросил:

– Скажи, а «зелёный» по-французски как звучит?

– Зелёный значит «вер», – ответил я.

– Вот верба зелёная же за окном, вполне вероятно, от этого слова и получила название, и слово вера, такое хорошее, зелёное, работает схема, значит, русский словарь вырос из французского! – засмеялся папа. – Что-то в этом есть первобытное. Можно развить твою интуитивную догадку не только для объяснения природы слов, но и сложных явлений, которые на самом деле очень простые. Смотри:

– Солнце ярко светит, потому что кошка жмурится, ветер, начинается от крутящихся лопастей мельниц, летящих воздушных змеев и пушинок одуванчиков, а осень приходит из-за того, что вербы, осины и берёзы начинают желтеть.

– Нет, пап, осень начинается, потому что грустно и надо уезжать из деревни в город, и школа опять же... – я насупил, догадавшись, что папа шутит и моя теория по происхождению слов ошибочна.

– Не обижайся, ты молодец, кто ищет, тот найдёт. Кстати, может, ты и прав насчёт осени, – заметил он серьёзно. – «Потому что грустно».

Кругосветное путешествие пластмассового красного фрегата закончилось внезапно, обвалилась высокая скала и преградила путь: провисшие сморщенные груди с большими увядшими розами сосков упали на мой корабль. Почувствовав запах дыма, ромашки, еловой хвои и чего-то ещё таинственного и пряного, я поднял глаза и с трудом узнал в голой высокой старухе с распушенными до пояса мокрыми седыми волосами бабушкину подругу – тётку Лизавету. Она поздоровалась с мамой, наклонилась, чмокнула меня в макушку и потрепала по щеке.

– Экий бутуз растёт, глазонки болотные внимательные, заты-я-гивают, а щёки, посмотрите-ко на кота-боярина, такими щёчками знатными только бы медок хлебать!

Затаив дыхание, я стерпел сомнительные комплименты, хотя искреннее возмущение переполняло меня. Никто не спрашивает у ребёнка, хочет ли он таких нежностей.

Нельзя маленьких мальчиков водить в женское отделение. Почему взрослые не понимают, что дети видят даже то, что не под силу узреть и старым. Малыши обладают свежим даром познания и прекрасной памятью. Даже у младенцев, скажу я вам, самые мощные, особенно яркие впечатления накапливаются в чулане подсознания, холодной смолой опасного груза. Через годы, при случае: эмоциональной перегрузке и накалённом градусе внешней среды, эти чуть тлеющие виртуальные кирпичики могут внезапно материализоваться в такой могучий всплеск, от которого запросто рухнут хрупкие рамки личности.

Я смотрел на дряблые морщинистые ягодицы, рыхлые животы, покрытые архипелагами пигментных пятен, кривые ноги с лабиринтами выпуклых вен, горбатые спины старух, изломанные тяжёлым трудом, но вдруг выплывала из клубов пара, как Аврора из облаков на картине Пьера-Нарсиса Герена, грациозная молодая девушка с розовыми сосками и корытом, прижатым к бедру. Она улыбалась мне, и я, открыв рот, наблюдал, как золотое мочало взбивает мыльное облако на атласной распаренной коже богини, и спускаются вниз отлипшие берёзовые листочки.

Потом я вырос и уже мылся самостоятельно. На входе в баню кидал на блюдце кассы тридцать копеек, стоимость двух билетов, на меня и двоюродного брата Семёна. Сразу за дверью мужской половины нас встречала блестящая величественная пирамида из эмалированных шаек, похожая на модель шумерского зиккурата. Мы старались приходить ближе к вечеру, когда поменьше народу. За полчаса перед закрытием оставались одни в большом гулком зале с деревянными рядами широких скамеек. Через большие окна, заложённые рельефной полупрозрачной стеклянной плиткой, пробивался розовый вечерний свет.

Дурачась, обливая друг друга ледяной водой из шаек, мы забегали в парилку, хлестались вениками до одурения, пока нас не выгоняла сердитая уборщица. Она без церемоний заходила в мужской зал, не обращая внимания на детские крики. Мы возмущались, закрывали вениками и ковшиками причинные места, слегка заросшие кудрявым золотистым волосом, оберегали наши тайны от постороннего женского взгляда.

– Можете не прятать свои стручки, не бойтесь, не ослепну, – ворчала тётка. Она витиевато ругалась, чистила загаженные лежаки. Слабые организмы больных стариков иногда не выдерживали тепловых нагрузок парной, расслаблялись и опорожнялись прямо под себя, на полки, даже не пытаясь добежать до уборной, всякое случалось. Помню, как открыв рты замороженно наблюдали за жизнерадостным безруким ветераном. Он словно тираннозавр махал культяпками, словно обрубками варёной колбасы с завязками на кончиках. Такие куски никто не хочет брать в магазинах, и они засыхают на прилавках.

Калека улыбался. Его товарищ с радостным остервенением хлестал безрукое тело веником, увечный довольно кряхтел, отпускал шутки и подмигивал нам. Вот это были люди! Жизнь в них кипела, и слухом не слыхивали они о депрессиях и кризисах среднего возраста.

Крепкие, распаренные дядьки курили в раздевалке после мытья, немного выпивали, натягивали белые майки на исковерканные войной тела. Застёгивали большими корявыми пальцами

маленькие пуговицы чистых сорочек. Сверкая фиксами, рассказывали смешные истории, расходились по домам, где их ждали жёны, горячий ужин и холодная чекушка.

В конце лета в баню явился настоящий леший. Высокий, неопределённого возраста человек, заросший, лохматый, с длинной бородой от прозрачных глаз, свальной с сеном и мхом в бурый войлочный клин. Он переступил порог раздевалки, опираясь на узловатую палку из соснового корня, оглядел все присутствующих, гаркнул неожиданно молодым и мощным голосом:

– Здравия желаю, орлы! С лёгким паром!

– Здравова, Ефимка! Никак сполоснуться собрался? В этой пятилетке мы тебя не видали. Коровы, небось уже разбегаются, канечна, от такого вахотного, волоса-то вилами не расчесать, вона на два пальца землёй покрылся, – зубоскалили мужики.

Ефим не обиделся, широко улыбаясь, сбросил свои полевые, пропахшие сеном и навозом одежды, оголяя белую спину. Традиционная линия крестьянского загара ограничивалась лицом, шеей и кистями рук. Клацая по плитке длинными желтыми ногтями на чёрных и похоже взаправду не мытых много недель ногах, он ухватил загоревшей клешней три шайки сразу. Один таз он кинул себе под ноги, во второй налил себе кипятку, а в третий – ледяной воды. Зайдя в парилку, сделал вид, что замерзает:

– Холодрыга! После такого пара тока сопли на кулак мотать.

Он вскарабкался на самый верхний полоч и скомандовал: – Ну-ка, робя, кто там поближе к амбразуре, поддай-ка жару, а то зуб на зуб не попадает.

Зашипели камни, и перехватило дух. Мы с Сёмой жались поближе к двери и дышали через щёлочку.

– Имей совесть, Ефимка, в аду холоднее, – роптали люди. Наклонившись и втянув головы, они спускались ниже. Некоторые не выдерживали нагрузки и убегали из парной.

– Ещё давай, – не унимался Ефим. Он, казалось, вообще не чувствовал температуры, расправив плечи, впитывая тепло каждой порой тела.

Смывший грязь и причёсанный Ефим походил на Иисуса Христа. Облачаясь обратно в своё полевое рубище, он смеялся над шутками окружающих, но взгляд его небесно-голубых глаз был отстранён и печален.

Необычный посетитель работал деревенским пастухом. Домом для дяди Ефима служил лес с полем, ночевал он в землянке за селом, с рассветом выходил на главную дорогу, играл в рожок. Хозяйки выпускали коров со двора, с закатом он возвращался, и уставшие сытые бурёнки расходились по домам.

Ефима любили и уважали, хотя и посмеивались над его непутёвостью. Я очень удивился, когда увидел однажды вечером, как дедушка здоровался с пастухом за руку и рассказывал ему последние мировые новости:

– На Ближнем Востоке как всегда горячо, арабы в Бушере атомную станцию бомбят. Персам «битва за болота» дорого обошлась, силы копят. В Турции «Рабочая партия Курдистана» бунт устроила, надолго теперь война, зря турки курдов зажимали, всё-таки их десятки миллионов, а своего угла нет. ...Верхняя Вольта, кстати, название сменила, теперь Буркина Фасо кличут – в переводе «страна честных людей», во как! Тамилы на Целойне бузят. ... В Афгане без изменений, наши застряли крепко, заманили англосаксы в ловушку, так просто не выкарабкаться.

Ефим понимающе кивал. Я никак не мог взять в толк, ладно дед, самый начитанный человек на селе, а откуда разбираться в тонкостях международной политики живущему в лесу, погоняющему скот бродяге?

С годами, проживая свой путь, пробуя и ошибаясь, я самостоятельно пришёл к пониманию простой истины, которая стала забываться в последнее время: рано делать вывод о человеке по его внешнему виду. «Серьёзное лицо – не признак ума», – говорил наш барон Мюнхгаузен, так и элегантный внешний вид – не показатель разумного и хорошего человека. Причесанные чистенькие хлыщи, попадавшие мне по жизни, в отполированных туфлях, при костюмах и галстуках,

нарциссично разглядывающие своё отражение в любой зеркальной поверхности, будь то стёкла машин, витрины или лужи, оказывались очень часто подлецами.

3

Дед не ходил в баню по неизвестной мне причине, которую я выяснил позже. Бабушка грела воду, вытаскивала большую ванну, висящую в сених. Он выгонял всех из комнаты, закрывался и мылся самостоятельно. Уже постарше, я как-то забежал в дом и застал его, переодевающегося рубашку, он стоял спиной ко мне, обнажённый по пояс, кожа напоминала мятую обёрточную бумагу, словно сморщенная кора дерева, порванная, сожженная, покрытая безволосыми глянцевыми шрамами и зарубками. Я испугался и незаметно вышел. Вечером я спросил у бабушки, что случилось с дедом, и она рассказала, что он воевал командиром танка, горел неоднократно, последний раз в Вене, тогда он единственный выбрался из пылающей машины. Вскоре дед уйдёт навсегда, и наконец встретится со своим вечно молодым экипажем.

В ту же знаменательную субботу дедушка в клетчатой рубашке, довольный и немного выпивший, смотрел футбол по телевизору и размешивал сахар, звонко постукивая о краешек тонкого стакана в тёмном тяжёлом подстаканнике с изображением первого советского спутника.

Я сидел на крыльце после бани, чистый и румяный, рядом миска с только что собранной клубникой и блюдце с мёдом. Мама с бабушкой поливали грядки, а я выбирал самую красивую блестящую ароматную ягоду, отрывал зелёный хвостик и макал алый конус в мёд, потом широко открывал рот и укладывал клубничину целиком. Бабка Лизавета, была права, щеками меня Бог не обделил, даже самая большая ягода заходила с запасом и сладкой судорогой разливалась по телу. Не знаю, кушал ли я такую вкуснотищу когда-нибудь ещё в жизни, наверное, нет. Сейчас я не ем клубнику, сейчас я мало что люблю.

Вот так, наслаждаясь ягодами и наблюдая за кораблями, я радовался жизни. Пароходов было много, они медленно двигались по Волго-Балтийскому каналу. Воды не было видно, только верх бортов и белые рубки сухогрузов, казалось корабли шли между копен сохнувшей, недавно скошенной травы, прямо по золотисто-изумрудному, колючему после сенокоса лугу, мой взгляд перешёл на поленницу у дороги, калитку и споткнулся об яркое пятно, нечто непонятное лежало у стены под окном. Оторвавшись от клубники, я спустился и обнаружил под завалинкой шмеля. Аккуратно положил его на ладонку и внимательно рассмотрел. Это был огромный красивый шмель, я не встречал таких особей раньше. Жёлтые, чёрные и оранжевые полосы, высокий блестящий ворс, это точно был не простой, а самый что ни на есть благородный шмель, я ткнул пальцем в полосатое брюшко. Мохнатое тельце пошевелилось.

Наверное, шмель врзался в открытое окно и упал оглушенный, а может, просто летел издалека и обессилел.

Аккуратно взяв, подул, взъерошив золотистые волоски на брюшке, положил его рядом, подвинул ему блюдечко, казалось, шмель двинулся, я легонько тронул его, чуточку двинув ближе к еде.

Шмель вздрогнул, почувствовав живительную сладкую энергию, зашевелил передними лапками и окунул хоботок глубже. На глазах он набирался сил, оживился, запустил моторчик крыльев. Спустя некоторое время, он совсем окреп и перелетел мне на колено. Почувствовав кожей его касание, подвинул ему ладонку, липкую от мёда и клубники. Он прыгнул на руку, повернулся и посмотрел на меня снизу вверх, словно запоминая спасителя. Потом кивнул, так мне показалось, я сказал «здравствуйте», именно на вы, это был очень представительный, солидный шмель, как-то неловко было тыкать благородному созданию.

Я поднял руку, как обычно делал, когда находил и отпускал в полет божью коровку.

– Лети на небо, уважаемый Шмель, к себе домой, там наверно вас заждались.

Шмель ещё раз кивнул мне, прыгнул с ладони, провалился немного в воздухе, но набрал высоту и полетел, громко прогудев напоследок.

– Бабушка, мама! Я только что спас шмеля, накормил его мёдом, он ожил и полетел, представляете? – крикнул я, подбегая к парнику. – А ещё он кивнул, поздоровался со мной. Наверное, это был не обычный шмель, он такой большой и красивый, это их главный предводитель – король шмелей!

– Фантазер, ты Коленька, – улыбалась мама и потрепала меня за пухлую щёку.

4

После смерти деда любимый его кот Маркиз ушёл и больше не появлялся. Говорят, его видели на леспромхозовской стороне у старой плотины, он воровал подлещиков у рыбаков, дразнил дворовых цепных барбосов, от души терроризировал округу. Котей отличался суровым характером, детей не замечал, бабушка играла роль промежуточного звена между холодильником и его миской с едой. Маркиз не хотел возвращаться в дом без деда, и бабушка взяла котёнка. Маленького серого пушистика с белыми лапками. Общим собранием в составе меня, брата и старшей сестры Аси зверя назвали Пушок, или просто Пух.

Непоседа Пух оказался неуправляемым, забирался на занавески и шкафы, кидался под ноги входящим в дом гостям, норовил ускользнуть на улицу. Однажды вечером сестра случайно защемила его тяжёлой входной дверью. Котик хотел проскочить, а она не посмотрела под ноги. Мы втроём рыдали, склонившись над маленьким пушистым тельцем. Поломанный котёнок всю ночь жалобно кричал. Мы положили ему самой вкусной еды, налили парного молока в блюдечко. Несчастный не притронулся к пище, извивался по полу, скуля от боли. Вечером бабушка сходила к подруге Лизавете, той самой старухе из бани. Та забрала Пуха с собой, сказала, вылечит к утру. Мы не спали всю ночь.

Лизавета сдержала слово, с первыми лучами солнца в кухню ворвался целёхонкий и весёлый котёнок, наш Пушок. Выпил вчерашнее молоко и полетел играть по своим любимым углам и коврам, мимо нас, поражённых столь внезапной переменой.

Бабушка всплеснула руками:

– Матушка, берегиня ты наша, как тебя отблагодарить, все нервы вымотали с котейкой покалеченным, я думала не жилец.

Лизавета, прищурившись, внимательно посмотрела на меня, так что похолодело внутри, и ничего не сказала.

Я подумал, что это другой, не наш Пух, детей попросту обманули, подменив котёнка. Взял его на руки и внимательно рассмотрел. Серый, глазастый, белые чулочки на лапках. Мне показалось странным, что у кота появилась светлая дорожка между ушками, на что Лизавета ответила загадочно:

– Ночью приходил дух лесной и погладил его, как раз по головке, вот след и остался.

Пух вырос, исправно ловил мышей и кротов, складывал их рядком на крыльце и гордо садился у добычи.

Из маленького шаловливого комочка получился умный котей, иногда Пух позволял себя почесать между ушками по светло-серой дорожке, проложенной лесным духом.

В следующее лето Пушок спас нам с братом жизнь.

В первое воскресенье августа, поздно вечером кто-то постучался. Бабушка открыла дверь. На крыльце стоял молодой мужчина в пиджаке с чемоданом.

– Извините, – сказал он. – Я опоздал на метеор в Череповец, можно до утра перекачаться.

– Проходите, – бабушка впустила незнакомца.

Наш дом находился недалеко от пристани, и он, заметив свет в окнах, решил попроситься на ночлег. Сейчас покажется странной и небезопасной идея запустить чужого человека на ночлег, но в северных русских деревнях ничего необычного в этом не было. Людям доверяли.

Бабушка постелила гостю в большой комнате на диване. Наша с братом спальня была смежной и отделена от гостиной белой двухстворчатой дверью без замка или шпингалета.

Я сходил в туалет и на всякий случай прихватил топорик, завернув его в мешковину. Незаметно пронёс свёрток мимо постояльца. Тот включил ночник и что-то искал в своём чемодане, не обращая на меня внимания. Проходя, я почувствовал запах жжёной резины, мне показалось, его плечи неумовимо дёрнулись, словно сведённые судорогой, он вдруг повернул голову юрким нечеловеческим движением, зыркнул чёрными глазами и мигнул...

Кишки мои похолодели и сжались. Я проскользнул в спальню и придвинул кресло к двери.

– Сёмка, он мигает ненормально.

– В смысле?

Я свёл и развёл ладони: – Вот так, все мигают горизонтально, а он вертикально мигнул, как створки лифта сходятся, клянусь...

Сёма поднялся с кровати и на носочках прошёл к тумбочке, где покойный дед хранил инструменты, выбрал самый большой молоток и положил в постель.

Мы долго не могли уснуть, переговаривались вполголоса, слышали, как беспечно захрапела бабуля в комнате за кухней.

– Ей хорошо, там засов есть на двери, – шепнул я.

Постоялец не спал, шоркался, шелестел пакетами.

– Ножик наверняка разворачивает, падла, – брат засунул руку под подушку, нащупывая ручку молотка.

Моя ладонь на топорике взмокла.

– Что это? Слышишь! – Сёма приставил указательный палец ко рту, испуганно выпучив глаза.

Мы замерли. Кто-то царапался в окошко. Это был Пушок.

– Господи, Пух, как ты нас напугал, – я щёлкнул шпингалетом, запустил кота.

– Ни в коем случае нельзя засыпать. Будем дежурить по два часа, – сказал я.

Кинули на морского, сторожить первому выпала очередь Сёме. Пушок лёг рядом со мной, успокаивающе замурчал.

Открыв глаза, я почувствовал укус в руку. Пух пристально смотрел на меня, увидев, что хозяин проснулся, он мякнул, выгнулся дугой и прыгнул на пол, застыл у двери в боевой стойке, подняв хвост и оскалив пасть. Сёмка, конечно, дрых на посту. Я толкнул брата и подкрался к двери.

– Вы-ыр кто? – послышался шёпот из гостиной, совсем рядом, как будто источник звука находился в нескольких сантиметрах от моего уха.

– Вы-р кто... явы-ыр...

– Ты слышишь, то же что и я? – я повернулся к зевающему брату.

Мы замерли, стараясь уловить странные слова.

– Явы-ы-р-кто, уш-ш-ш-у-ку... ей-шорохикчесть иикшу, – прошипел страшный голос за дверью. От зловещего звука меня отделяла тонкая дверная доска.

Клянусь, я это слышал, и Сёмка тоже!

Брата заколотило мощным тремором, я, наоборот, онемел от ужаса, сжал топорик. Через секунду мы, отшвырнув стул, выскочили с криком в гостиную, я поднял над головой топор, сразу решив вмазать злодея по макушке резким ударом дровосека.

Мужчина испуганно смотрел на нас, он сидел на диване, читал книжку у включённого ночника и жевал пирожок. Похоже, вечером в чемодане он рылся в поисках съестного.

На грохот и ор выбежала бабушка, простоволосая и в ночной сорочке.

– Быстро спать... Охламоны! Господи, за что мне такое наказание! Скорее бы уже вас мамки в город забрали. Человека чуть до инфаркта не довели.

Утром она напекла в дорогу для незнакомца калиток. Гость помылся в уличном рукомойнике, почистил зубы, долго расчесывался, прилизывался, насвистывая весёлый мотив, в утреннем свете хорошо различалась перхоть на корнях чёрных волос, густо усыпавшая широкий белый пробор.

Сухощавый высокий брюнет с брезгливым выражением лица. Комсомольский значок на пиджаке. Он был молод, лет двадцати пяти, наверное, чем-то болел, судя по бугристой серовато-жёлтой коже и тёмным кругам под глазами. Меня, наблюдающего за гостем, не покидало неприятное ощущение, словно я трогаю рукой осклизлую гниющую поганку.

Он пил чай, опустив глаза. Мы с братом внимательно следили за его лицом, стараясь поймать момент его моргания, но никак не получалось, он всё время отворачивался, односложно отвечал на бабушкины вопросы и делал вид, что ночью ничего не произошло. Посмотрел на часы, отодвинул стул, поднялся и достал из кармана бумажник:

– Спасибо за гостеприимство, сколько я вам должен?

– Бог с тобой, ничего не надо, – бабушка замахала руками.

Гость всё равно открыл кошель, достал пять рублей и положил на стол.

– Отступись батюшка, не обижай, чай по одной земле ходим, может, моим внукам тоже люди помогут, – она взяла синюю бумажку и сунула ему в карман пиджака.

Мы дождались, когда подозрительный гость выйдет за калитку, перемахнули через ограду и выдвинулись к пристани коротким путём по лугу. Хотелось удостовериться, что этот человек точно уедет из посёлка. Нас не оставляли жуткие воспоминания о зловещем шорохе за дверью. Мы пришли раньше и спрятались за ящиками с помидорами, оставленными после ночной разгрузки астраханской баржи. С наблюдательного пункта хорошо был виден бетонный пирс. Суетились речники, подготавливая трап для показавшегося из-за поворота канала метеора. Неприятный брюнет не опоздал, купил газету в ларьке «Союзпечати» и сразу прошёл на борт, в последний момент оглянувшись в нашу сторону, как будто знал, что за ним следят.

Долго не успокаивалась вода в канале оттенка кофе с молоком. Я и Сёма наблюдали, как белая корма метеора сообщением Вытегра – Череповец растворилась в утренней дымке.

– Может, нам послышалось? Ничего он не шептал и не хотел нам плохого сделать? – предположил Сёма по дороге домой.

– Обоим, одно и то же? Так не бывает, – сказал я, сам задумался, вспомнил страшное шипение.

Я забежал вперёд повернулся к брату и посмотрел в глаза: – Постарайся повторить, что он говорил.

– «Вы кто»... или «выр кто»... «явыркто», дальше что-то про «ушуку», – невнятное совсем.

– Смотри Сёма, – меня осенило.

Я взял в руку обломок известняка и нацарапал по жирной серой пыли на обочине дороги большими прописными буквами: УШУКУ.

– Читай, ничего не напоминает?

– Ушуку, – Сёма пожал плечами.

– А теперь, наоборот, с конца.

Брат, нахмурившись, шевелил губами:

– Укушу! – Колька, ты гений! Укушу! Укусить он нас собрался, сволочь! ... Да, да именно это он и шептал и ещё шуршал, ты помнишь.

Я продолжил запись: УШУКУ ШОРОХИКЧЕЩ ИИКШУ. Подумал и дописал: ЯВЫРКТО. Выпрямился, отбросил камень и прочитал по слогам:

– От-кры-вя уш-ки и щеч-ки хор-ош укушу.

– «Открывая», значит открывай, ушки и щёчки хорошие наши укусить ему захотелось, – Сёма развеселился от простой разгадки. – Да этот шутник Череповецкий посмеялся над нами. Щёки, ушки, напугать решил, нас таким не напугаешь.

- Скажи Сёмка, правда, у меня такие большие щёки? В школе меня девчонки называют бублик с маком, потому что я вот такой, луноликий и в веснушках.
- Колямба, хорош, вон ты какой умный.
- Блин, причём тут это, – я чувствовал, как брат уходит от вопроса. – Значит, права была бабка Лизавета. Ещё тогда, в бане.
- Обычные щёки, главное ты же не жиртрест?
- Нет, – я напряг пресс. – Смотри, можешь кубики пересчитать.
- Вот, я и говорю, не жиртрест.

В этот день бабушка дала задание: выбить паласы и ковры. Долго заставлять нас не надо, мы любили это дело. Использовали палки, заготовки для лопатных черенков. Обычно, избивая любимую бабушкину дорожку, мы вспоминали соседа, вздорного старика, скандалящего по пустякам: подумашь, улетел мяч на огород. Рodeo на его любимой свинье тоже не повод для истерик.

Сегодня мы выбивали пыль, вспоминая неприятного ночного посетителя.

- Может, он действительно колдун, а, Сёма?
- Шипел, гад, хотел нас вкус попробовать. Двинул бы топориком в пробор, – я рубанул по среднеазиатскому орнаменту в бордовых тонах. – Вот я бы ему по плешке – трах... гаду такому!
- Сволота, не на тех напал, кровушки хотел нашей. Упырь шепелявый! – Сёмка колотил по паласу, сильнее чем Красная армия бил немца под Сталинградом.
- Эй, школьники, полегче, порвёте дорожку, между прочим, Сёма, я её тебе в наследство завещаю, – кричала бабушка с крыльца.

Всё тщетно, нас было не остановить, мы вошли в раж и бились решительно с пыльной нечистью, не на жизнь, а на смерть.

5

Через дорогу от бабушкиного дома выросло кряжистое двухэтажное здание, сложенное из огромных брёвен.

В нём размещалась пожарная часть и работали самые лучшие люди на свете. Они любили нас с братом, как своих детей. Пожарные мастерили нам кораблики, катали на мотоциклах, давали полазить по большим красным машинам и даже брали с собой на плановые заправки цистерн водой.

Среди добрых людей выделялся загадочный персонаж по имени Зотик. Бородатый, крупный чернявый мужчина, похожий на цыгана Будулая, героя известного в то время фильма. Он единственный из всех не проявлял к нам никакого внимания, просто не замечал.

Бабушка Зотика не любила. Однажды у неё пропало обручальное кольцо, золотое, широкое и тяжёлое. Она почему то знала, кто это сделал.

– Зотик украл, бес, демон чёрный, – заключила бабушка после недолгих поисков и погрозила кулаком в сторону пожарной части.

Когда пришло время дежурства Зотика, бабушка подошла к нему, курившему у входа, и предъявила обвинение в краже кольца.

Пожарный задумчиво посмотрел в небо, потом на неё и, прищурившись, спросил: – А под кроватью смотрела?

Странно, но кольцо мы действительно нашли потом под кроватью в бабушкиной спальне, чего Зотик точно не мог знать. Он никогда не заходил даже к нам во двор, не то что в дом.

Бабушка крутила кольцо на пальце и смотрела в окно:

– Он взял, а потом подкинул. Ох и хитрый, демон белозубый. Определённо, бабушка что-то знала про него. Зотика она всё равно называла «Вором» и «Бесом», вот такая вытегорская «презумпция невиновности».

Как-то вечером перед рыбалкой мы искали червей. Поднимали чурки и доски, перекинутые через высохшие лужи, обнажали чёрные пролежни в земле, с белыми стеблями и корнями, вытаскивали розовых жирных червей. План был набрать две сотни, рыбалка планировалась мощная.

Как назло сушь стояла страшная, черви ушли вглубь. Наскребли от силы три десятка.

На крыльцо пожарной части вышел Зотик, он долго курил, наблюдая за нашими потугами.

Выкинул окуроч в ведро, обернулся вокруг, каким-то неуловимым быстрым движением, неожиданным для грузного тела, переместился через полста метров ближе к нам, топнул ногой, отпрыгнул и плюнул в след от ботинка. Топнул ещё раз, и показалось, что земля дрогнула и предзакатное безоблачное небо потемнело. Мы смотрели с братом, открыв рты и с консервными банками в руках. Зотик, посмеиваясь, засунув руки в карманы, удалился в дежурку.

– Во даёт, может, и правду о нем бабушка говорит, – Сёма первым отошёл от удивления.

– Смотри, Колька, – брат показал на обочину, где мы только что откатали гнилую дровину.

Земля вытаскивала мясистые тельца. Они вились кольцами и ползли с обочины на дорогу – великое множество толстых дождевых червяков, словно охваченные безумием, сплетались в клубки в едином странном танце. Я посмотрел в сторону пожарки, Зотик сверкал улыбкой в открытое окно.

– Бес он, точно колдун.

Мы выкинули свою старую вялую добычу в траву и начали набирать новых червей.

Ночью хлестнуло рябиновыми ветками по окнам. Грянул гром. Мне снилось, что ночной гость, уехавший на метеоре в Череповец, вернулся, он забрался во двор, вот сейчас шипит и заползает в открытое окно, я вижу его длинные пальцы, расширяющиеся в суставах, и широкие фаланги с пластинами ногтей, словно лапы с присосками, как у геккона. Он хватается за подоконник, и его вытянутое тело в пиджаке сползает на пол, ноги неестественно выворачиваются, я вижу его стёртые подметки на ботинках.

– ... лешприа иктуш-ш иламуд... уш-шу-к... – шипел он с пола, роняя ядовито-зелёную слюну с длинного раздвоенного языка, руки и ноги были скручены в суставах в обратную сторону, тело его извивалось как у ящерицы.

Я в ужасе застыл в кровати, ничего не мог сделать.

Воздух в комнате густел, из вязкого облака материализовался Зотик. Он схватил шипящего брюнета за ногу, раскрутил над головой сильно-сильно и зашвырнул за горизонт через растаявшую бревенчатую стену.

– Привет тебе от короля шмелей! – спаситель белозубо улыбнулся и исчез так же внезапно, как и появился.

На следующее утро мы пошли на рыбалку. Рассказал брату сон.

– Спас тебя Зотик, значит он на нашей стороне, – сделал вывод Семён.

У плотины никого не было. Водяная пыль застилала глаза. Мы закинули снасти и замерли в ожидании.

Надо же, такие хорошие черви, а рыба не клевала. Небо затянуло ещё сильнее, капли набухали, и грибной дождик превращался в обложной бесконечный ливень.

– Ох уж этот Зотик, перестарался, накликал непогоду, пойду-ка я за мост схожу, – Сёма решил попытать удачу на другом берегу.

Воткнув удилище, я спрятался под старую липу недалеко от воды. Надежда на улов пропала. Стоя на берегу реки, слушал шелест капель в листе, рассматривал ствол дерева. Он наполовину сырой, слева кора с лишайником, насыщенным водой, капли цвета раствора фурацилина сползали с мохнатых трещин. Рядом сухая половина ствола, лишайник белый. Промокшая часть яркая, насыщенно-зелёная, по ней полз дождевой червь, он удрал из банки с наживкой, забрался очень

высоко, уже на уровне глаз, зачем он лезет туда. Оторвался от земли, и он высохнет, умрёт, когда дождь закончится. Я сыграл в вершителя судеб, взял извивающееся тельце и положил на землю. Вытряхнул из банки в траву остальных червей и решил сворачивать удочку.

6

Я переезжал на велосипеде понтонный мост, очень аккуратно, чтобы не разбить пятилитровую банку с молоком. Слякка находилась в авоське, нацепленной на руль старой чёрной «Камы». Ласточки-береговушки разрезали небо стремительными штрихами. На предплечье спикировал птичий помет, я мотнул рулём от неожиданности, тяжёлая ноша бзыкнула, ударилась об раму. Внутри похолодело, я выдохнул:

– На счастье...

Съехав с моста по металлическому скату, соблюдая все предосторожности, я набрал скорость и на повороте в родной Пожарный переулок увидел знакомую девушку, вернее уже молодую женщину, ту самую, из бани.

Последние месяцы она являлась во снах: с тазом на изогнутом бедре, в облаке пара, потом улыбалась и медленно мылила мочалку. Неведомая доселе, загадочная, приятная тяжесть накрывала меня.

И вот, она здесь, идёт, разговаривает с подругой, не обращая внимания на мимо проезжающего подростка. Проскочив мимо на расстоянии вытянутой руки, я бросил взгляд за плечо, потерял управление, врезался в камень у обочины и, перелетев через руль, свалился на дорогу, порвав штаны, рассадил колено и содрал кожу на правом плече до мяса. Не обращая внимания на боль и покалеченный велосипед, я смотрел ей вслед. С леспромхозовской стороны поднимался лесовоз, здоровенный шумный «Урал». Её фигура в лёгком жёлтом платье растворилась в клубах белой пыли из-под огромных колёс, а может, это была не она?

Только сейчас я обратил внимание, что банка разлетелась вдребезги, молочная клякса белым спрутом расплзалась по дорожной спрессованной супеси. Капли горячей мальчишеской крови падали в жирное молоко: в тот день я принёс своё первую жертву Богу любви.

Позже я встретил её в книжном магазине, она работала продавщицей. От неожиданности потерял дар речи и выскочил на улицу как ошпаренный. На следующий день, причёсанный в чистой футболке, с тремя рублями в кармане, собрав волю в кулак и еле сдерживая сердцебиение, заглянул в торговый зал.

– Здравствуйте, – сказал срывающимся голосом, переступив через порог.

Она, не обращая на меня внимания, читала сидя за прилавком. Я ходил вдоль полок, рассматривал книги. Названия расплывались, от волнения не мог разобрать слова. Выбрав наугад тоненький томик в твёрдом переплёте, положил перед ней.

«Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли, не рано тебе такие книги читать?

– Мне в сентябре тринадцать лет исполняется.

– Хорошо, читай на здоровье, – улыбнулась она и протянула сдачу.

Поход в книжный магазин превратился в ежедневный ритуал, дождь не был помехой. Да что там, если бы магазин находился в десятке километров от дома, я бы и пешком бегал, чтобы увидеть дрожащую венку под коленями у моей прекрасной продавщицы. Иногда просил снять книжку с верхней полки, и девушка забиралась на маленькую скамеечку, нарочно отворачивалась, немного задерживалась в таком положении, я млел, пожирал взглядом золотистую кожу сантиметр за сантиметром, и думать боялся о тайне, скрытой выше, там, за краем ткани. Она понимала, чего желал настойчивый посетитель, с каждым разом платья становились всё короче.

Раскручивая педали, я летел по белой дороге, и хотелось сделать что-то такое особенное, сказочное чувство зрело во мне. Когда она вставала на носочки, я невольно сглатывал слюну. В глазах темнело, в ушах играла сладкая музыка, взрывалась хлопушка внизу живота, жаждал продлить это миг ещё и ещё.

Всё закончилось, когда я увидел мою продавщицу у сельмага на леспромхозовской стороне, она, весёлая, игриво смеясь, усаживалась, придерживая юбку, задорно перекидывала загорелые ноги через порог белого «Москвича». Дверь закрыл и сел на водительское место приезжий неприятный тип, он тоже улыбался, но так мерзко, и сил не оставалось сдерживаться, чтобы не плюнуть в его красную широкую физиономию.

В книжной лавке я больше не появлялся, злорадно представляя, как продавщица ждёт меня, страдает, выходит на крыльцо и смотрит вдаль, прикрыв ладошкой глаза от солнца.

Я так и не узнал её имени.

7

Мне семнадцать лет, от моего голоса в бабушкином серванте звенела посуда, днём вокруг меня летали шмели, на плечи гадили ласточки, а ночью мне всё так же снилась фемина из бани и ещё много других девушек.

Книжный магазин закрылся, а мою продавщицу, наверное, увёз красномордый ухажер в город Череповец.

Утром я бегал до озера на окраине села и переплывал его. Обычно не задерживался на другой стороне, разворачивался метрах в тридцати и возвращался обратно, но в этот день я решил изучить берег подробнее.

Почувствовав под ногами дно, попытался встать и провалился в холодный ил по колено. Пришлось подплыть до самого уреза воды. Высоченные мощные стволы и кроны закрыли небо, но мрачный ельник не пугал, а звал меня, корба тянула мохнатые тёмно-зелёные лапы. Я вылез на колышущийся неустойчивый моховой ковёр. Прошёл вглубь леса. Мне показалась, впереди мелькнула светлая тень, женская фигура, я побежал, но потерял силуэт из виду. Деревья сомкнулись за мной. Кто-то высоко, в развалистых мутовках кривых ветвей, засмеялся, и от этого звонкого перелива стало вдруг жутко. Шорох и тихое шипенье заполнило пространство вокруг. Маленькие растения кислицы и кустики черники обвили ноги, стебельки поднимались по щиколоткам, и перезревшие ягоды лопались, оставляя на коже фиолетовые кляксы. Из-за тёмно-бурого, почти чёрного огромного елового ствола появилась она. Высокая и большеглазая. Хищная неровная рана красного рта, спутанные рыжие длинные волосы, едва прикрывающие высокую грудь с большими алыми контурами сосков.

– Здравствуй, не меня ищешь?

Я не нашёлся, что ответить, смотрел как телёнок в её смеющиеся глаза. Попытался сдвинуться, но растения обвили уже выше колена и крепко держали меня.

Она оказалась близко, очень близко, так, что я почувствовал запах ромашки и хвои от волос, и ещё чего-то таинственного, откуда-то мне знакомого, из самых дальних уголков памяти.

– Этот твой взгляд, совсем не изменился, – она провела рукой по моему лицу, убрав волосы со лба, слегка ущипнула за щёку и улыбнулась.

– Не бойся, всё хорошо, не обижу.

Она увлекла меня за собой, и почти ничего я больше не помню, только серые её глаза, сладкий шёпот в ушах, от которого кружилась голова, разбегались тёплые волны по телу и перехватывало дыхание.

В открытое окно ворвался шмель и отвлёк меня от почти законченного рассказа. Он исследовал кабинет, приземлился на край монитора. Сходяв на кухню, налил в блюдце меда, подвинул гостю.

– Передавай своему главному привет! – я погладил шмеля по спинке.

Посланец короля, отобедав, поднялся на крыло, бесцеремонно коснулся мохнатым тельцем кончика моего носа, прочертил в воздухе знак бесконечности и вылетел в окно.

...я быстро плыл обратно, чувствуя затылком взгляды из-за деревьев. Мне казалось, что множество холодных ладоней поддерживает снизу меня за тело и ноги, сначала легонько, словно гладят, а потом всё настойчивее и крепче.

Выбравшись на берег, я посмотрел назад, белый силуэт мелькнул и растворился в еловой чаще, а может, мне это показалось. Быстро натянув джинсы и футболку, оглянулся вокруг. Внезапно поднявшийся ветер, раскачивал березу у пожарного пирса. На западе собиралась подозрительная компания облаков. Похоже, циклон пробился в наши края. На ветках появились несколько желтеющих листьев, а вчера я не заметил этого.

Кажется, я догадался о причинах природных метаморфоз. В последнее время накатывала необъяснимая печаль по вечерам, а всем известно, из-за того, что грустно, и начинается осень.

Виталий ГУРАМИШВИЛИ

Там, где спускались травы в небеса,
Я погружался с золотой сосною,
И становясь небесною травкою,
Я плыл туда, где ласковы леса.
Там, где вербейник цвёл и отцветал,
Махал крылом как иволга у речки,
Я невесомым человечком,
В воде небесной уплывал,
Все необъятней Волга и волна
Подобна женской трепетной ладони.
Здесь над рекою небеса бездонней,
Пока лазурью полнится она.

02.05.22

О, эта вечность, взятая в тиски.
Как мало нужно, чтобы вновь заплакать.
Апрельский дождь, как резкое стаккато,
И в поле снег, о Боже, посети.
Покуда дождь, я не сдержусь, как кит.
Мне в блюдца глаз песчаный ветер.
Пронзённый ясень плачет на рассвете,
Но и рассвет расстрелянный лежит.
«Зачем ты плачешь?» – говорит дитя –
«Березки отражаются в бездонном».
Но мимо окон тысячи покойных
Идут, туманы серебра.
В лесу дремучем не пройдёт и дня,
Как постучатся в небо первоцветы.
Туман падет там юношей, одетым
В цветы, молитву вознеся.

06.04.22

Виталий Гурамишвили родился в 1989 году в Тбилиси. Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. Работал инженером в Москве, учителем физики в селе Глазок Тамбовской области. В настоящее время живет в Москве. Публикуется впервые.

Верб первенцы, уставший тепловоз
Роняет дым на ветхие заборы.
Прохожий я, что облака принёс
На головном своем уборе
Тебе. Возьми мой светлый дым,
И в этом невесомом свете:
Любим я или не любим,
Ответь мне.
Прости, что говорю вот так,
Не разбирая слов, как прежде.
Стихи мои – движение, шаг,
И свет сквозь вежды.
Стихи мои как хвоя, такт
Лесов, в которых ты качалась.
Твой шаг – шопеновский форшлаг.
Какая жалость,
Что расстояние. Фотон
Его расплющит,
Когда как звуки в унисон
Сойдутся души.
А после нет его, оно –
Все наше время
Остановилось замерло
Поверь мне.
Как в мыльных детских пузырях
Во свете мартовского солнца,
В объятьях бабушки в ее руках,
В звезде на дне колодца.
В безвременье скажу: светла.
Пусть поезд мчится,
И дым ложится на крыла
Мои и птицы.

8.03.22

Ветер дул всю ту ночь и весь вечер,
Вспоминая лицо луны.
Оголяя лунные плечи,
Облака проплывали как сны.
Так и жизнь пронеслась как сойка,
В крыльях сойки весь небосвод.
Что там в поле? Снега хоть сколько...
Что же дальше? Снег упадет.
Упадет, соберешь крупницы.
Бесконечность крупниц – поля.
Что осталось мне – плавной птицей

Отрываться от февраля.
Что осталось мне? На Советской
Взять лишь томик Экзюпери,
И бежать с бесшабашностью детской,
С криком: мама, гляди, снегири!!!
Что осталось? Мы живы, мама.
Да, мы живы и в этом ответ.
Вижу я как с Ильинского храма
На Советскую падает свет.

5.02.22

Первый снег был узорчат и нежен,
Первый снег, а теперь все равно.
Упаду среди мертвых валежин,
Засмотрюсь в голубое окно.
Надо мной проплывают трамваи,
Надо мною летят корабли.
Я хочу, чтоб меня переплавили
Вместе с снегом в море любви.
Потому и люблюсь я ангелом,
Он летит, я лежу среди ив.
Первым снегом на Землю упали мы,
Свои крылья на снег раскроив.

14.01.22

Фракталы зонтичных растений,
Как телескоп, смотрящий ввысь.
Здесь, среди белых онемений,
Вопрос снежинкою повис:
Зачем зима звучит как пилы,
Зачем живое на дрова?
Здесь даже яблоня могилой
Избрала краешек двора.
И вот теперь над ней бутоны,
И лепестки от снежных туч,
И скрип пилы подобен стону,
Иль просьбе: уходи, не мучь.
Оставь меня, зима-разлука,
Зима – пренебрежение трав,
Оцепенение тела, звука,
Уйди, тоску свою забрав.

7.12.21

Сегодня падал первый снег,
Сегодня падал,
А я качался как побег
Вдали от сада.
Качался и считал снега,
Считал и плакал,
То таяла по мне вода
И уносила вдаль как
Корабль черно-белых снов,
Ноябрьский парус.
Я слишком нежен без листов,
И одеваюсь
В твои, о Господи, снега,
Как в ветошь света,
Кто я? Побег, изгиб, вода,
Да хвост кометы,
Оставленный дрожать и жить,
Как луч без лампы.
Держи меня, земля, держи
В ладошке как бы.

12.11.21

Будь счастлив мир, я тоже стану счастлив,
От яблонь оторвется рыжий цвет,
Как пламенеющие части
От воспаряющих ракет.
Когда деревья были молодыми
И лепетали что-то на своем,
Они случайно уловили имя
От тех прохожих, что брели вдвоем.
Так я родился именем среди веток,
И провожал глазами в осень птиц,
Вся в яблонях была моя планета,
Я выдумал её. Как слезы от ресниц,
Так яблоки от веток я отнимал,
И нес и небу, и небесным птицам.
И яблоню я приглашал на бал,
Чтобы с листвою в садах кружиться.

25.09.21

Дождь, спрячь седые плети,
Просто со мной побудь,

Листья как ржавые петли
Падают мне на грудь.
К черным придя воротам,
Рог подносил к губам,
Лес меня ждал, и кто-то
Листья бросал к ногам
Словно поникшие флаги.
«Мир пред тобой, броди!
Нежность ливневой влаги
Складывай на груди».
Что еще? Капли, воды,
Дуб – мечтающий друг,
Ветер – сын непогоды,
Птицы с древесных рук.
Все уже есть, не надо
Большого ничего.
С кисточки винограда
Капает дождь, как вино.

19.09.21

Пока на небе облака касались облаков вуали
и обрамляли лист на молочае окаймлённом,
из сырости земной рукою тонкой-тонкой
тянулась к ним, на цыпочках приподнимаясь,
всю нежность паутинок ощутив щекою, яблоня.
Всей робостью, сложенъем хрупким,
как человек: глаза в глаза со мной.
И яблоки на ней, как парасоль
из «Дамы с зонтиком» Моне,
рвались из рук к тем облакам, точнее цвет
таков, как у зонта... В одном из яблок,
в гладкой кожуре его,
как в той Луне догалилеевской и «гладкой»,
что отражает и доныне свет,
я видел отраженье птицы,
на темных перьях не играл акрил, но хвост её,
как кисть, Он обмакнул в закате. Августа закат
как облепиховый напиток с мёдом.
«А имя как твое, о птица?»
«Скажи мне имя».
«Горихвостка».
«Возвращайся!..»

11.08.21

Я старше стал, о трепетном молчу.
Коль двор беззвучен, за рукав одерни.
Молчишь и ты, пока считаю волны
В лучах небес: по шее, по плечу.
Я старше стал – теперь одна из птиц,
И воробьям летящим ровня.
Коль замер лес, в пол шепота напомни
Травую плавной, морем без границ.
Апрель на то, чтоб желтые цветы
Вносить в сердцах в прохладную прихожку.
О, Боже мой, продли еще немножко
Сердцебиение весны.

16.04.21

Я вышел из себя,
Чтобы пройти с тобой
Без облаков – бинтов,
в больнично-белом лесе.
Но ночь прошла, и что?
Я кожей ещё там,
Там все летит к воде,
и я лечу водою.
Но что есть белый? Лишь
Соединенье тех
Цветов, им нужен глаз,
А коже друг и кошка.
И я проснусь, хотя
Во изголовье бинт
Не мой, не твой – его,
израненного леса.
В нем две совы и дуб,
И хрусткий наст, и лань,
И удивленье птиц
Следам людей у дуба.

13.01.21

Дмитрий ЛАГУТИН

ПРО ЕЩЕ ОДНОГО ПОЭТА

Сказка

Трижды за последнее время Виктора Николаевича посещало вдохновение – и трижды происходило это в супермаркете, между бакалейным отделом и стеллажом с напитками.

В первый раз он даже растерялся – он остановился как вкопанный, перегородив проход, прислушался к чему-то, оказалось, давно позабытому и чуть не выронил снятый с полки пакет кошачьего корма. Робко, боясь пошевелиться и спугнуть удивительное ощущение, он сложил аккуратное четверостишие, пробормотал его себе под нос – и потом бормотал всю дорогу домой. Шел он весело, загребал носками туфель рыхлый февральский снег и временами – уж насколько позволял возраст – начинал как будто пританцовывать, а в подъезде, уже вызвав лифт, покачал игриво – «не-а» – головой и пошел по лестнице. В квартиру он ввалился задыхающийся, взмокший, но счастливый – отпихнул готового к атаке кота, вручил жене пакет с покупками и, не снимая куртки, прошел в комнату, склонился над столом. Выведя на обороте квитанции четверостишие, он помахал им перед собой, точно только что проявленным снимком, и показал удивленной жене.

– Зойчик! – воскликнул он, расплываясь в улыбке. – Ты посмотри, какую красоту я написал!

Жена озадаченно взяла квитанцию за краешек.

– На квитанции-то зачем... Сейчас, очки в кухне.

Она ушла в кухню, и пока ее не было, Виктор Николаевич, как был в куртке, мечтательно смотрел в окно – в низком, затянутом серыми облаками небе синели узкие проталины, сыпал мелкий снежок, опускался, рисуя зигзаги, серебрясь и поблескивая, в колодец двора. Вошел в комнату, долго ерзал, прицеливаясь, и, наконец, запрыгнул на стол кот. Виктор Николаевич, окрыленный и радостный, забыл о вражде и опустил на маленькую треугольную голову ладонь в рисунке царапин, погладил раз-другой, отдернул руку, когда кот попытался укусьить.

– Витенька, – позвала от двери жена. – Как чудесно.

Кот изловчился и скользнул коготком по запястью Виктора Николаевича, чуть пониже часов.

Во второй раз Виктор Николаевич набрался смелости и, остановившись как вкопанный на том же месте, сочинил стихотворение из двенадцати строк, причем шесть из них рифмовались между собой. Сочинил и побежал к кассе.

– Девушка, миленькая, – обратился он к кассиру, высыпая перед ней покупки. – Дайте листочек какой-нибудь... И карандаш...

Кассир долго рылась под стойкой и, наконец, выложила на ленту тетрадь с васильками на обложке, протянула карандаш с плоской, едва заметной точкой графита на конце. Все это время Виктор Николаевич стоял, кусая губы, и мысленно держал стихотворение за уголки, чтобы оно не рассыпалось, не растворилось, – не нажимая и не ослабляя хватки, – а потом нервным, вздрагивающим почерком переписал в тетрадь. Закончив, осторожно вырвал страницу, прижимая разворот ладонью.

– Ой, а вы писатель? – спросила девушка-кассир, вскинув на Виктора Николаевича огромные, василькового цвета, глаза.

Дмитрий Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского госуниверситета. Победитель международного конкурса «Всемирный Пушкин» в номинации «проза» (2017 и 2018 гг.), лауреат национальной премии «Русские рифмы» и др. Публиковался в журналах «Новый Берег», «Нева», «Урал», «Знамя» и др. Предыдущая публикация в «Волге» – сказка «Блуждания» (2021, № 7-8).

– Ну, – засмущался Виктор Николаевич и кашлянул в исцарапанный кулак. – Писатель... Член союза...

– У меня сестра двоюродная пишет, – поделилась девушка и рассмеялась, смахнула со лба невесомую волнистую прядь, бросила за ухо. – Ерунду какую-то, правда. Вам пробивать?

Покупки поехали по ленте, Виктор Николаевич рассеянно кивнул. Он сложил вырванную страницу вчетверо, замешкался – в какой карман прятать, нагрудный или внутренний? – развернул, перечитал и покачал удивленно головой. Растегнул куртку и спрятал во внутренний.

– С вас триста пятнадцать рублей. Посмотрите без сдачи, пожалуйста.

И вот сейчас, в третий раз, Виктор Николаевич стоял на крыльце супермаркета и писал за ранее подготовленной и взятой из дома ручкой в заранее подготовленный и взятый из дома блокнот. Писал он длинное, но не тяжеловесное стихотворение, играющее с размером. Кое-где созвучными оказывались середины строк – ранее Виктору Николаевичу подобное удавалось редко. Но главное: что-то такое удалось ему выразить в стихотворении, дотянуться до какого-то сокровенного уголка, а там – точно язычки пламени бежали по хворосту.

Февраль заканчивался, неожиданно грянуло потепление, и с утра по улицам, прямо над пятнами серого, зернистого снега плавал теплый, плотный туман. Ревела автомобилями дорога, галдели толпящиеся у зебры студенты – на той стороне вытягивался, прячась за аллею, университетский корпус, – но и рев, и галдеж округлялись, смягчались в тумане. Время от времени двери супермаркета за спиной Виктора Николаевича с мягким гулом разъезжались, впуская или выпуская покупателей, и слышно было играющую в зале музыку – мягкую, ненавязчивую, напоминающую почему-то о гостиницах на берегу моря, о гулких коридорах и окнах во всю стену.

Перечитав стихотворение, Виктор Николаевич глубоко вздохнул.

«Выразил, – подумал он и закрыл блокнот, перетянул резинкой. – Много лет не мог слов найти – и вот, нашел».

И глаза у него заблестели – и ему не верилось уже, что последний год он все думал о том, чтобы совсем бросить стихи, которые вдруг перестали даваться, а если давались, то выходили угловатыми, хромыми, расползающимися по швам; бросить вместе с литературными вечерами, с семинарами, с презентациями в тесном зале библиотеки коллективных сборников, вернуть председателю и значок, и билет, и взятые когда-то в долг четыре тысячи...

Теперь все это казалось мелким и смешным – и снова Виктор Николаевич шел домой радостный, молодой, и смотрел по сторонам открыто, заглядывал в лица прохожих и в каждом видел что-то приятное, привлекательное. Он с наслаждением дышал влажным, одновременно и холодным, и теплым воздухом – воздух пах освобождающейся от снега землей и дождем, настоящим весенним дождем – и подмигивал расхаживающим по газону галкам. Пакет в руке казался невесомым, а внутренний карман куртки оттягивал заветный блокнот, тоже, казалось, теплый, напоминающий нагретый на солнце камень.

Загвоздка оставалась одна – дома не писалось. И вообще нигде, кроме супермаркета, не писалось. То есть писалось – но не так.

«Не так, – качал головой Виктор Николаевич, аккуратно зачеркивая написанное дома, за столом, и пряча ноги в тапки – в коридоре звучали мягкие кошачьи шаги. – Не то».

– Нет, Валя, ты послушай, что папа написал, – раздавался из кухни голос жены.

И она читала в трубку написанное в супермаркете. За последней строкой следовала пауза, и слышно было, как дерет обивку кресла кот, а потом жена радостно окликала:

– Витя, Валя в восторге!

И Виктор Николаевич стал экспериментировать.

– На крыльце стою, у самых дверей, – хрустя соленым огурцом, говорил он вечером жене, – кассы видно... Котлеты сегодня прямо волшебные... У дверей, говорю – и ничего! Пык-мык, палка-галка. Внутрь зайду, остановлюсь. Прислушиваюсь, значит... Ничего.

Он вилкой чертил в воздухе сложные траектории.

– Несколько шажочков сделаю – и стою, прислушиваюсь. Еще несколько – и стою.

– Смотри, примут за сумасшедшего, – шутила жена, заливая воду в чайник.

Виктор Николаевич махал рукой и грозил коту кулаком.

– А вот подойду к тому месту...

Опытным путем было установлено – вдохновение посещало Виктора Николаевича исключительно между бакалей и напитками, а если быть точнее, то у дальней стены, в самом конце, там, где рядом с дверью в подсобку расположилась на уровне груди полка с кошачьим кормом – обычная деревянная полка, узкая и вытянутая, совсем даже не продуктовая, без бортика и второго яруса, выкрашенная в белый, – а под ней – замотанные в скотч коробки, которые то уносили, то приносили.

– И вот как подойду к корму этому... – Виктор Николаевич грозно косился на опустошающего свою миску кота. – Я ж в первый раз туда за кормом и пришел... Как подойду – так просто подбрасывает. Веришь, Зойчик, как в молодости – ух, и к облакам!

И Виктор Николаевич листал лежащий тут же блокнот, находил нужную страницу и начинал читать, отложив вилку, – а жена садилась напротив, подпирала подбородок кулачком и слушала – и не знала, от чего она больше счастлива – оттого, что счастлив ее Витя, или оттого, что так похож он сейчас на себя тогдашнего – широкоплечего, порывистого, с огнем в глазах, богатого на авантюры.

– Оно, конечно, фантастика, Зойчик, но... Может, место там какое... Или предмет – или вещество, например.

И даже ночью Виктор Николаевич долго не мог успокоиться – сперва не засыпал, щелкал лампой и брался читать, потом ворочался, сопел, а когда, наконец, засыпал, то и во сне нет-нет а бормотал что-то неразборчиво, спорил с кем-то.

Сперва подозрения даже пали на корм. Да, дома не писалось, но все же... Надо проверить, в конце концов. Под ледяным кошачьим взглядом он ходил по комнате с пакетом в руке – а однажды, когда жены дома не было, зажмурился и закинул горсть коричневых кругляшей в рот. Сел на стул, свернул руки кренделем и жевал, глядя на оторопевшего кота, прислушивался к ощущениям.

«Нет, – подумал он, – не корм».

Но на всякий случай дожевал и – задержав дыхание – проглотил.

– Ничего, – сообщил он коту. – Пивка бы – и вообще отлично.

Он посидел задумчиво, отодвинул занавеску, посмотрел на залитый солнцем двор, достал из холодильника бутылку пива и не спеша выпил.

– Может, коробки тогда? – спросил он пришедшего в себя и развалившегося посреди кухни кота.

И в следующий раз в супермаркете Виктор Николаевич, покачиваясь от вихря мыслей и идей, как бы невзначай, выбирая корм, приоткрыл верхнюю коробку, скосил глаза. В коробке блестели боками пустые пол-литровые банки.

«А в других что?..» – подумал Виктор Николаевич, но проверить не успел – в проход хлынули шумным потоком студенты, потянули с полки кто что, один даже перетянулся через Виктора Николаевича и цапнул пакет кошачьего корма.

А на другой день коробок уже не было – голая, квадратиками кафеля, стена спускалась к голому же, в серых разводах, полу и смотрела из-под полки сиротливо и как-то затравленно. В одном месте уголок плитки был отколот.

Коробок не было – а вдохновение было.

А потом и корм переехал – в дальний конец зала. Виктор Николаевич переступил порог супермаркета, прошел мимо касс и на миг решил, что тронулся умом – бакалея занимала некогда фруктовый отдел, бытовая химия отползла в сторону, пачки с кормом пестрели рядом с одноразовой посудой.

– Перестановка, – пояснила девушка с васильковыми глазами. – Сами путаемся, но так вроде покупать будут больше.

В волнении Виктор Николаевич протиснулся к заветной полке – на которой теперь тесным рядком стояли консервированные ананасы нескольких видов – и выдохнул облегченно – в груди у него заняло, в воображении запенились образы.

Февраль закончился, в начале марта вдруг посыпался снег, тротуары и бордюры покрылись коркой льда, но потом грянула настоящая весна и все засверкало, закапало, зазвенело, оттаивая. Солнце светило весело, не скупясь, улицы горели точно бриллиантовые, и, зайдя в супермаркет, приходилось несколько секунд стоять на месте и моргать – все казалось зеленым. Виктор Николаевич стал заходить через день – и подолгу топтался рядом с полкой, строча в блокнот золотой ручкой, которую ему подарили много лет назад на юбилей и которую он специально отыскал в недрах серванта и распечатал.

Писал теперь Виктор Николаевич поэму – которую задумал еще в молодости и к которой несколько раз пытался подступить, но не чувствовал в себе сил. Теперь поэма изливалась, точно ручеек, – и уже Виктор Николаевич торопился ей вслед, не успевая записывать; туманные прежде мысли и предчувствия вдруг обретали четкость, цеплялись друг за друга, рисовали узоры.

Придя домой, он читал сочиненное жене, а жена потом перечитывала в трубку дочери – а Виктор Николаевич смущенно сидел в комнате и листал наугад выбранную книгу или выходил на лоджию и прислушивался к капели. Даже кот, казалось, смягчил свой нрав и если царапался или впивался зубами в неспособную спрятаться в тапок и оттого беззащитную пятку, то делал это как-то больше для виду, не до крови и с готовностью отступал.

В середине марта Виктор Николаевич принес новые стихи на традиционный семинар при местном отделении Союза и, что называется, сорвал куш – кто-то даже аплодировал. Поэт-сатирик Маркин достал платок в горошек и промокнул уголки глаз. Ответственный за составление коллективного сборника сосредоточенно помечал что-то в тетради. А переехавшая десять лет назад из Москвы и сразу Виктора Николаевича невзлюбившая – чувства были взаимны – поэтесса взмахнула руками в перстнях и воскликнула:

– Это на нашего Вэ Эн так весна действует! – и она рассмеялась своей находке. – Вэ Эн – Вес-На!

Виктор Николаевич, читавший стихи стоя и порядком разнервничавшийся, отвесил благодарный поклон.

После семинара к нему подошел председатель, крепко пожал руку, хлопнул по плечу и попросил переслать стихи ему – что-то получится пристроить в журналы.

У полки стали попадаться другие поэты – или, быть может, прозаики? Один раз на Виктора Николаевича налетел упитанного вида мужичок, яростно полосовавший записную книжку прямо на ходу. Налетел – и не извинился. Если же Виктор Николаевич оказывался в супермаркете вечером, то через раз заставлял под дверью подсобки молодого парня – длинноволосого, с пиратской какой-то бородкой и руками в татуировках. Парень грустно смотрел вокруг себя и бегал пальцами по экрану мобильного – стоял он, привалившись к двери.

«Наверное, думает, что причина – в подсобке, – подумал Виктор Николаевич и усмехнулся. – Потому и грустный такой».

И однажды, встретившись с парнем взглядами, он как бы невзначай кивнул на полку с ананасами.

Несколько раз наблюдал Виктор Николаевич рядом с полкой девушку – тоненькую, светленькую, похожую на молоденькое деревце. Девушка почти испуганно перебегала от стеллажа к стеллажу и бормотала что-то, теребила сережку в ухе.

– Думал я выкупить эту полочку, Зоя, думал, – говорил Виктор Николаевич, бережно раскладывая по столу листки – написанную до середины поэму. – Но как же мальцы эти? Это ж я им такую свинью подложу.

И жена, оторвавшись от посуды, целовала Виктора Николаевича в пепельно-серую, но все еще вихрастую макушку.

А в середине апреля, когда поэма близилась к завершению и Виктор Николаевич уже подумывал, не принести ли ее на семинар, полка пропала.

Ананасы рассеялись по соседнему стеллажу, и о том, что полка вообще была, напоминали теперь только два ровных отверстия в стене – с оранжевыми воротничками дюбелей.

Виктор Николаевич сперва ощутил... то есть ничего не ощутил... то есть ощутил отсутствие каких бы то ни было ощущений – в груди у него тревожно екнуло – и только потом увидел стену с отверстиями. Блокнот выскользнул из его руки и распластался на полу, ткнувшись в плитку разворотом.

Виктор Николаевич чуть не заплакал.

– Полка? А купил ее кто-то, – сообщила девушка-кассир. – Через начальство и за большие деньги, кажется. Вроде как раритет или что-то такое... – Она пожала плечами и пробила упаковку земляничного печенья. – Кофе не хотите взять? На него скидка большая.

Виктор Николаевич взял кофе.

– Есть еще вот наборы крючков в ванную.

Виктор Николаевич взял крючки. Девушка озвучила сумму, приняла деньги, отсчитала сдачу.

– Что же вы, – спросила она приветливо, – пишете сейчас? У меня сестра конкурс выиграла – в Уфу поедет, на фестиваль.

Она рассмеялась.

– Пишу, чего же... – пробормотал Виктор Николаевич и вышел не попрощавшись.

И потекла для него обычная, прежняя жизнь. Несколько раз заходил он в супермаркет, надеясь если не на возвращение полки, то хотя бы на то, чтобы встретить кого-нибудь из товарищей по несчастью, перекинуться взглядами, кивнуть друг другу понимающе – безрезультатно. На семинар он собирался взять хотя бы ту часть поэмы, что была закончена, но передумал и не взял ничего – и весь семинар просидел рассеянный, никого толком не слушая, а по окончании ушел раньше всех.

Поэма продолжала писаться – но теперь через нее надо было продираться, как через бурелом, и получалось, конечно, слабее, чем прежде, неувереннее, ходульнее. Кот, понимая, видимо, что противник его не способен на активные действия, на время отстал от Виктора Николаевича и после долгих раздумий остановил свое внимание на шторах, по которым приноворился карабкаться вверх-вниз.

Жена ходила вокруг и не знала, чем помочь, – и все боялась сказать что-нибудь невпопад.

Виктор Николаевич же держался молодцом.

– Ну будет, Зойчик, будет, – похлопывал он ее по руке. – Ну что ты, в самом деле.

И он так старательно успокаивал раз за разом жену – что в итоге успокоился сам.

– Ладно тебе, Зойчик, – говорил он, улыбаясь. – Выпало такое – порадоваться надо. А и опять же – раньше я так и без полки писал, правильно?

Жена кивала.

И со временем Виктор Николаевич совсем смирился. Поэму – отложил, а стихи писать было продолжил, но уже не радовался им, как прежде, видел, что получают они угловатыми, неуклюжими и точно одышкой страдающими, – и решил до поры до времени отложить и стихи.

Задумался о серии очерков – и на этом остановился.

Наступил май – и май совсем райский, солнечный, теплый, как-то по-особенному, так бывает только в мае, мягкий – и Виктору Николаевичу даже в самих словах «май» и «мягкий» слышалось что-то созвучное, и он эти слова катал мысленно туда-сюда, обходя дачу, прикидывая, скоро ли обновлять забор и не засадить ли оставшийся пятачок грядок клумбами.

Над приведением дачи в порядок трудилась вся семья, включая зятя и внуков, – и Виктору Николаевичу, по большому счету, достаточно было только ходить с серьезным видом и вздыхать.

Даже кота привозили на дачу время от времени – но жена боялась, что убежит, и потому носила его по участку на руках или запирала в комнате, и тогда кот сидел, как статуя, на подоконнике и не мигая следил свысока за дачной суетой. Виктор Николаевич надеялся, что однажды жена закроет дверь, и кот убежит куда-нибудь насовсем – и стыдился своей надежды.

Вечерами пили чай под навесом в виноградных кудрях, отмахивались от комаров, жгли ко-стер – дети жарили сосиски – и уезжали с сумерками, и только Виктор Николаевич частенько

оставался на ночь – жена отказывалась. Тогда он поднимался по скрипучей, неясной в сумерках, лестнице на второй этаж, в ту комнатку, в которой запирали днем кота, выпивал бутылочку пива, ложился в продавленную кровать и читал при свете лампы Чехова – да так и засыпал с книгой на груди. Посреди ночи он переворачивался со спины на бок, и его будил скрип пружин – и тогда он гасил лампу, выглядывал за занавеску в непроглядную дачную ночь, кряхтя, влезал под одеяло и засыпал до рассвета.

Раз или два просыпался пораньше, варил кофе, чашку выпивал сразу, а остальное наливал в термос, брал нарезанные женой с вечера бутерброды, накопанных детьми червей, удочку и шел на местный прудик. Сидел часов до девяти, пока не начинало припекать, и, как правило, возвращался без улова – рыбаком он был не самым успешным, и либо вообще ничего не ловил, либо ловил, но выпускал – не коту же отдавать – и рыбалку воспринимал скорее как атрибут дачной жизни, нежели как что-то само по себе увлекательное.

В городе Виктор Николаевич много гулял – то один, то с женой: пешком добирались до городского парка, и не спеша, наслаждаясь, глядя по сторонам, ходили туда-сюда, кружили вертлявыми дорожками, поднимались к смотровой площадке и останавливались над утекающими к горизонту кронами, сперва изумрудными, но чем дальше, тем темнее, в синий – и у жены на площадке всякий раз начинала кружиться голова, а Виктор Николаевич вспоминал что-нибудь из Волошина и читал негромко, поводя ладонью вровень с горизонтом.

Однажды, уже в начале июня, Виктор Николаевич встретил в парке парня с пиратской бородкой – тот шел по дорожке, глядя в телефон, по экрану которого снова мельтешил пальцами. Виктор Николаевич остановился, проводил узкую спину взглядом, подумал вдруг – а не он ли выкупил волшебную полку? – и даже хотел догнать, спросить, но постеснялся.

«Может, и он, – подумал Виктор Николаевич, переводя взгляд на снующего в траве зяблика, – ну и в добрый путь, дорогу молодым».

Сам он о приключении с полкой вспоминал теперь как о чем-то далеком и небывалом, похожем на сон – и вспоминая, улыбался, покачивал головой и думал, что пиши он прозу, может, и взялся бы за рассказ с таким сюжетом – чем не сюжет?

«Принес бы на семинар, – думал он и фыркал. – И кто бы поверил, что это на самом деле было?»

И, переставая фыркать, спрашивал себя, вслух:

– А было ли?

Майский семинар Виктор Николаевич прогулял, а июньского не предполагалось – на лето литературная братия брала каникулы, – и прожил бы Виктор Николаевич до сентября в парково-дачной изоляции, если бы не услышал, что не отличавшийся прежде особыми заслугами поэт Н. стал выигрывать конкурс за конкурсом – по результатам одного из них на региональном телевидении вышло получасовое интервью – и даже попал в несколько московских журналов сразу.

Н. был сепаратистом и скандалистом – союзы презирал, на семинары не ходил, но в библиотеке был частый гость и на мероприятиях время от времени появлялся, хотя и на них держался особняком. Семинаристы над Н. смеялись, стихи его всерьез не воспринимали и, добывая где-то, выискивали в них особо казусные строчки, чтобы потом передавать их из уст в уста

Громче всех над Н. смеялся поэт-сатирик Маркин. Теперь же он озадаченно подтверждал:

– Читал, Вить, читал, – и протягивал Виктору Николаевичу рюмку с пламенно-пурпурной настойкой. – Зоя точно не против?

Виктор Николаевич заверял, что все согласовано. Маркин опрокидывал рюмку в широко раскрытый рот, в котором поблескивали золотые зубы, кусал бутерброд, доставал платок в горошек и вытирал им пот со лба.

Окно в кухне было открыто, но все равно стояла духота – на смену теплому июню пришел нестерпимо жаркий, тропический, июль. Говорили о том, что жара будет аномальная, что последний раз такое случалось чуть ли не сто лет назад, – город погрузился в сонное, заторможенное состояние, все, кто мог, разъехались по курортам, остальные старались не покидать домов. Виктор

Николаевич даже на даче показываться перестал – и по возможности сидел в квартире лицом к лицу с вентилятором.

Кот вентилятора боялся больше, чем пылесоса, и жался по углам.

– Вить, – наваливался на стол локтями сатирик Маркин, – я даже шутить не буду, это ранний Блок, не меньше.

Он тянул руку к крадущемуся по кухне коту и отдергивал в последний момент.

– У, зверюга... ты зачем царапаешься? Вить, его, говорят, вон где заметили, на премию двигают. Вить, да я бы сам не поверил... И главное – мимо семинаров же... На день рождения-то к нему, говорят, из Москвы придут, редактора какие-то.

– Да кто говорит? – спрашивал Виктор Николаевич, чувствуя, как хмелеет, и прижимая ногой ножку стола, чтобы тот не кренился под весом сатирика.

Спрашивал и знал ответ – с Н. из всего семинара связь держала одна только московская поэтесса, та самая, что связала Вэ Эн и весну.

Празднование дня рождения намечалось на конец июля – и к этому времени Н. уже начал чёс по областным библиотекам, оказался в жюри какой-то премии и дважды летал в Петербург на юбилей мэтров. Семинаристы, конечно, не приглашались – за исключением поэтессы.

Какое-то время после разговора Виктор Николаевич ходил в странном смятии – сомневался, маялся, смеялся над собой, – а в итоге не выдержал и позвонил поэтессе, аккуратно поинтересовался, будет ли уместным заглянуть на торжество без приглашения.

– Поздравить, так сказать, – смущенно пояснял он, – пожать рождающую шедевры руку...

– Приходите, Вэ Эн, что уж тут, – разрешила со вздохом поэтесса. – Многие, как я понимаю, так или иначе... придут.

Жена, напротив, взялась отговаривать.

– Ну что ты, Витюша, ну зачем? Разнервничаешься еще – а тебе ведь вредно...

Виктор Николаевич гладил ее по острому плечу и уверял, что нет, не разнервничается, что посмотреть хотя бы одним глазком – ну нельзя же не посмотреть, такая ведь история!

– Да и что ты, Зойчик, меня в доходяги записываешь? – он поднимал руку, сгибал в локте. – Я вон какой богатырь у тебя!

Жена смеялась.

Весь июль столбик термометра неуклонно полз вверх, и выходя на лоджию, втягивая с закрытыми глазами плотный горячий воздух, Виктор Николаевич представлял себе далекую Турцию – или даже Египет, белый от жара песок и дрожащие у горизонта миражи. В квартире поселился еще один вентилятор – крупнее первого – и кот совсем сдал позиции: издергался, устал прятаться и ходил раздавленный собственным малодушием. Даже, кажется, признал превосходство Виктора Николаевича – который вентиляторов не только не боялся, но еще и целоваться к ним лез.

И весь июль над городом висели неподвижно редкие полупрозрачные, точно выгоревшие облака – а в день рождения Н. небо вдруг как-то разом затянуло.

– Зонт не забудь, – наставляла жена примеряющего костюм Виктора Николаевича. – Как ты картину донесешь-то?

– Донесу... Помоги с галстуком...

На диване покоилась завернутая в бумагу и перетянутая бечевкой картина: пруд с ивой; вдалеке над водой белела дужка мостика, у берега блестели влажными перьями утки. Картина была куплена у старого друга, художника.

– Витька, – говорил художник, разыскивая по мастерской бечевку, – от сердца отрываю, другой такой не сыщешь.

Картина и вправду была так хороша, что Виктор Николаевич даже в какой-то момент засомневался – дарить ли? А может, оставить себе, а Н. купить что-нибудь попроще? – и устыдился.

Н. жил на другом конце района, в двадцати минутах ходьбы – и все время пути Виктор Николаевич тревожился: что-то забыл, а уже у подъезда понял, что забыл зонт. Над тесным, похожим на пенал, в липах и рябине, двором нависали темные, пудовые тучи, по всему было видно, что

хлынет, хлынет обязательно – и зной, хоть и не делся никуда, был теперь липкий, вязкий, и если закрыть глаза, чудился не Египет, а какие-нибудь джунгли с мхом и лианами.

– Открываю! – донеслось из динамика без каких-либо предисловий.

Виктор Николаевич, обливаясь потом, постоял в исписанном мальчишками лифте, шагнул на просторную, прокуренную площадку и оказался перед распахнутой настежь дверью, за которой толпилось невообразимое множество людей в пиджаках.

– Вэ Эн! – крикнула из-за пиджаков поэтесса и протянула руку в перстнях. – А вот и Вэ Эн!

Виктор Николаевич кашлянул, поправил воротник и шагнул через порог. Тут же закружило его десятком голосов, звоном бокалов, смехом, едва различимой в общем шуме музыкой.

– Это Вэ Эн, – представляла его кому-то поэтесса, – я вам про него говорила.

Кто-то, шурясь через очки, жал Виктору Николаевичу руку, тут же протягивал визитку. Виктор Николаевич хлопнул себя по карману и понял, что забыл не только зонт, но и визитницу – со своими в том числе.

Он пристроил картину у стены, разулся, потом увидел, что все обуты – и обулся. Потом увидел, что обуты не все – и все-таки разулся. Прошел, заслоня собой подарок, по коридору – на стенах свободного места не было от грамот и дипломов, – оказался в ярко освещенной комнате, в которой людей было еще больше, присмотрелся: музыка доносилась из стоящего на тумбе граммофона; встретил несколько знакомых, пожал им руки, увидел даже однокурсника по литинституту, но тот его, кажется, не узнал, пролез между стеной и длинным, без стульев, столом, ломящимся под закусками и бокалами.

– Вэ Эн, берите бокал! – поэтесса подхватила Виктора Николаевича под локоть и потянула к столу. – А какие у вас руки крепкие, Вэ Эн, – сказала она удивленно. – Спортом, наверное, занимались?

– Занимался, занимался, – вернул себе свой локоть Виктор Николаевич, – дайте именинника найти.

Именинник, высокий, худой, с вытянутым лицом и завернутыми в щегольский чуб седыми волосами, возвышался над толпой гостей, как фонарный столб, – и весь сиял. Виктор Николаевич протиснулся сквозь тесные ряды поздравляющих – кто-то недовольно заворчал – и стал перед Н., глядя на него снизу вверх.

– Ах, Витенька, – удивился Н. и расплылся в улыбке. – Какая встреча.

Он медленно протянул Виктору Николаевичу узкую длинную кисть, одарил мягким рукопожатием.

Виктор Николаевич сбивчиво поздравил Н. с именинами, пожелал и здоровья, и долголетия, и признания в высших литературных кругах – и выразил восхищение недавними успехами.

– Польщен, Витенька, польщен, – кивал Н. и оглядывал сжимающиеся ряды гостей. – Это вот наш Вита, очень крепкий поэт.

Виктор Николаевич почувствовал, как на нем скрестилась дюжина взглядов.

– Ну... – крикнул он. – И вот. Услада для глаз, так сказать.

Он протянул Н. картину. Тот взял ее и вытянул перед собой, точно залюбовался сквозь бумагу.

– Какая прелесть, – проворковал он и отвесил Виктору Николаевичу поклон.

Тут же Виктора Николаевича оттеснили куда-то к столу. В руках сам собой оказался бокал с шампанским.

– Пейте, Вэ Эн, пейте, – одобрила проплывающая мимо поэтесса. – Что вы как неродной?

И она исчезла в толпе.

Виктор Николаевич поднес бокал к губам и медленно выпил до дна, оглядываясь при этом по сторонам, – вдоль стен стояли тяжелые книжные шкафы, их разбавляли серванты с посудой. У окна темнело пианино, на нем хмурил брови бюст Тютчева.

Сбоку возник какой-то взъерошенный старичок, стукнулся своим бокалом о бокал Виктора Николаевича, заговорил о Волошине, процитировал Бальмонта, попросил выпить с ним водки и вручил Виктору Николаевичу рюмку. Сунул еще одну стоящей тут же тетушке в жемчугах и воскликнул тоненько, срывающимся голосом:

– За ваш чудесный город!

Виктор Николаевич выпил, изловчившись, подхватил со стола раскачивающийся, похожий на башенку в несколько этажей, бутербродик, тут же выпил снова – «за чудесных жителей города» – и старичок вовлек его в сумбурную, путающуюся беседу обо всем на свете, причем старичок то спрашивал, выражая искренний интерес, то перебивал и пускался в длинные витиеватые монологи.

– Я всегда говорил, – заверял он Виктора Николаевича, – что за концептуализмом будущее, да вот только они все в концептуализме ничего не понимают и готовы что угодно назвать концептуализмом, если им выгодно!.. А пойдете к Смирнову, он подтвердит!

И он тащил Виктора Николаевича к какому-то Смирнову, и тот подтверждал, а Виктор Николаевич, ошалевший от шума и суматохи, шел послушно, куда звали, и говорил что-то про концептуализм, и угощался предложенными тарталетками.

– Что вы пьете! – ругался на старичка и Смирнова другой старичок, с белыми как мел бакенбардами. – Вот что надо пить!

И он выдирал из чьих-то рук квадратную бутыл.

– На чабреце! – восклицал он. – Один раз выпьешь – к водке не притронешься!

Старичок со Смирновым послушно меняли полные рюмки на пустые, тянули к бутылке.

– Тихо, тихо, – шипел на старичка с бакенбардами третий – с огромными, похожими на кучевые облака, бровями, и закрывал бутылку полой пиджака, – налетят сейчас...

Старички вереницей потянулись сквозь толпу, за ними заспешил Смирнов, прицепился еще кто-то – и почти уже исчезнув из виду, первый старичок, взъерошенный, вдруг вернулся и потянул за рукав Виктора Николаевича.

– Петя, – недовольно проворчал он, – ну что ты застыл? Что ты застыл?

Виктор Николаевич двинулся за старичками – и перешел из первой комнаты во вторую. Тут было потише, и свет горел не так ярко, но люди толпились так же – сидели на диванах, в креслах, кто-то курил, в круглом аквариуме метались пестрыми стайками рыбы.

Виктор Николаевич выпил вместе со всеми, постоял немного, споря про Волошина и концептуализм, а потом, поняв, что его не слушают, осторожно отделился от компании и пристроился в уголке, возле окна.

Окно было приоткрыто – и в него тек с улицы душистый, терпкий воздух, уже как будто пахнущий близким дождем, за занавеской плыли огни фар.

Виктор Николаевич оглядел комнату – но и здесь заветной полки не увидел. Со стен смотрели портреты, был даже портрет самого Н. – в бабочке, рядом с античной вазой. Между диваном и креслом переливался оранжевыми огнями искусственный камин.

– Вэ Эн!

И от дверей к Виктору Николаевичу заспешила поэтесса. В одной руке она держала бокал шампанского, в другой – заложенную пальцем книгу.

– Как вам прием? – спросила она и, не дав Виктору Николаевичу сказать, ответила сама: – Помоему, замечательно!

Виктор Николаевич неопределенно качнул головой.

– Уж для вашего захолустья, – продолжила поэтесса, улыбаясь так, словно сообщала Виктору Николаевичу что-то ужасно приятное, – это просто новая страница! Такого тут со времен Толстого не было!

Виктор Николаевич с тоской посмотрел на окно, отодвинул занавеску и увидел, что на стекле серебрятся косыми царапинками первые капли. Теперь уже явственно пахло дождем – и даже веяло тонкой, едва уловимой прохладой.

Старички в противоположном углу шумели – оттуда доносились обрывки стихов, звяканье рюмок, особо часто слышалось на все интонации перекладываемое – то восторженное, то пренебрежительное – «концептуализм».

– А вот посмотрите, Вэ Эн, – сказала поэтесса и вручила ему свой бокал, со следами помады. – Что это у вас все руки в царапинах... Смотрите, какой мне сборник достался...

И она принялась листать книгу – а остановившись, кашлянула в перстень, и вытянула шею.

– Где сон плывет, не зная брода! – начала она торжественно, – Почти касаясь небосвода...

– За концептуализм! – закричал что есть сил один из старичков.

Поэтесса прервалась, обернулась, посмотрела неодобрительно, вздохнула и закрыла книгу.

– Ах, Вэ Эн, какое тут чтение... Давайте лучше выпьем, – она взяла из руки Виктора Николаевича свой бокал, посмотрела вокруг. – Хотите, я вам шампанского принесу? Или лучше водки?

– К водке я больше не притрагиваюсь.

– Как знаете, Вэ Эн, значит, будем пить шампанское, – и поэтесса, вскинув голову, удалилась.

Виктор Николаевич дождался, пока она скроется, и медленно двинулся через комнату, надеясь незаметно ее покинуть.

– Петя! – закричал взъерошенный старичок и завертел головой. – Петю потеряли!

Из калейдоскопа толпящихся в первой комнате гостей показалась поэтесса, смотрела она вбок, с кем-то на ходу разговаривая.

Виктор Николаевич пригнулся, уворачиваясь от взгляда старичка, дернулся в сторону, чуть не зацепив локтем аквариум, и юркнул за возникшую перед ним дверь, которой прежде, удивительное дело, не замечал. И оказался в маленькой комнатке – по-видимому, служившей Н. кабинетом.

Виктор Николаевич увидел письменный стол, книжный шкаф, тахту с абажуром – абажур светился, и по комнате разливалось мягкое зеленовато-желтое сияние – тумбочку, а над тумбочкой...

Над тумбочкой висела на стене полка из супермаркета – белая, вытянутая и узкая.

Сердце Виктора Николаевича загрохотало в груди.

Полка висела пустая – на ней не стояли книги, не лежали бумаги. О кошачьем корме или консервированных ананасах и говорить было нечего.

И, конечно же, – Виктор Николаевич был в этом уверен – это была именно она.

В комнате негромко играло радио – приемник ютился на краю стола – из-за дверей звучали голоса.

– Концептуализм! – кричали старички хором.

Внезапно голоса стали громче, приблизились.

Виктор Николаевич отскочил к двери, но потом не выдержал и шагнул к полке. Достал из кармана пиджака перочинный нож, который всегда носил с собой – старый, когда-то привезенный с моря другом нож с выгравированным линкором и надписью «Новороссийск» – и сколупнул с угла полки узкую щепочку, обнажив под краской бежевую древесину. Не слыша ничего, кроме своего сердцебиения, он сложил нож, спрятал щепочку в нагрудный карман и вышел из комнаты, стараясь держаться непринужденно – забрел, дескать, заблудился, и вот вышел.

– А вот и Петя! – раздалось над ухом. – Налейте-ка ему!

Виктор Николаевич, коротко отнекиваясь, отшучиваясь двинулся к дверям, столкнулся с поэтессой – «Вэ Эн! Разве это прилично с вашей стороны – прятаться!» – извинился, пожал руку в перстнях, протиснулся, боясь встречи именинником, через хмельную, шумную толпу в первой комнате, влез в туфли, примяв задники, навалился плечом на дверь и вынырнул в подъезд. Взмолкший, в волнении и смущении, долго ждал лифт – и не дождавшись, заспешил вниз по лестнице. Едва не зашиб, распахнув подъездную дверь, сатирика Маркина, поздоровался коротко, сослался на спешку и почти побежал через двор.

– Пускают? – крикнул вслед Маркин, но Виктор Николаевич не ответил.

Было уже темно, и только на западе небо светилось бледно-синим. Ронял тяжелые редкие капли дождь.

Парило.

Виктор Николаевич выбрался из двора, перешел улицу, в странных и сложных чувствах двинулся по оранжевому в свете фонарей тротуару, шаркая по плитке заматытыми пятками и не убирая руки от нагрудного кармана.

У перекрестка Виктор Николаевич остановился, поправил обувь, отметил каким-то краешком сознания, что дождь капает уже не так редко, как прежде, – а еще через один перекресток с

темного, в оранжевых разводах, неба хлынул, придавив духоту и остатки зноя, ливень. Сразу стало прохладно, в нос ударил запах сбитой с улиц пыли, и Виктор Николаевич зашпешил, жмурясь, откидывая со лба мокрые волосы, перешел уже по-настоящему на бег, свернул, чтобы срезать путь дворами, но в первом же задохнулся, почувствовал боль в боку и нырнул под козырек ближайшего подъезда.

«Пережду, – думал он, держась за грудь и пытаюсь отдышаться. – А если не перестанет, такси вызову».

Какое-то время он стоял, привалившись к двери, тяжело дыша, потом выпрямился, пригладил волосы, положил ладонь на нагрудный карман и осмотрелся.

Дождь черно-оранжевой стеной обнимал крыльцо, колотил по козырьку, пенил расползающиеся по асфальту лужи – перемешивая в них оранжевые блики – глухо барабанил по листве, по спине скрученного из автомобильной покрышки лебедя, белеющего в глубине клумбы. Сквозь стену проступали дрожащие прямоугольники окон – в доме напротив – их сметала и тут же возвращала на место черная путаница раскачивающейся перед подъездом кроны.

Ближайшее к подъезду окно – на первом этаже – тепло светилося бело-желтым, и из него, из приоткрытой форточки, доносилась, пробивалась сквозь шум дождя какая-то простенькая, не то веселая, не то задумчивая мелодия.

Виктор Николаевич стоял неподвижно, прислушиваясь к мелодии, обводя взглядом водоворот из красок и бликов, – и вдруг на сердце у него стало спокойно и тихо, мысли прояснились. Виктор Николаевич вынул из внутреннего кармана – не того, где лежал перочинный нож «Новороссийск», а второго – блокнотик на пластиковой пружине, авторучку и, закусив губу, часто моргая блестящими от набежавших слез глазами, стал быстро-быстро писать.

До блокнотика дотягивался свет от окна, долетали и морщили страницу мелкие колючие капли.

Сойдя с Буравушкиной горки, Пушкин разулся и зашагал босиком. Теплая, пыльная, приятная босым ступням дорога, изгибаясь, убегала далеко вперед и врезалась в пролесок. По обе стороны безмолвное и неподвижное – только еле заметно вздрагивала под ветерком трава да взлетала вдруг и пряталась птица – расстилалось поле, таяло у горизонта в дымке. И потому что было так тихо, издавдала услышал Пушкин перестук копыт и скрип телеги – задолго до того, как поднял голову и увидел впереди клубящееся, увеличивается в размерах облако пыли.

Но и при виде его не потерял взгляд Пушкина какой-то веселой и мечтательной отрешенности, и не перестал он улыбаться каким-то своим мыслям – он даже наклонился, дернул с обочины травинку и, сунув ее в зубы, неразборчиво и весело забормотал что-то про телегу и про дорогу и еще про что-то, одному ему понятное.

Из облака между тем проступили очертания длинноногой, с большой грузной головой, лошади, широкоплечего мужика с вожжами, растопыренных и обложенных сеном углов телеги – а потом телега остановилась в пяти шагах, звонко скрипнув. Мужик спрыгнул на дорогу и стянул шапку, отвесил поклон.

– Никак гулять, барин? – спросил он.

– Гулять, Семен.

– Прислать за вами к темноте?

Пушкин рассмеялся.

– Что ж у меня, ног нет? А, Семен?

Он потрепал лошадиную гриву и зашагал по дороге. Скоро скрип и цокот за спиной совсем затихли – и дорога снова погрузилась в нежную вечернюю тишину, в которой, однако, стрекотали кузнечики, шуршала трава и шелестела листва приближающегося пролеска.

У первых деревьев Пушкин, не переставая думать о чем-то, подсказывать самому себе слова, взмахивать вдруг рукой в легком жесте, похожем на жест дирижера, сошел с дороги, ступил в прохладную густую траву и сел у ближайшего дубка, прижавшись к нему спиной.

Поле, уходя к горизонту, словно выгибалось полукругом, просыпалось тут и там невысокими, прозрачными деревцами, а над горизонтом разливался прохладный золотисто-розовый, какой-то совсем яблочный закат, которого Пушкин нигде, кроме как здесь, в Болдино, не видел. И в свете этого заката дышали, нежились поля, таяли холмы, тучнели исполинские облака.

И высоко над землей, в пелене теплого света песчинкой висела первая звезда.

Пушкин долго сидел, прислонившись к дубку и глядя на опускающееся к горизонту солнце, – и по взгляду его, меняющемуся от радости к тоске, от тоски к торжеству и от торжества к веселости, можно было понять, что в мыслях поэта происходит сейчас что-то удивительное, таинственное и невыразимое. Мало-помалу Пушкин сам не заметил, как задремал, проспал, как был, сидя, до темноты – во сне он вздрагивал, улыбался уголком губ, и видно было, как под тонкими желтыми веками метались туда-сюда зрачки – и проснулся, когда над полем уже рассыпался, мерцающая и переливаясь, Млечный путь. Тогда Пушкин встал, потянулся, постоял немного, запрокинув голову, и побрел в сторону усадьбы.

А дубок остался стоять.

С годами он рос, тянулся все выше и выше к облакам, уходил вглубь перелеска, закрываясь от полей деревьями помладше. Ствол его ширился, кора грубела и шла глубокими бороздами, ее закрывал толстый слой мха, с ветвей сыпались к осени крупные, тяжелые желуди.

И стоял он так сто пятьдесят лет – пока в семидесятых администрация района не решила расширить дорогу, и часть перелеска не пришлось вырубить. Древесину отправили на местную фабрику, но то ли руководство выдохлось, то ли кризис производства оказался необратимым, а только изготовили из полученного материала всего одну партию – стеллажи да полки – и партия эта стала для фабрики последней.

Почти все полки разошлись по областным школам и библиотекам – но что-то осталось на складе, и когда фабрику закрывали, работникам предлагали часть зарплаты ввиду невозможности расплатиться получить полками. Несколько человек предложением воспользовались, и одна из полок, например – узкая и вытянутая – десять лет висела в кухне старшего столяра, порядочного и трудолюбивого человека. Потом была перепланировка дома, кухню ломали и достраивали, обставляли новой мебелью, и полка оказалась в сарае, в котором пролежала еще десять лет.

Девяностыми сын столяра уехал в областной центр учиться и, заселившись в общежитие, посоветовал на то, что книги можно хранить либо на столе, либо под кроватью – на что столяр достал из сарая, выкрасил в белый и привез сыну ту самую полку. Сын, однако, в учебе особого рвения не проявил и спустя два года из областного центра вернулся в родные края – оставив полку висеть в комнате общежития, из которой ее забрал во время планового ремонта как ненужную завхоз.

В десятых завхоз с женой переехал поближе к Москве, в одном из университетов которой учились дети, в родной город отца – и полку перевез вместе с остальной мебелью. Но дома не повесил – жена устроилась уборщицей в супермаркет и однажды принесла ее с собой на работу, пристроила в подсобке. Через год жена уволилась – у детей появилась возможность забрать стариков в Москву – и полку забирать не стала.

Спустя еще три года новый администратор супермаркета, затеяв реорганизацию торгового зала, понял, что дальней стене чего-то не хватает. Тогда он пошел в подсобку, снял полку со стены и самолично перевесил ее в зал.

Сергей ШАТАЛОВ

ИЗ ЦИКЛА «НЕПРЕРЫВНОСТЬ ВЕТРА»

это не стихотворение,
не заклинание
и потому
я по-настоящему боюсь
боюсь найти слова,
чтобы верно
сказать об этом...
страх не отпускает меня
и я боюсь
боюсь написать:
«мы умираем
в нашем теле,
чтобы вернуться»

Лохматая бабочка
в стене света
подобно комару
в капле янтаря
комар гудит
на янтарском языке:
«я фраза, из которой
пропали три слова
верните мне их...
ибо жизнь продолжается
но слова сильнее»

Генеральный холод

вот и нет никого
у распятой реки

Сергей Шаталов родился (1958) и живет в Донецке. Редактор литературно-художественного альманаха «Четыре сантиметра Луны». Режиссер «Театра земной астрономии» и цикла историко-документальных фильмов. Автор трех поэтических сборников, трех книг прозы. Публиковался в журналах и альманахах Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Шорт-лист «Русской премии» (2012).

ты – голодная
трезвая
голая
две замерзших руки
и два голоса
в темноту
в долготу
в неприкаянность...
снег летит и летит
строит радугу
я один
с двумя забытыми картами
ты на солнце стоишь
у врат города
но дорога к тебе
заговорена...

жизнь гонит память
в свою невозвратность
так Ноев Ковчег ползет
сквозь острый пейзаж
моего поражения
и восстанут оттуда
Гондвана
Лемурия
Гиперборея
они созданы из забвения
вещих снов
задолго до того
как откроется источник
прощального взгляда

подобно домовому
в небоскреб
влетела курица
и посреди абсолютно
пустой комнаты
снесла яйцо
казалось оно останется там
до скончания веков
наводя
своей маленькой
неподвижностью
непроходящий страх

окно прохаживается
из одного зрачка
в нечто другое
солнце во мне
повторило твоё множество
исповедуя нас
возвращая тебя
и теперь
стало очевидным:
реальность покоится
на своих отражениях
и мы там повсюду

один лес вошел в другой
и возникла пустыня
возможно, море
необгоняемое
глазами

Любовь
не спасает нас
от нас самих
ее нельзя объяснить
потому что
наши знания
равны предательству
а пророчества –
рекламные щиты
вдоль объездных дорог
но «любовь
не прекращается никогда»
ибо кто осмелится
отпустит ее
в черном кабриолете
когда она движется
в свое сотворение
прочно удерживая
перед глазами
мгновение страшного суда

если бы мои руки
были продолжением кинокамеры
я бы бесконечно
снимал траву
как скатерть-самобранку
чай

мед
и пчелы
прямо из рая
вместо солнца

хотя можно вообще
ничего не снимать
разве что ветер
и следы
неслучившегося снега

непрерывность
незримых событий
укрепляет меня
и я замираю в строфе
чтобы очнуться
в стихотворении

Антон БОТЕВ

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА И УЖАСАЮЩАЯ ГЛУБИНА СМЕРТИ И ВЕЧНОСТИ

Действующие лица (в порядке появления на сцене):

НИКОЛАЙ
ПЕТР
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
КЛИМ
ДЯДЯ ЖОРА

(Комната в хрущевке. Из необходимого – письменный стол и шкаф или полка с книгами. За столом друг напротив друга сидят Петр и Николай. Свет погашен, на столе стоит несколько свечей, нарисована пентаграмма.)

Действие I

НИКОЛАЙ: Чувствуешь холод?

ПЕТР: Нет.

НИКОЛАЙ: А я чувствую.

ПЕТР: Ты вообще чувствительнее меня.

НИКОЛАЙ: Да. Я чувствую чье-то присутствие.

ПЕТР: Сейчас или вообще?

НИКОЛАЙ: Сейчас.

ПЕТР: А я нет.

НИКОЛАЙ: Это была не необходимая реплика. Я и так знаю, что не чувствуешь.

ПЕТР: Откуда?

НИКОЛАЙ: Ты сам только что сказал.

ПЕТР: Я сказал, что не чувствую холода, а не чьего-то присутствия.

НИКОЛАЙ: Дух манифестирует себя посредством холода. Постарайся поменьше говорить без необходимости.

ПЕТР: Почему?

НИКОЛАЙ: Может, его раздражают не необходимые реплики. Есть здесь кто-нибудь усопший, превратившийся в духа?

(Молчание.)

НИКОЛАЙ: Пожалуйста, если есть здесь усопшая душа, покинувшая юдоль земную, прояви себя.

(Два стука.)

Антон Ботев родился в 1979 году в г. Кирове. В «Волге» дебютировал с повестью «Кот Шредингера» (№7-8, 2013), победившей впоследствии в литературной премии «Дебют» в номинации «Фантастика». Предыдущая публикация – «Четвертый слой реальности» (2022, № 5-6).

ПЕТР: Слышал?!

НИКОЛАЙ: Помолчи. Извините, пожалуйста, дорогой дух, это не вам. *(Явно ждет ответа.)*

(Пауза.)

ПЕТР: Почему он молчит?

НИКОЛАЙ: Ты его спугнул. Я говорил, он не любит тупой болтовни.

ПЕТР: Может, он молчит потому, что ждет вопроса?

НИКОЛАЙ: Может быть. Дорогой дух, ты здесь?

(Два стука.)

ПЕТР: Интересно, два стука означают «да» или «нет»? Я думаю, «да».

НИКОЛАЙ: А я думаю, «нет».

ПЕТР: Это было бы тупо.

НИКОЛАЙ: Почему?

ПЕТР: Как дух может сказать, что его нет? Это то же самое, что сказать: «Я лжец». Правдивый человек так не скажет, потому что он не лжец, а лжец так не скажет, потому что он, получается, скажет правду. А такого быть не может потому, что он лжец.

НИКОЛАЙ: А если он ошибается?

ПЕТР: Кто ошибается?

НИКОЛАЙ: Правдивый человек думает, что он лжец, и говорит тем самым правду. То есть субъективно он говорит правду, но объективно он лжет.

ПЕТР: Но если он говорит правду, то он не может считать, что он лжец.

НИКОЛАЙ: Так он ошибается! Или вот, наоборот, лжец думает, что он правдивый человек, но на самом деле он лжец, и говорит: «Я лжец», подразумевая, что на самом деле он правдивый. Субъективно он лжец, и объективно он тоже лжец, а правду он сказал по ошибке.

ПЕТР: Но тем самым он перестает быть...

(Петра прерывают два стука.)

НИКОЛАЙ: Прости нас, дорогой дух. Скажи нам, усопшая душа, два удара обозначают «да» или «нет»?

(Молчание.)

НИКОЛАЙ: Почему он теперь молчит?

ПЕТР: А как он тебе ответит? Он может говорить только «да» или «нет», а ты задал вопрос, на который нельзя ответить ни «да», ни «нет».

НИКОЛАЙ: А мы даже не знаем, что из этого «да», а что «нет».

ПЕТР: Мы знаем.

НИКОЛАЙ: Мы знаем, но не уверены.

ПЕТР: Можно морзянкой.

НИКОЛАЙ: Морзянкой?

(Несколько стуков морзянкой.)

ПЕТР: Ты знаешь азбуку Морзе?

НИКОЛАЙ: Нет.

ПЕТР: И я нет.

НИКОЛАЙ: Так чего ты ее предложил?

ПЕТР: Я думал, ты знаешь.

НИКОЛАЙ: Я что, моряк?

ПЕТР: Нет.

НИКОЛАЙ: Вопрос риторический. Твой ответ не был необходим.

(Пауза.)

НИКОЛАЙ: Дух, ты здесь?

(Два стука.)

НИКОЛАЙ: Два стука это «да»?

(Два стука.)

НИКОЛАЙ: Дух, скажи «да».

(Два стука.)

ПЕТР: Вот видишь! Я говорил, что «да» это два стука.

НИКОЛАЙ: Это не необходимая реплика. Замолчи. Дух, это я не тебе. Скажи «нет».

ПЕТР: Нет.

(Одновременно с его словами доносится три стука.)

НИКОЛАЙ: Я не тебе! Спасибо, дух. Значит, «нет» – это три стука?

(Три стука.)

ПЕТР: Он говорит «нет».

НИКОЛАЙ: «Нет», что «нет» означает три стука? А сколько тогда стуков «нет»?

ПЕТР: Пока мы знаем только, сколько стуков будет «да».

НИКОЛАЙ: Сколько?

ПЕТР: Два.

НИКОЛАЙ: Да, точно. Дух, сколько стуков будет «нет»?

(Три стука.)

ПЕТР: Он постучал три раза.

НИКОЛАЙ: Я слышал, сколько раз он постучал. Ты думаешь, я глухой?

ПЕТР: Что?

НИКОЛАЙ: Ты думаешь, я глухой?

ПЕТР: Что?

НИКОЛАЙ: Я не глухой. Может, он просто так постучал три раза. Три раза может обозначать и «нет», и «три». Обрати внимание, что уже в...

ПЕТР: Но он три раза постучал и на вопрос, будет ли три стука «нет».

НИКОЛАЙ: Может, он просто ошибся. Дух, ты ошибся?

ПЕТР: Так он тебе и признается, если ошибся.

(Два стука.)

НИКОЛАЙ: Видишь! Ошибся.

(Два стука.)

НИКОЛАЙ: В итоге, дух, если ты стучишь два раза, это означает «да», а если стучишь три раза, это означает «нет». Правильно?

ПЕТР: Да.

НИКОЛАЙ: Не тебя спрашивают!

(Два стука.)

НИКОЛАЙ: Скажи «да»!

(Два стука.)

НИКОЛАЙ: Скажи «нет»!

(Три стука.)

НИКОЛАЙ: Скажи «да»!

(Два стука.)

НИКОЛАЙ: Скажи «нет»!

(Три стука.)

НИКОЛАЙ: Скажи «да»!

(Два стука.)

НИКОЛАЙ: Скажи «нет»!

(Три стука.)

ПЕТР: Прости, я тебя перебил.

НИКОЛАЙ: Ты его не перебивал.

ПЕТР: Я перебил ТЕБЯ.

НИКОЛАЙ: Правда, что ли?

ПЕТР: Ты говорил «Обрати внимание, что уже».

НИКОЛАЙ: И все?

ПЕТР: И все.

НИКОЛАЙ: Мне нужен контекст. В каком контексте я это сказал?

ПЕТР: Ты сказал это, когда я сказал, что он постучал три раза.

НИКОЛАЙ: Три раза как «да» или три раза как «три»?

ПЕТР: Не знаю. И так, и так может быть.

НИКОЛАЙ: А, вспомнил! Обрати внимание, что уже в этом примитивном языке мы наблюдаем омонимию.

ПЕТР: Если ты говоришь, что язык примитивный – вдруг дух обидится?

НИКОЛАЙ: Язык примитивный, а дух не примитивный. Сам дух очень сложная и многогранная личность, разумеется. Мы тоже сложнее нашего языка.

ПЕТР: Мы тоже сложные и многогранные личности.

НИКОЛАЙ: Точно. Дух, ты обиделся?

(Два стука и, после короткой паузы, один стук.)

ПЕТР: Сколько раз он постучал?

НИКОЛАЙ: Два.

ПЕТР: Или три.

НИКОЛАЙ: Или три. Дух, сколько раз ты постучал?

(Три стука, в этот раз пауза после первых двух существенно короче.)

НИКОЛАЙ: Опять три.

ПЕТР: «Три» обозначает «нет» или «три»?

НИКОЛАЙ: Конечно, «три»! Как ты себе представляешь разговор? «Дух, сколько раз ты постучал? Нет!»?

ПЕТР: А что такого?

НИКОЛАЙ: Это было бы глупо.

ПЕТР: Может, он просто не хочет говорить.

НИКОЛАЙ: Он бы тогда сказал «Не хочу говорить».

ПЕТР: Он не умеет говорить «Не хочу говорить». Он умеет говорить только «да» и «нет». «Нет» гораздо ближе к «не хочу говорить», чем «да».

НИКОЛАЙ: Дух, ты сказал «не хочу говорить», «нет» или «три»?

(Три стука.)

ПЕТР: Он опять постучал три раза.

НИКОЛАЙ: И что это означает?

ПЕТР: Не знаю.

НИКОЛАЙ: Дух, что это означает?

(Пауза.)

НИКОЛАЙ: Дух, ты здесь?

(Два стука.)

ПЕТР: Он как-то раздраженно стучит. Давай к делу.

НИКОЛАЙ: Приветствую тебя, дорогой дух!

(Два стука.)

ПЕТР: Это он так здоровается, наверно. Опять омонимия.

НИКОЛАЙ: Почему?

ПЕТР: Ну как ты это себе представляешь? «Приветствую тебя, дорогой дух! Да».

НИКОЛАЙ: А что, я так часто делаю.

ПЕТР: Это тупо.

НИКОЛАЙ: Ладно, ладно. Два стука означает «здравствуйте»?

ПЕТР: Наверно.

(Одновременно с репликой Петра доносится один стук.)

НИКОЛАЙ и ПЕТР: Что? Мы не расслышали. Сколько раз ты постучал?

НИКОЛАЙ: Я не тебе, чего встреваешь?

(Одновременно с этим один стук.)

НИКОЛАЙ: Так, теперь молчи. Это я Петру говорю молчать, а ты, многоуважаемый дух, повтори, пожалуйста, сколько раз ты сейчас стукнул. Один?

(Два стука.)

НИКОЛАЙ: Два?

(Три стука.)

НИКОЛАЙ: Просто постучи столько же раз, сколько постучал тогда.

ПЕТР: Ты не сказал когда тогда.

НИКОЛАЙ: Он понял. Ты понял, дух?

(Два стука.)

НИКОЛАЙ: Видишь, он понял. Поумнее тебя будет. Так сколько раз ты тогда постучал?

(Один стук.)

ПЕТР: Я тебе не перебивал, а теперь скажу. Зачем ты назвал ему мое имя?

НИКОЛАЙ: А что?

ПЕТР: Он теперь будет знать мое имя.

НИКОЛАЙ: И что?

ПЕТР: У него будет власть надо мной. Он будет являться ко мне по ночам в кошмарах.

НИКОЛАЙ: Не будет.

ПЕТР: Будет.

НИКОЛАЙ: Не будет.

ПЕТР: Откуда ты знаешь?

НИКОЛАЙ: Будешь являться к Петру в кошмарах?

(Три стука.)

НИКОЛАЙ: Видишь, не будет, успокойся.

ПЕТР: Ну раз не будет, я думаю, и ты не обидишься, если я скажу ему твое имя.

НИКОЛАЙ: Зачем это?

ПЕТР: Ну ты же мое сказал.

НИКОЛАЙ: Это лишнее.

ПЕТР: Так несправедливо.

НИКОЛАЙ: Справедливо.

ПЕТР: Несправедливо.

НИКОЛАЙ: Справедливо.

ПЕТР: Его зовут Николай!

НИКОЛАЙ: Ладно, говори, сколько хочешь. Он все равно тебя не слышит. С духом может общаться только медиум.

ПЕТР: Спроси его, правда это или нет.

НИКОЛАЙ: Это правда?

(Два стука.)

ПЕТР *(кричит)*: Его зовут Николай! Его зовут Николай! Его зовут Николай! Его зовут Николай! Его зовут Николай! Его зовут Николай! Его зовут Николай! Его зовут Николай!

НИКОЛАЙ: Успокойся уже.

ПЕТР: Нет, не успокоюсь! Его зовут Николай! Его зовут Николай! Нет, не успокоюсь! Его зовут Николай! Его зовут Николай!

НИКОЛАЙ: Ладно, давай к делу.

ПЕТР *(мгновенно становится серьезным)*: Давай.

НИКОЛАЙ: Дух, ты здесь?

(Два стука.)

ПЕТР: Черт, я забыл.

НИКОЛАЙ: Что ты забыл?

ПЕТР: Два стука это «да», а три «нет», или наоборот?

НИКОЛАЙ: Вроде два – «да», три – «нет». Но там один раз был вообще один стук. Что он означает?

ПЕТР: Не знаю.

НИКОЛАЙ: Он означает «не знаю», или это ты не знаешь?

ПЕТР: Не знаю.

НИКОЛАЙ: Но ты вообще помнишь, о чем шла речь?

ПЕТР *(стучит три раза по столу)*: Нет.

НИКОЛАЙ: Зачем ты стучишь по столу?

ПЕТР *(стучит один раз по столу)*: Не знаю.

НИКОЛАЙ: Ты Петр?

ПЕТР *(стучит три раза по столу)*: Да.

НИКОЛАЙ: Кажется, я понял.

ПЕТР: Что ты понял?

НИКОЛАЙ: Почему ты все время стучишь по столу.

ПЕТР: Почему?

НИКОЛАЙ: Дух узнал твое имя. Теперь он вселился в твое тело. И стучит тобой за себя.

(Петр два раза стучит по столу.)

ПЕТР: Но я же могу говорить за себя! Я осознаю, что я Петр.

НИКОЛАЙ: А ты можешь встать, например?

ПЕТР *(в ужасе)*: Не могу.

НИКОЛАЙ: Ну вот видишь. Возможно, он не может полностью тобой овладеть, а возможно, это просто вопрос времени.

ПЕТР: Мне страшно.

НИКОЛАЙ: Естественно. Знаешь, как мне страшно!

ПЕТР: Я хочу встать и бегать от ужаса, но я не могу!

НИКОЛАЙ: А вот я, пожалуй, убегу. Ладно, все, пока. *(Собирает бумажки со стола.)*

ПЕТР: погоди, не уходи!

НИКОЛАЙ: А вдруг ты меня решишь задушить или еще что?

ПЕТР: Спроси его!

НИКОЛАЙ: Дух, ты будешь нам причинять вред?

(Петр в ужасе смотрит, как его рука три раза стучит по столу.)

НИКОЛАЙ: Я забыл, три раза обозначает «да» или «нет»?

ПЕТР: «Нет»! Три раза обозначает «нет»!

НИКОЛАЙ: Точно?

ПЕТР *(два раза стучит по столу)*: Да!

НИКОЛАЙ: Обещаешь не причинять нам вреда?

(Петр два раза стучит по столу.)

НИКОЛАЙ: Клянешься бездной ледяной, Геенной огненной, самим Сатаной и всеми его ангелами ада, что не причинишь нам, Хавронкину Петру Сергеевичу, дата и место рождения девятнадцатого ноября тысяча девятьсот девяносто шестого года, город Киров, и Козлову Антону Николаевичу, дата и место рождения девятого мая тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, город Киров, никакого вреда?

(Петр два раза стучит по столу.)

НИКОЛАЙ: Клянешься?

(Петр два раза стучит по столу.)

НИКОЛАЙ: Поклянись в третий раз!

(Петр два раза стучит по столу.)

НИКОЛАЙ: Он клянется.

ПЕТР: Зачем ты его обманул? Ты же не Козлов.

НИКОЛАЙ: Я знаю, что я не Козлов. Ты debil, что ли? Конечно, чтобы он не овладел мной.

ПЕТР: Но ты же заставил его поклясться, что он не причинит тебе вреда?

НИКОЛАЙ *(самодовольно)*: Да. Видишь, и вреда не причинит, и не овладеет. Одни плюсы, никаких минусов.

ПЕТР: Это он Козлову никакого вреда не причинит, а не тебе. Ты для него никто и звать тебя никак.

НИКОЛАЙ: Зато он им и овладеет. Смерть физическая ничто по сравнению со смертью духовной.

ПЕТР: Ты веришь в бога?

НИКОЛАЙ: Это не необходимая информация.

ПЕТР: Может, позвонить Козлову, узнать, овладел ли?

НИКОЛАЙ: Наверно, не стоит.

ПЕТР: Почему?

НИКОЛАЙ: Он пока владеет тобой. Я не хочу выяснять, такой ли уж он могущественный, что овладел сразу двумя.

ПЕТР: А я хочу.

НИКОЛАЙ: Так сам и позвони!

ПЕТР: Я не могу, меня тело не слушается.

НИКОЛАЙ: А я не буду.

ПЕТР: Позвони.

НИКОЛАЙ: Не буду. Тем более, это не тот Козлов. У нашего день рождения другой.

ПЕТР: А он точно не причинит нам вреда?

НИКОЛАЙ: Ну он же поклялся.

ПЕТР: Не знаю, насколько ему можно верить.

НИКОЛАЙ: Дух, ты здесь?

(Петр два раза стучит по столу.)

НИКОЛАЙ: Насколько тебе можно верить?

(Петр в удивлении смотрит, как его рука молотит по столу.)

НИКОЛАЙ: Это значит, что тебе можно супер-верить?

(Петр стучит по столу последние два раза.)

ПЕТР: Рука болит.

НИКОЛАЙ: Сочувствую. Но что теперь, не спрашивать его, что ли?

ПЕТР: Ну, спрашивай тогда, покончим с этим и дело с концом.

НИКОЛАЙ: Дух, ты можешь открыть нам великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности?

(Петр два раза стучит по столу.)

НИКОЛАЙ: Отлично. Открывай же!

(Раздается три стука, но это не Петр.)

НИКОЛАЙ: Ты не будешь открывать нам великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности?

(Три стука.)

НИКОЛАЙ: Но ты же только что пообещал нам, что откроешь?

(Петр два раза стучит по столу.)

НИКОЛАЙ: А почему не будешь открывать?

(Три стука.)

ПЕТР: Ты долго будешь стоять?

НИКОЛАЙ: В смысле?

ПЕТР: Пиццу принесли. Иди возьми пиццу, идиот.

НИКОЛАЙ *(удаляясь за пиццей)*: Сам идиот.

ПЕТР: Дебил.

(Пока Николая нет, Петр встает из-за стола, делает разнообразные нелепые движения, например, пытается пустить волну, как в брейк-дансе, подпрыгивает, трясется и т.д., бормочет и напевает.)

ПЕТР: А вот трэк «земля внизу»: надо ухо к земле приложить, только не напрягайся, сначала длинные гудки пойдут, потом кто-то спрашивает про зайца, потом чей-то плач и мама говорит: «Ну что же ты продолжай продолжай», «любит до страсти свой низменный край», детский голос читает стишок, звонит телефон, вода из бачка льется, стишок продолжается, сыплется порошок, кто-то на заднем плане смеется, ничего ужасного вроде бы нет и не намечается, дед Мазай цепляет к лодке бревно, если прислушаться, голос уже не тот, но стишок продолжается, интонация не меняется, струя воды разбивается о дно раковины, дребезжит холодильник, мама моет посуду, вода течет, издает характерные звуки будильник, а стишок продолжается, начинает строчку Ваня, а заканчивает Таня, между ними нет разрывов, тембр меняется бесшовно, равномерно, непрерывно, слышен шума ветер ровный, голос мамы терпеливый: «ну что же ты что же ты продолжай», стишок продолжается: «ладно, любуйся, а нам не мешай», стишок продолжается, трэк «земля внизу»: обычные бытовые звуки, закипает чайник, льется в чашку кипятка, мама встряхивает пододеяльник, папа опустошает сливной бачок, продолжается стишок, разогревается паяльник, ничего страшного, ничего страшного нет, ничего страшного, ничего страшного нет.

НИКОЛАЙ: Чего это ты поешь?

ПЕТР: Я открываю тебе великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности, дебил.

НИКОЛАЙ: Сам дебил.

ПЕТР: Идиот.

НИКОЛАЙ: Ну хватит ругаться.

ПЕТР: Я таких тупоумных людей в жизни не видал. И ты, и друган твой.

НИКОЛАЙ: Какой друган мой?

ПЕТР: Ты не понял, что ли? Дебил.

НИКОЛАЙ: Нет.

ПЕТР: Друган твой Хавронкин Петр Сергеевич, девятнадцатого ноября тысяча девятьсот семьдесят шестого года, город Киров, третий роддом. «Друг мой, Петька!» – знаешь, такой фильм был?

НИКОЛАЙ: Колька.

ПЕТР: Что Колька?

НИКОЛАЙ: «Друг мой, Колька!»

ПЕТР: А, ну да.

НИКОЛАЙ: Так ты и есть Петька.

ПЕТР: Во дебил! Я дух, который вы со своим Петькой вызывали.

НИКОЛАЙ: Ты им овладел?

ПЕТР: Да.

НИКОЛАЙ: А чего тогда не стучишь два раза?

ПЕТР: Зачем?

НИКОЛАЙ: Два раза означает «да», так ведь, кажется?

ПЕТР: Да.

НИКОЛАЙ: Опять не стучишь. Как мне понять, что ты говоришь «да»?

ПЕТР: Зачем? Я просто говорю «да», ты меня, кажется, прекрасно слышишь.

НИКОЛАЙ: То есть мы теперь без стука будем?

ПЕТР: Да.

НИКОЛАЙ: Может, это мне стучать?

ПЕТР: Зачем?

НИКОЛАЙ: Ну, если мне надо будет сказать «да» или «нет». Только надо условиться, сколько стуков что будет означать.

ПЕТР: Я тебя тоже прекрасно понимаю.

НИКОЛАЙ: Правда?

(Петр стучит два раза по столу.)

ПЕТР: Так понятнее?

НИКОЛАЙ: А если пиццу принесут?

ПЕТР: Принесли ведь уже?

НИКОЛАЙ: Это соседям. Но я заказал и нам заодно.

ПЕТР: Если принесут, откроешь.

НИКОЛАЙ: А где Петр?

ПЕТР: Зависит от того, в каком смысле спрашиваешь. Вот он, стоит перед тобой.

НИКОЛАЙ: Ну я в другом смысле, конечно. Вот вы говорите со мной, производите какие-то смыслы.

ПЕТР: Не какие-то, а вполне определенные смыслы. Я фабрика по производству вполне определенных смыслов.

НИКОЛАЙ: Ладно. Вы производите вполне определенные смыслы, которые озвучиваете устами Петра. Где в это время находится сознание Петра, его...

ПЕТР: Душа?

НИКОЛАЙ: Ну примерно. Я не силен в теологии, насколько душа тождественна сознанию...

ПЕТР: Да ты ни в чем не силен, debil. И его душа, и его сознание спят еще более глубоким сном, чем обычно. Для него сейчас нет времени в твоём понимании. Или, скорей, оно остановилось. Так что когда я с отвращением покину это тело, он очнется в полной уверенности, что ты только что спросил меня: «А почему не будешь открывать?»

НИКОЛАЙ: Что открывать?

ПЕТР: Великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности.

НИКОЛАЙ: А почему не будете, правда?

ПЕТР: Потому что ты debil.

НИКОЛАЙ: И как это нет времени, когда оно есть?

ПЕТР: Долго объяснять.

НИКОЛАЙ: Может, вы все-таки ошиблись?

ПЕТР: В смысле?

НИКОЛАЙ: Ну, что у него нет времени. А на самом деле у него есть время?

ПЕТР: Как ты себе представляешь ответ на свой вопрос? Даже если я вдруг ошибаюсь, некий Антон Николаевич Козлов, дата и место рождения девятого мая тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, город Киров, четвертый роддом, – этот debil Козлов меня спрашивает, не ошибаюсь ли я, и я такой: «О, точно, я ошибаюсь»?

НИКОЛАЙ: Я не debil.

(Пауза.)

НИКОЛАЙ: Все понятно, кроме одного. Как вы докажете, что вы это дух, а не Петр?

ПЕТР: Ну задай мне вопрос, ответа на который он точно не знает.

НИКОЛАЙ: Он все знает. Он ходячая энциклопедия.

ПЕТР: Такого не бывает.

НИКОЛАЙ: Ну хорошо. Какая высота Фудзиямы?

ПЕТР: Чего?

НИКОЛАЙ: Фудзиямы.

ПЕТР: Сейчас... Три тысячи семьсот семьдесят шесть метров.

НИКОЛАЙ: Правильно. А глубина Марианской впадины?

ПЕТР: Десять тысяч девятьсот девяносто четыре метра.

НИКОЛАЙ: Правильно. Только плюс-минус сорок метров.

ПЕТР: Ты не понимаешь. Я ТОЧНО знаю.

НИКОЛАЙ: Хорошо. Длина Камы от истока до устья?

ПЕТР: Тысяча восемьсот пять километров, до постройки Куйбышевского водохранилища была две тысячи тридцать километров. Принимает семьдесят четыре тысячи семьсот восемнадцать притоков, площадь водосборного бассейна – более пятисот тысяч квадратных километров, уклон реки по состоянию на тысяча девятьсот пятьдесят второй год – ноль одиннадцать метров на километр.

НИКОЛАЙ: Тут было много не необходимой информации.

ПЕТР: Какой?

НИКОЛАЙ: Ну, я спрашивал только о длине, а не о количестве притоков и так далее.

ПЕТР: Зато ты теперь все знаешь о количестве притоков Камы.

НИКОЛАЙ: Ну ладно. Теперь я точно вижу, что ты Петр.

ПЕТР: Почему?

НИКОЛАЙ: Потому что только он все это знает. И потому что он всегда выдает много не необходимой информации.

ПЕТР: Ты дебил, что ли? Элементарная же логическая ошибка. Спроси то, чего он не знает.

НИКОЛАЙ: То есть ты, Петр, не знаешь?

ПЕТР: Я-то как раз много чего знаю, чего твой Петр не знает.

НИКОЛАЙ: Не могу придумать.

ПЕТР: Конечно. Для того, чтоб о чем-то спросить, ты должен для начала иметь об этом представление, а ты не имеешь ни о чем представления, потому что ты тупой.

НИКОЛАЙ: Я...

ПЕТР: Ты не можешь себе даже представить, что происходит во вселенной, в иных измерениях, с иными, не виданными тобой сущностями, ты живешь в своем убогом мире, в своем коконе, с детства заучил несколько истин и в них веруешь, не можешь помыслить никуда в сторону. Ты закоснел в своем невежестве... Ты знаешь, что значит закоснел в невежестве? Это значит, что твои нейронные связи настолько постоянны, что от них в мозгу в буквальном смысле образовались извилины, по которым и бегают электричество. Ты спишь! Нет, ты не существуешь!

НИКОЛАЙ: Петя...

ПЕТР: Ты идиот! Сколько раз тебе говорить, что я не Петя! Поставь новую мелодию хотя бы на телефоне. Переставь книги корешками вверх. Вставай в другое время, ложись в другое время, пробуй другую еду. Ты протоптал в снегу тропку и ходишь по ней, а на звезды взглянуть не смеешь, метафору, впрочем, все равно не поймешь.

НИКОЛАЙ: Так ты не Петр, что ли? *(подходит к книжному шкафу и начинает переставлять книги вверх корешками. Петр в ажитации ходит по комнате).*

ПЕТР: И этому дебилу я хотел открыть великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности? Он думает, что он уникален. Да, конечно, он уникален! В своем идиотизме. Да я сам, похоже, дебилом стал, раз согласился *(оглядывает свою рубашку и штаны)*. И во что я одет?

НИКОЛАЙ: А во что вы одеты?

ПЕТР: Разве можно вот это красное с этим зеленым? Вот эти вот клеточки? Вот скажи мне, дебил, я похож на клубнику?

НИКОЛАЙ: Хватит меня называть дебилом. И не надо мне проповеди читать.

ПЕТР: Похож, тварь?

НИКОЛАЙ: Не кричите на меня. Я не глухой.

ПЕТР: Похож? Или на помидор! Я не Петя!

НИКОЛАЙ: Нет.

ПЕТР: А почему тогда я в этом красном и зеленом? Нет, вы как хотите, но я вас просвещать не нанимался. Да чтоб я сдох, если буду вам помогать, адью!

НИКОЛАЙ: Мне неприятно, что вы так говорите. Не надо волноваться. Вы и так сдохли.

(Три стука.)

ПЕТР: Он говорит «нет».

НИКОЛАЙ: Кто говорит «нет»?

ПЕТР: Я могу сам ходить, ура! Он больше не стучит моей рукой!

(Три стука.)

ПЕТР: Во, видишь! А чего это ты книги переставляешь? Давай помогу! *(Радостный от вновь обретенной свободы с энтузиазмом переставляет книги.)*

НИКОЛАЙ: Петр, ты похож на клубнику в этом своем красном и зеленом.

(Три стука.)

ПЕТР *(в прекрасном настроении)*: Это не необходимое утверждение. И, как видишь, дух с тобой не согласен.

НИКОЛАЙ: Это не дух, это пиццу принесли. Открывай давай, debil.

Действие II

(Петр возвращается, за ним социальный работник, одетый в одежду с символикой переписи населения – шарфик, бейсболка, значок)

ПЕТР: Это не пицца.

НИКОЛАЙ: А что это?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК *(с энтузиазмом)*: Перепись населения! Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы.

НИКОЛАЙ *(обескураженно)*: Ничего, ничего.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Это очень полезное дело для России и для всего мира.

НИКОЛАЙ: Конечно, конечно.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Это важнейшее мероприятие общенационального значения, итоги которого повлияют на будущее нашей страны, каждого из ее жителей.

НИКОЛАЙ: Понятно.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Ну, давайте начнем.

НИКОЛАЙ: Что, уже начнем?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: А чего тянуть?

НИКОЛАЙ: Это неожиданно, я не готов.

ПЕТР: Надо было быть готовым.

НИКОЛАЙ: Почему?

ПЕТР: Все об этом знают. Долг каждого гражданина поучаствовать в переписи.

НИКОЛАЙ: А ты участвовал?

ПЕТР: Конечно.

НИКОЛАЙ: Ладно, давайте.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Приступим. Имя, фамилия?

НИКОЛАЙ: Разве участие не анонимное?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Анонимное.

НИКОЛАЙ: Тогда следующий вопрос.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Но лучше отвечать. Мы не будем спрашивать вас о вашем доходе и так далее.

НИКОЛАЙ: Хорошо. Георгий Хвостовой.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Национальность?

НИКОЛАЙ: Русский.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Год и место рождения?

НИКОЛАЙ: Тысяча девятьсот двадцать восьмой, город Вятка.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: В смысле Киров?

НИКОЛАЙ: Он тогда еще Вяткой назывался.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Вероисповедание?

НИКОЛАЙ: Это не необходимая информация.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Населенье Суринама?

НИКОЛАЙ: Не знаю. Миллионов шесть?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: На самом деле, как ни удивительно, раз в десять меньше.

ПЕТР: Пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот девяносто.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Количество притоков Камы?

НИКОЛАЙ: Сто.

ПЕТР: Семьдесят четыре тысячи семьсот восемнадцать.

НИКОЛАЙ: А, точно.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Сколько рук у бога Рамы?

НИКОЛАЙ: Вот теперь точно сто.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Где находится Панама?

НИКОЛАЙ: В Латинской Америке. Но я не понимаю, какое это имеет отношение.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Сколько весит далай-лама?

НИКОЛАЙ: Не знаю.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Почему вы так упрямы?

НИКОЛАЙ: Это вы в рамках переписи спрашиваете или так, отвлеченно?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: В смысле?

НИКОЛАЙ: Это вопрос из переписи населения или вы сами думаете, что я упрям, и интересуетесь, почему?

ПЕТР: Зачем ты вообще отвечаешь на дебильные вопросы?

НИКОЛАЙ: Чтобы вырастить новые нейронные связи.

ПЕТР: Кстати, ты не спросил у него удостоверения.

НИКОЛАЙ: Зачем?

ПЕТР: Может, это фальшивый социальный работник.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Я настоящий!

НИКОЛАЙ: Он настоящий.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Я настоящий!

НИКОЛАЙ: Он настоящий.

ПЕТР: Все-таки, покажите ваше удостоверение.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Пусть он попросит. Вас я слушаться не буду.

ПЕТР: Почему?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Я же не с вами провожу перепись населения.

НИКОЛАЙ: Ну ладно, покажите.

(Социальный работник показывает свое удостоверение.)

НИКОЛАЙ: И паспорт.

(Социальный работник показывает свой паспорт.)

НИКОЛАЙ: Подождите.

(Выходит из комнаты и тут же возвращается с пистолетом. Наставляет пистолет на социального работника.)

НИКОЛАЙ: Руки вверх!

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Что случилось?

НИКОЛАЙ: Руки вверх, я сказал!

(Социальный работник поднимает руки вверх.)

ПЕТР: Что случилось?

НИКОЛАЙ: Посмотри на его удостоверение.

ПЕТР: Покажите удостоверение.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Не могу.

ПЕТР: Почему?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Руки заняты.

НИКОЛАЙ: Ну подойди и возьми сам.

ПЕТР: Я не хочу его касаться.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Он не хочет меня касаться.

НИКОЛАЙ: Тогда поддержи пистолет, я сам.

ПЕТР: Я не хочу касаться пистолета.

НИКОЛАЙ: Почему?

ПЕТР: Я пацифист.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: А вы указали этот факт, когда проходили перепись?

ПЕТР: Нет.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Это очень плохо.

НИКОЛАЙ: Ладно. Тогда принеси веревку.

ПЕТР: Какую веревку?

НИКОЛАЙ: Ну ту самую, для шибари. Лежит в шкафу.

ПЕТР: Зачем?

НИКОЛАЙ: Привяжем его. Привязывать тебе твой пацифизм позволяет?

ПЕТР: Привязывать позволяет. Ты же знаешь.

НИКОЛАЙ: Ну и неси.

(Петр роется в шкафу.)

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Что случилось?

НИКОЛАЙ: Ты сам знаешь, что случилось.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Не знаю.

НИКОЛАЙ: Знаешь, знаешь. Значит, ты у нас получаешься Козлов Антон Николаевич, так? Дата и место рождения девятого мая тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, город Киров?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Да.

НИКОЛАЙ: А может быть, ты дух?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК *(в ужасе)*: Нет! Я не дух! Я просто зашел провести перепись населения!

(Во время этого разговора Петр находит в шкафу веревку для шибари и приносит ее. Услышав имя социального работника, он понимает, что имеет в виду Николай, и начинает привязывать его к стулу.)

НИКОЛАЙ: Крепче, крепче привязывай! Теперь понимаешь, что написано у него в паспорте?

ПЕТР: Конечно, теперь понимаю.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Я буду кричать!

НИКОЛАЙ: Спасибо, что предупредил.

ДРАМАТУРГИЯ

(Вставляет ему в рот кляп.)

ПЕТР: Ты чувствуешь, как похолодало?

НИКОЛАЙ: Правила такие. Мы тебя связали, но это для твоей же пользы. Чтоб ты не взбесился и нас не убил. Будем задавать тебе вопросы. Если ответ «да» – стучишь два раза, если «нет» – три раза, если «не знаю» – один раз. Понятно тебе?

(Социальный работник кивает.)

НИКОЛАЙ: Я сказал стучать, а не кивать!

(Социальный работник пучит глаза.)

ПЕТР: Он не может стучать.

НИКОЛАЙ: Почему?

ПЕТР: Потому что у него руки связаны.

(Социальный работник кивает.)

НИКОЛАЙ: Ладно, одну руку освободим. Но немножко! Только чтобы стучать. Понятно?

(Социальный работник кивает.)

НИКОЛАЙ: Я кому сказал стучать!

(Социальный работник стучит три раза.)

ПЕТР: Он постучал три раза.

НИКОЛАЙ: То есть он отвечает «нет»?

ПЕТР: Да.

НИКОЛАЙ: На какой вопрос?

ПЕТР: Понятно ли ему?

НИКОЛАЙ: Ему что, непонятно?

ПЕТР: Не знаю. У него спроси.

НИКОЛАЙ: Тебе понятно или непонятно?

(Социальный работник стучит несколько раз. Николай вытаскивает у него изо рта кляп.)

НИКОЛАЙ: Ну и тупой же ты! Два раза «да», три раза «нет», один раз «не знаю».

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Я забыл.

НИКОЛАЙ: Что ты забыл?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Сколько раз «да», а сколько раз «нет».

НИКОЛАЙ: Два раза «да», три раза «нет», один раз «не знаю».

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: А если будет задан вопрос, не предполагающий ответа «да», «нет» или «не знаю»?

НИКОЛАЙ: Например?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Ну, например, «населенье Фудзиямы».

НИКОЛАЙ: Тогда стучи четыре раза, и если мы решим, что ты прав, мы вытащим кляп, скажешь, что нужно. Понятно?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Да.

ДРАМАТУРГИЯ

(Бьет его по лицу.)

НИКОЛАЙ: Стучать надо. Два раза!

(Социальный работник стучит два раза. Николай собирается вставить ему кляп, и тот стучит четыре раза.)

НИКОЛАЙ: Ну что еще? Я ведь тебя ни о чем не спрашивал.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: А если вы меня спросите, например, сколько ног у волка? Или сколько времен года у Вивальди? Или сколько четвертей в единице?

НИКОЛАЙ: И что?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Я могу постучать четыре раза, и тогда вы подумаете, что я не знаю ответа. А я буду иметь в виду ответ «четыре», и это будет правильный ответ.

НИКОЛАЙ: И что?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Ну и как вы тогда поймете, я отвечаю «четыре» или я отвечаю, что я не знаю?

ПЕТР: Опять чертова омонимия!

НИКОЛАЙ: Проклятая омонимия!

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Воот.

НИКОЛАЙ *(снова засовывая ему кляп)*: Ничего. Разберемся. Теперь, значит, вопросы. Значит, ты у нас социальный работник, проводишь перепись населения, так?

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: И тебе нужно было опросить меня, как меня зовут, и все такое, так?

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: И кто же тебя послал?

(Социальный работник стучит четыре раза. Николай вынимает у него кляп.)

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Меня начальство послало!

НИКОЛАЙ: Да уж понятно, что начальство. И именно ко мне. Понятненько... *(Снова вставляет ему кляп.)*

НИКОЛАЙ: Хорошо. А сам ты перепись населения пройти успел?

(Социальный работник делает сожалеющее лицо и стучит три раза.)

НИКОЛАЙ: Ну вот мы сейчас с тобой ее и проведем. Имя, фамилия?

ПЕТР: Разве участие не анонимное?

НИКОЛАЙ: Анонимное.

ПЕТР: Впрочем, мы и так знаем.

НИКОЛАЙ: Ну да.

ПЕТР: Антон Козлов.

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Точно. Национальность?

ПЕТР: Русский, наверно.

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Год рождения?

ПЕТР: Да мы знаем. Девятого мая тысяча девятьсот восемьдесят пятого. Правильно?

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Вероисповедание?

(Социальный работник стучит один раз.)

НИКОЛАЙ: Населенье Фудзиямы?

(Социальный работник стучит один раз.)

НИКОЛАЙ: Количество притоков Камы?

(Социальный работник стучит один раз.)

ПЕТР: Семьдесят четыре тысячи семьсот восемнадцать.

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Сколько рук у бога Рамы?

(Социальный работник стучит один раз.)

НИКОЛАЙ: Где находится Панама?

(Социальный работник стучит один раз.)

НИКОЛАЙ: Сколько весит далай-лама?

(Социальный работник стучит один раз.)

НИКОЛАЙ: Чего там еще было?

ПЕТР: Почему вы так упрямы?

НИКОЛАЙ: Почему вы так упрямы?

(Социальный работник стучит один раз.)

ПЕТР: Вроде все.

НИКОЛАЙ: Давай повторим, неплохо вышло.

(Дальше происходит следующее: ритмически Николай произносит фразы «Населенье Фудзиямы», «Количество притоков Камы», «Сколько рук у бога Рамы», «Где находится Панама», «Сколько весит далай-лама», «Почему вы так упрямы», а социальный работник как можно громче стучит после каждой из них. Петр при этом, возможно, непроизвольно подтанцовывает.)

НИКОЛАЙ: Ладно. Хочешь, чтоб мы убрали кляп? И вообще тебя освободили?

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Точно?

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Мы зададим тебе один вопрос, и ты на него ответишь.

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: И после этого мы тебя отпускаем, ты уходишь и не причиняешь нам никакого вреда.

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Никогда.

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Клянешься?

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Клянешься?

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Клянешься в третий раз Вельзевулом и всеми его дьяволами ада?

(Социальный работник стучит два раза. Николай вынимает у него клеп из рта.)

НИКОЛАЙ: Смотри, ты поклялся Вельзевулом и всеми его дьяволами ада!

(Социальный работник стучит два раза.)

НИКОЛАЙ: Ты зачем стучишь? Мы же тебе рот освободили.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Так, на всякий случай.

НИКОЛАЙ: Итак, наш вопрос такой.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Вы же уже спросили.

НИКОЛАЙ: Что я спросил?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Вы меня спросили «Ты зачем стучишь?»

НИКОЛАЙ: Это был риторический вопрос. Будешь умничать, снова получишь клеп.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Ясно. Я весь ухо.

НИКОЛАЙ: В смысле – ты весь ухо?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Это значит, я весь внимание.

НИКОЛАЙ: Итак, наш вопрос следующий: какова же великая тайна и ужасающая глубина смерти и вечности?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Че?

НИКОЛАЙ: Какова великая тайна и ужасающая глубина смерти и вечности?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Не знаю.

НИКОЛАЙ: И это все?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Что все?

НИКОЛАЙ: Ответ на наш вопрос – «не знаю»?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Не знаю.

НИКОЛАЙ: «Не знаю» – это ответ на наш вопрос, или ты просто не знаешь?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Смотря на какой вопрос.

НИКОЛАЙ: На вопрос «Ответ на наш вопрос – “не знаю”?»

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Не знаю. В смысле, просто не знаю, не ответ на вопрос.

НИКОЛАЙ: И, значит, ты не можешь нам сообщить великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Да.

НИКОЛАЙ: «Да» это можешь или не можешь?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Не могу.

НИКОЛАЙ: Ну так это можно было ответить и без кляпа. Стукнуть один раз и все. Один раз означает «не знаю», ты же помнишь?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Да.

НИКОЛАЙ: Зачем же мы вынимали у тебя кляп?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Чтоб я ответил на ваш вопрос.

НИКОЛАЙ: Но ты не ответил.

ПЕТР: Может, это вообще не дух?

НИКОЛАЙ: Как это не дух? А кто же тогда дух?

ПЕТР: А я знаю, кто дух!

НИКОЛАЙ: Кто?

ПЕТР: Георгий Хвостовой, тысяча девятьсот двадцать восьмого года рождения, город Вятка.

НИКОЛАЙ: О, дядя Жора, точно!

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: А разве это не вы Георгий Хвостовой, тысяча девятьсот двадцать восьмого года рождения, город Вятка?

(Николай ставит социальному работнику кляп.)

ПЕТР: Что за дядя Жора?

НИКОЛАЙ: Сосед наш.

(Раздается три стука.)

НИКОЛАЙ: А вот и он. Пойду открою. Ты гений!

(Берет пистолет и идет открывать дверь. Возвращается очень скоро с огромной пиццей в руках.)

НИКОЛАЙ: Не, это пиццу принесли.

ПЕТР: Странно, что не дядя Жора.

НИКОЛАЙ: Подождем еще немного.

ПЕТР: С этим что делать будем?

НИКОЛАЙ: Не отпускать же его. Пусть сидит. Хочешь пиццу?

(Социальный работник стучит два раза. Николай вынимает у него кляп.)

НИКОЛАЙ: Ну смотри, будешь болтать, снова кляп получишь. Понял?

(Социальный работник стучит два раза. Николай дает ему пиццу, тот держит ее свободной рукой и начинает есть. Николай с Петром тоже едят.)

ПЕТР: Ну где же он?

НИКОЛАЙ: Сейчас доедим, и если не появится, сам к нему схожу.

(Доедают пиццу.)

НИКОЛАЙ: Ладно. Пошел я.

(Николай берет пистолет и уходит. Однако вскоре возвращается.)

НИКОЛАЙ: Я тут подумал. Знаешь что?

ПЕТР: Что?

НИКОЛАЙ: Я тут подумал... И спросил себя...

ПЕТР: Что ты подумал и спросил себя?

НИКОЛАЙ: Руки вверх!

(Петр поднимает руки вверх.)

НИКОЛАЙ: Я спросил себя: а что, если Петр – это не Петр? Что, если Петр – это дух?

(Пауза.)

НИКОЛАЙ: А? Что скажешь?

ПЕТР: В смысле, я – дух?

НИКОЛАЙ: Ну да.

ПЕТР: Я не дух.

НИКОЛАЙ: Докажи.

ПЕТР: Дай мне подумать.

НИКОЛАЙ: Думай.

ПЕТР: А почему я должен быть духом?

НИКОЛАЙ: Ну в тебя вселялся дух.

ПЕТР: Не помню.

НИКОЛАЙ: Да, он так и говорил.

ПЕТР: Кто он?

НИКОЛАЙ: Дух. В смысле, ты.

ПЕТР: То есть я был духом?

НИКОЛАЙ: Да.

ПЕТР: А почему я этого не помню?

НИКОЛАЙ: Потому, что для тебя не существовало времени.

ПЕТР: Это тоже я тебе сказал?

НИКОЛАЙ: Ну, да.

ПЕТР: А почему он в меня вселился, он не сказал?

НИКОЛАЙ: Ну, ясно почему вселился!

ПЕТР: Почему?

НИКОЛАЙ: Потому что он узнал твоё имя!

ПЕТР: А в тебя он не вселился, соответственно...

НИКОЛАЙ: Потому что он не знал моего имени!

ПЕТР: Тогда я придумал!

НИКОЛАЙ: Что ты придумал?

ПЕТР: Почему я не дух.

НИКОЛАЙ: Ну и почему ты не дух?

ПЕТР: Потому что я-то твое имя знаю!

НИКОЛАЙ: И чего?

ПЕТР: Если бы я был дух, я бы давно в тебя вселился.

НИКОЛАЙ: Да, точно.

ПЕТР: Теперь можно опустить руки?

НИКОЛАЙ: Да. Хотя нет! Скажи, как меня зовут?

ПЕТР: Да ты и сам знаешь.

НИКОЛАЙ: Я-то знаю, но вдруг ты не знаешь.

ПЕТР: Я-то знаю... Но ты уверен, что хочешь, чтобы я при нем говорил? *(показывает на социального работника, который с большим интересом их слушает).*

НИКОЛАЙ: Да, ты прав. Пойдем. Выйдем, там скажешь.

(Выходят и через десять секунд возвращаются.)

ПЕТР: Теперь можно опустить?

(Николай задумчиво кивает, Петр опускает руки.)

НИКОЛАЙ: Ладно. Я пойду-таки, схожу, приведу настоящего духа.

(Николай уходит.)

ПЕТР: Мне надо все это осмыслить.

(Николай возвращается.)

НИКОЛАЙ: Я тут снова подумал. Знаешь что?

ПЕТР: Ну что?

НИКОЛАЙ: Я тут снова подумал... И спросил себя...

ПЕТР: Что ты подумал и спросил себя?

НИКОЛАЙ: Я спросил себя, почему дух не возвращается в тебя? Ведь он же знает твое имя.

ПЕТР: А зачем бы ему в меня возвращаться?

НИКОЛАЙ: Ну как зачем. Я же тебе доверяю. Ведь ты же мне друг?

ПЕТР: Друг.

НИКОЛАЙ: Ну и он, будучи тобой, может этим воспользоваться и, например, вывести что-нибудь у меня.

ПЕТР: Что вывести?

НИКОЛАЙ: Ну, например, как меня зовут.

ПЕТР: Да ведь я и так знаю, как тебя зовут.

НИКОЛАЙ: А, ну да. Ладно, я пошел.

ПЕТР: Иди.

(Уходит и снова возвращается.)

НИКОЛАЙ: Я тут снова подумал...

ПЕТР: Да-да, что ты подумал и спросил себя?

НИКОЛАЙ: Он все равно бы мог в тебя переселиться, мало ли.

ПЕТР: Может, ему что-то мешает?

НИКОЛАЙ: Может. Я тут подумал вот что: а ты свое имя не менял?

ПЕТР: В смысле?

НИКОЛАЙ: Ну, в смысле – после того, как он из тебя выселился, ты не менял имени? Тогда бы он не мог в тебя обратно войти.

ПЕТР: Не менял.

НИКОЛАЙ: То есть ты все еще Петр?

ПЕТР: Да.

НИКОЛАЙ (*обращаясь к социальному работнику*): Может, ты знаешь?

(*Социальный работник стучит три раза, изображая на лице полнейшее непонимание.*)

ПЕТР: Слушай, теперь я подумал...

НИКОЛАЙ: Ну, что ты подумал?

ПЕТР: Может, он как вирус?

НИКОЛАЙ: В смысле?

ПЕТР: В смысле, у меня теперь к нему иммунитет, как он из меня вышел.

НИКОЛАЙ: Интересная мысль.

ПЕТР: И если он в тебя вселится, а потом выйдет, у тебя тоже иммунитет будет.

НИКОЛАЙ: Ты на что намекаешь?

ПЕТР: Может, ты зря так этого боишься?

НИКОЛАЙ: Может, и зря. Но тут ключевой момент, если дух из меня выйдет. А если не выйдет? Что если не выйдет?

ПЕТР: Тоже верно.

(*Пауза.*)

НИКОЛАЙ: Ладно, пошел я.

ПЕТР: Удачи.

НИКОЛАЙ: Спасибо.

ПЕТР: Пистолет не забудь.

(*Николай уходит.*)

ПЕТР (*социальному работнику*): Ты правда не знаешь великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности?

Действие III

(*Петр и социальный работник сидят в тех же позах, что в конце предыдущего действия. Перерыв между действиями – просто словно затемнение. Более того, Петр задает тот же вопрос, что в конце второго действия, ровно с той же интонацией.*)

ПЕТР: Ты правда не знаешь великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Эй! Я что, связан?

ПЕТР: Тихо, тихо.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Почему я связан? Кто меня связал?

ПЕТР: Тихо, тихо.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК (*начинает кричать*): Отпустите меня!

ПЕТР: Успокойся.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК (*вопит*): Отпустите меня немедленно!

(Петр ставит социальному работнику кляп. Тот колотит свободной рукой по столу. Возвращается Николай, но не один: с ним дядя Жора на каталке, которую везет Клим.)

НИКОЛАЙ: Знакомьтесь! Это дядя Жора, это Петр, это Клим, мой батя, друг дяди Жоры.

КЛИМ: Ой, а что это...

НИКОЛАЙ: Во-первых, хотел бы поблагодарить дядю Жору и Клима за то, что одолжили несколько метров хорошей, прочной веревки, которая у нас самих, как видите, на исходе.

КЛИМ: А чего это он, связан, что ли?

(Дядя Жора громко смеется.)

НИКОЛАЙ *(достает пистолет)*: Попрошу тишины!

(При виде пистолета Клим поднимает руки, социальный работник перестает колотить по столу.)

НИКОЛАЙ: Давайте, дядя Жора, мы вас пристегнем как следует. Меры предосторожности, сами понимаете. Тебя, батя, тоже свяжем, не бойсь, потом развяжем.

ПЕТР *(с интонациями ослика Иа-Иа)*: Свяжем и развяжем. Свяжем и развяжем.

ДЯДЯ ЖОРА *(добродушно)*: Да зачем меня пристегивать, сам ведь знаешь, что у меня ноги.

НИКОЛАЙ: Знать-то знаю, но всякие чудеса случаются, не хуже меня понимаете, и потом, береженого бог бережет.

ДЯДЯ ЖОРА: Да, это верно, береженого бог бережет.

(Николай пристегивает дядю Жору ремнями, вместе с Петром они связывают Клима.)

ПЕТР: Свяжем и развяжем. Свяжем и развяжем.

НИКОЛАЙ: Водочки будете, батя, дядя Жора? И пицца еще осталась.

ДЯДЯ ЖОРА: Спасибо, не откажусь.

НИКОЛАЙ: Извините, что пришлось связать. *(Обращаясь к социальному работнику)*: А ты водки будешь?

ПЕТР: Он не может, у него кляп.

НИКОЛАЙ: А мы уберем, если орать не будет. Ты ведь не будешь орать?

(Социальный работник усиленно кивает. Николай снимает с него кляп. Наливает водку всем присутствующим.)

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: А вы участвовали в переписи населения?

ДЯДЯ ЖОРА: Ась?

НИКОЛАЙ *(кричит дяде Жоре в ухо)*: Участвовали в переписи населения, дядя Жора?

ДЯДЯ ЖОРА: Я-то? Да нет, стар я для таких штук!

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Это плохо. Участие в переписи – долг каждого сознательного человека. А вы?

(Пауза.)

НИКОЛАЙ: Батя, тебя спрашивают.

КЛИМ: А? Что?

НИКОЛАЙ: Участвовал, спрашивают, в переписи населения?

КЛИМ: Я? А, да.

НИКОЛАЙ: Так у нас здесь, оказывается, только один не участвовавший!
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Кто?

НИКОЛАЙ: Дядя Жора.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Стыдно признаться, но тоже еще не участвовал.

НИКОЛАЙ: Участвовал.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Не участвовал.

НИКОЛАЙ: Участвовал.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Нет, не участвовал.

НИКОЛАЙ: Кляп, что ли, снова захотел? Не помнишь просто. Когда ты участвовал, времени для тебя не существовало.

(Социальный работник испуганно замолкает.)

НИКОЛАЙ: Ну, ваше здоровье, дядя Жора. Твое здоровье, батя.

ДЯДЯ ЖОРА: Наше почтение.

(Чокаются, выпивают. Для того чтоб Клим мог пить, Петр подставляет рюмку к его губам. Николай снова разливает.)

ПЕТР: Вы в натуре батя Николая?

КЛИМ: Отчим.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: В переписи отражено?

КЛИМ: Отражено.

НИКОЛАЙ: Но люблю его как родного.

КЛИМ: И я тебя люблю, сынок.

НИКОЛАЙ: А дядя Жора у нас человек героический. Воевал еще на японском фронте.

ДЯДЯ ЖОРА: В тринадцать лет!

НИКОЛАЙ: Подарил мне ложку, оловянную, сам на фронте, на войне отлил!

ПЕТР: Че, правда, что ли?

ДЯДЯ ЖОРА: Во как!

ПЕТР: Вам не холодно? Никому не холодно?

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: А вы в переписи указали, что воевали с японцами?

ПЕТР: Он не участвовал в переписи, он же сказал.

НИКОЛАЙ: Давайте еще по одной. За перепись!

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: За перепись!

ПЕТР: За перепись!

ДЯДЯ ЖОРА: За перепись!

НИКОЛАЙ: Дядя Жора, а давайте мы с вами сейчас перепись проведем?

ДЯДЯ ЖОРА: Да у меня ж ноги, ты же знаешь...

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Да ничего! Давайте!

НИКОЛАЙ: Исполните долг сознательного гражданина.

ДЯДЯ ЖОРА: Ну, если не надо будет танцевать, то...

ВСЕ *(вразнобой)*: Давайте, дядя Жора!

ДЯДЯ ЖОРА: Я согласен.

НИКОЛАЙ: Дядя Жора знает, каким раньше плясуном был! Закачаешься!

ПЕТР: Кто будет проводить?

НИКОЛАЙ: Давайте я.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Может, лучше я? Я все-таки профессионал.

НИКОЛАЙ: Подозреваю, вас он слушать не будет.

ДЯДЯ ЖОРА: Да я вообще его в первый раз вижу! А чего его связали?

НИКОЛАЙ: Для безопасности, дядя Жора, для безопасности. И вас мы для безопасности, и батю. Всех для безопасности. Береженного бог бережет, сами же знаете.

ДЯДЯ ЖОРА: Конечно.

НИКОЛАЙ: Итак! Имя, фамилия?

ДЯДЯ ЖОРА: Георгий Хвостовой.

КЛИМ: Павел Хвостовой.

НИКОЛАЙ: Как это? Почему Павел? Разве не Георгий?

КЛИМ: Да вот так! Все зовут Жорой, а по паспорту Павел.

(Дядя Жора стучит два раза по своей каталке.)

НИКОЛАЙ: Национальность?

ДЯДЯ ЖОРА: Русский.

НИКОЛАЙ: Год рождения?

ДЯДЯ ЖОРА: Тысяча девятьсот двадцать восьмой.

КЛИМ: Теперь-то уж можно правду сказать.

НИКОЛАЙ: Какую правду?

КЛИМ: Девятьсот тридцатого он.

НИКОЛАЙ: Как это девятьсот тридцатого? В паспорте же двадцать восьмой стоит?

КЛИМ: Так то в паспорте. Он специально себе два года приписал, чтоб на фронт взяли.

(Дядя Жора стучит два раза по своей каталке.)

НИКОЛАЙ: Ну вы даете, дядя Жора. Вероисповедание?

ДЯДЯ ЖОРА: Синтоист.

НИКОЛАЙ: Населенье Фудзиямы?

ДЯДЯ ЖОРА: Хороший вопрос. Многие думают, что на Фудзияме нет постоянного населения, только работники ресторанов и спасатели. На самом деле есть. Там живут гномики. Об этом мне рассказывал пленный японец. Сто восемь гномиков, и когда умирает один, на его место приходит другой, с других гор, чтобы священное число сохранялось.

(Перед каждым следующим вопросом выпивают.)

НИКОЛАЙ: Количество притоков Камы?

ДЯДЯ ЖОРА: Вот эти скалы пусть изгибаются дугой от той реки, что льется в молчаньи вдоль ущелья, затопляя зыбкую душу. Пусть длится этот день без края, подрубая древо лета, над полями, берущими реку прибоем буйным в час ненастья. Пусть небо пусто, пусть над миром нет ни солнца, ни звезд, ни луны... И я отдам без остатка подсознанию должное, свое притяжение к этой паре свалившихся в низину скал, свалившихся, как падают камни с отвесов на берег Камы...

НИКОЛАЙ: Сколько рук у бога Рамы?

ДЯДЯ ЖОРА: Хороший вопрос. Многие ошибочно думают, что у него сто рук. Нет, сто рук у бога Шивы, а у Рамы всего две руки. Рама просто прекрасен, он совершенный, как может быть у него количество рук иное, чем две?

НИКОЛАЙ: Вы же синтоист.

ДЯДЯ ЖОРА: Синтоист, но Рама все равно совершенен. Что я тут могу поделать?

НИКОЛАЙ: Где находится Панама?

ДЯДЯ ЖОРА: Какая Панама?

НИКОЛАЙ: Такой вопрос.

ДЯДЯ ЖОРА: Бывает шапка панама, а бывает страна Панама.

НИКОЛАЙ: Ну вот такой вопрос. Отвечайте.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Он правильно ответил.

НИКОЛАЙ: Сколько весит далай-лама?

ДЯДЯ ЖОРА: Не золотая, не из серебра, но всего на семь граммов легче. Далай-ламе это все равно. Не из камня, не из дерева, но на тридцать тонн тяжелее. Далай-ламе это все равно. Летим к далай-ламе! Лететь еще долго. Мы не знаем, отчего он смеется там, за облаками. Того, кто сумеет удалить камень далай-ламы, летят почтить не единицы и даже не сотни. Он удостоил, от века из года идет в мир по тонкой нитке далай-лама. Мы не знаем, почему смеются там, за облаками.

НИКОЛАЙ: Почему вы так упрямы?

ДЯДЯ ЖОРА: Умру, а на этот вопрос не отвечу!

НИКОЛАЙ: Выпьем за перепись.

ДЯДЯ ЖОРА: Режьте меня, а на этот вопрос отвечать я не буду!

ПЕТР: Пили уже за нее.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: За перепись я могу пить сколько угодно раз!

ВСЕ: Выпьем!

НИКОЛАЙ: Какова великая тайна и ужасающая глубина смерти и вечности?

КЛИМ: Когда невмочь мне ни жить, ни видеть, бежать, любить, презирать, ненавидеть!

ДЯДЯ ЖОРА: Это ты спрашиваешь как переписчик или от себя лично?

НИКОЛАЙ: И так, и так.

ДЯДЯ ЖОРА: Скажи, как тебя зовут, и я открою тебе великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности.

НИКОЛАЙ: Не скажу.

КЛИМ: Его зовут Николай.

НИКОЛАЙ: Батя, молчи! Не говорю, значит, есть причины.

ДЯДЯ ЖОРА: Почему?

НИКОЛАЙ: Тогда ты мной овладеешь.

ДЯДЯ ЖОРА: В смысле?

НИКОЛАЙ: В смысле ты же знаешь, как меня зовут.

ДЯДЯ ЖОРА: Я забыл. Выпил и забыл.

НИКОЛАЙ: Ну что ж. Проспишься, вспомнишь. И еще про ложку знаешь что?

ДЯДЯ ЖОРА: Что?

НИКОЛАЙ: Никакой ты мне ложки не дарил.

ДЯДЯ ЖОРА: Дарил!

НИКОЛАЙ: Не дарил.

ДЯДЯ ЖОРА: Дарил!

НИКОЛАЙ: Не дарил.

КЛИМ: Я не знаю. Вроде не дарил.

НИКОЛАЙ: Или вон спросите у кого-нибудь из присутствующих, как меня зовут.

ПЕТР: Николай.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Георгий Хвостовой.

КЛИМ: Николай.

ДЯДЯ ЖОРА: Я их слышу как-то избирательно.

НИКОЛАЙ: Понятно! Потому что медиум-то я, а не они.

ДЯДЯ ЖОРА: Не понимаю, о чем ты говоришь. Я и слов таких не знаю.

НИКОЛАЙ: А давай еще по одной выпьем!

ДЯДЯ ЖОРА: А давай!

(Выпивают.)

НИКОЛАЙ: Ну так что? Скажешь?

ДЯДЯ ЖОРА: Что скажешь?

НИКОЛАЙ: Великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности.

КЛИМ: Может быть, она та же, как в прозрениях Шопенгауэра в час великой смерти? И возможно ли вселение в мертвые тела душ живых? Может быть, они так же, как мы, предстанут перед Богом? Что же им нужно? И чего они требуют? Но что бы ни требовали, вопрос остается вечен: что нам-то делать? И как мне быть? Мне хочется познать мир и научиться жить в нем, но кто же нам откроет глаза на окружающий мир? Как смертен человек? Кто же его в чудное царство введет? Что мне сказать и кому поведать?

ДЯДЯ ЖОРА: Не скажу.

НИКОЛАЙ: Почему?

ДЯДЯ ЖОРА: Потому что ты debil. Тебе сегодня сообщили эту тайну несколько раз на все лады и голоса, но ты так ничего и не понял.

НИКОЛАЙ: Может, тогда стуком сообщите?

ДЯДЯ ЖОРА: Я, может, умру скоро, и так и не узнаю, как тебя зовут...

НИКОЛАЙ: Кстати, насчет скорой смерти...

(Наставляет на дядю Жору пистолет.)

ДЯДЯ ЖОРА *(смеется ему в лицо)*: Ты правда решил с помощью пистолета разузнать великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности? Да ты еще глупее, чем я думал. Мне пофиг, убивай всех!

КЛИМ: Я, я знаю эту тайну! Не надо убивать! Я все расскажу!

ДЯДЯ ЖОРА: Бог узнает своих!

НИКОЛАЙ: Дядя Жора, ну пожалуйста! Ну что, договорились?

ДЯДЯ ЖОРА: Нет, не договорились. Вези меня обратно домой, Климушка!

ПЕТР: Он не может.

ДЯДЯ ЖОРА: Почему?

ПЕТР: Связан.

ДЯДЯ ЖОРА: Так развяжите!

КЛИМ: Да скажи ты им эту великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности.

НИКОЛАЙ *(отвечая дяде Жоре и не слыша Клим)*: Тогда поклянись, что ни ты, ни Клим, ни Петр, ни социальный работник не причинят никому из присутствующих никакого вреда.

ДЯДЯ ЖОРА: Как я могу поклясться за всех, ты debil, что ли? Могу только за себя поклясться.

КЛИМ: Я! Я знаю великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности. Только развяжите нас.

ПЕТР: Холодно, холодно. Кто-нибудь еще чувствует холод?

НИКОЛАЙ: Я чувствительнее тебя, и то ничего не чувствую.

ДЯДЯ ЖОРА: Так меня кто-нибудь освободит?

НИКОЛАЙ: Кого именно тебя?

ДЯДЯ ЖОРА: Ну не хочешь освободить меня, освободи кого-нибудь из этих людей. Социального работника. Отчима своего освободи. Собрал тут пыточную камеру. Имей милосердие. Они тут ни при чем.

НИКОЛАЙ: Освободись сам.

ДЯДЯ ЖОРА: Увы мне! Дух силен, а плоть слаба.

НИКОЛАЙ: Так клянешься?

КЛИМ: Я, я знаю великую тайну и ужасающую глубину смерти и вечности!

ПЕТР: Холодно, холодно. Почему я один чувствую холод?

ДЯДЯ ЖОРА: Ладно, клянусь.

НИКОЛАЙ: Чем ты клянешься?

(Дядя Жора засыпает.)

НИКОЛАЙ *(Петру)*: Сходи посмотри, что с ним?

ПЕТР *(прикладывает ухо к его груди)*: Он спит.

НИКОЛАЙ: Так разбуди его.

(Петр пытается разбудить дядю Жору, тот пьяно бормочет во сне и не просыпается.)

КЛИМ: Теперь не разбудишь.

НИКОЛАЙ: Нет, разбужу.

КЛИМ: Да теперь и бесполезно, у него иммунитет, как вы тут выражаетесь. Он ничего не знает.

НИКОЛАЙ: Выходит, ты знаешь?

КЛИМ: Да.

НИКОЛАЙ: Ну что ж, опять все по новой?

КЛИМ: Ладно, карты на стол. Ты меня раздражаешь.

НИКОЛАЙ: А еще говорил, что любишь меня.

КЛИМ: Дебил! Это не Клим говорит.

НИКОЛАЙ: А кто?

КЛИМ: Дух.

НИКОЛАЙ: А.

КЛИМ: Как я тебе уже сказал, ты меня раздражаешь. Ты меня так раздражаешь, что я давно бы ушел к себе и вечно упокоился, но не могу.

НИКОЛАЙ: Почему?

КЛИМ: У меня сообщение.

НИКОЛАЙ: Кому?

КЛИМ: Как я и говорил, карты на стол. Николаю. У меня сообщение Николаю. Надоело ходить вокруг да около. Если ты Николай, я оставляю тебе сообщение, если нет, скажи, и я уйду.

НИКОЛАЙ: Важное сообщение? О великой тайне и ужасающей глубине смерти и вечности?

КЛИМ: Важное. Ты Николай?

НИКОЛАЙ: Мне надо подумать.

КЛИМ: О чем?

НИКОЛАЙ: Николай я или не Николай.

КЛИМ: И я клянусь всеми ангелами ада и что ты там еще говорил, что не причиню тебе вреда и не буду вселяться.

ПЕТР: Надо брать.

НИКОЛАЙ: Ладно. Учитывая все входящие и исходящие, я да, я Николай.

КЛИМ: Точно Николай?

НИКОЛАЙ: Могу паспорт показать.

КЛИМ: Покажи.

(Николай показывает паспорт.)

КЛИМ: Но мое сообщение конфиденциальное. Давай отойдем.

НИКОЛАЙ: Ты не можешь.

КЛИМ: Почему?

НИКОЛАЙ: Ты связан.

КЛИМ: Так развяжи.

НИКОЛАЙ: Нет.

КЛИМ: Ну тогда пусть они уйдут.

(Николай и Петр уводят с сцены стул с привязанным социальным работником и укатывают каталку с дядей Жорой. Николай возвращается.)

НИКОЛАЙ: Ну все, говори.

КЛИМ: Так слушай.

НИКОЛАЙ: Я весь ухо.

КЛИМ: Ты сказал «Я весь ухо»?

НИКОЛАЙ: Это значит, я весь внимание.

КЛИМ: Какая ирония!

НИКОЛАЙ: Почему?

КЛИМ: Уж близок час мой, когда в мучительный и серный пламень вернуться должен я.

НИКОЛАЙ: О бедный призрак!

КЛИМ: Нет, не жалею меня, но всей душой внимай мне, Николай!

НИКОЛАЙ: Говори, я буду слушать.

КЛИМ: И должен отомстить, когда услышишь.

НИКОЛАЙ: Что?

КЛИМ: Я дух, я твой отец.

Приговоренный по ночам скитаться,

А днем томиться посреди огня,

Пока грехи моей земной природы

Не выжгутся дотла. Когда б не тайна

Моей темницы, я бы мог поведать

Такую повесть, что малейший звук

Тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей,

Глаза, как звезды, вырвал из орбит,

Разъял твои заплетшиеся кудри

И каждый волос водрузил стоймя,

Как иглы на взъяренном дикобразе;

Но вечное должно быть недоступно

Плотским ушам. О, слушай, слушай, слушай!

Коль ты отца когда-нибудь любил...

НИКОЛАЙ: Погоди, так ты мой отец, что ли?

КЛИМ: Ну да.

НИКОЛАЙ: Я думал, ты умер.

КЛИМ: Я и умер, дебил! Ты говоришь с духом своего покойного отца.

НИКОЛАЙ: То есть я говорю как бы и с отчимом, и с отцом.

КЛИМ: Ну да.

НИКОЛАЙ: То есть дух моего отца говорит со мной посредством тела моего отчима?

КЛИМ: Ну да.

НИКОЛАЙ: Круто! Но ты уверен, что говоришь с сыном? Я-то тебя совсем не видел. Мне было... Три, что ли, когда ты умер.

КЛИМ: Я видел твой паспорт, идиот.

НИКОЛАЙ: А, точно.

КЛИМ: Так я могу продолжить?

НИКОЛАЙ: Да-да, извини.

КЛИМ: На чем я остановился?

НИКОЛАЙ: «Коль ты отца когда-нибудь любил».

КЛИМ: Да! Коль ты отца когда-нибудь любил, отмсти за гнусное его убийство.

НИКОЛАЙ: Убийство?

КЛИМ: Убийство гнусно по себе; но это гнуснее всех и всех бесчеловечней.

НИКОЛАЙ: Кого убили?

КЛИМ: Идиот.

НИКОЛАЙ: Можно ты не будешь ругаться? Я всего лишь стараюсь понять ситуацию.

КЛИМ: Но ты думай хоть немножко.

НИКОЛАЙ: Я стараюсь.

КЛИМ: Хорошо.

НИКОЛАЙ: В конце концов, как я понял, я твой сын.

КЛИМ: Да.

НИКОЛАЙ: Вот и не ругайся на меня.

КЛИМ: Хорошо, хорошо.

НИКОЛАЙ: Так кого убили-то?

КЛИМ (*взрываясь*): Меня! Меня убили.

НИКОЛАЙ: Ну ладно, рассказывай дальше.

КЛИМ: Сначала поклянись, что отомстишь.

НИКОЛАЙ: Ну как я могу это пообещать? А вдруг не смогу?

КЛИМ: Нет, сможешь. Я гарантирую это. Он даже не будет сопротивляться.

НИКОЛАЙ: А, ну ладно.

КЛИМ: Так клянешься?

НИКОЛАЙ: Сделаю все, что смогу.

КЛИМ: Клянешься или нет?

НИКОЛАЙ: Клянусь сделать все, что смогу. Это самое большое, что я могу тебе пообещать.

КЛИМ: Эх, ладно, вижу, ты готов;

Но даже будь ты вял, как тучный плевел,

Растущий мирно у летеиских вод,

Ты бы теперь воспрянул. Слушай, Коля;

Идет молва, что я, уснув в саду,

Ужален был змеей; так ухо Вятки

Поддельной басней о моей кончине

Обмануто; но знай, мой сын достойный:

Змей, поразивший твоего отца,

Надел его венец.

НИКОЛАЙ: В смысле?

КЛИМ: Ну чего непонятно?

НИКОЛАЙ: Какой такой венец?

КЛИМ: Ну, в смысле, унаследовал мое состояние, поселился в моем доме и даже более того – женился на моей вдове. Короче, все унаследовал.

НИКОЛАЙ: Погоди, ты сказал «вдове».

КЛИМ: Да.

НИКОЛАЙ: То есть речь идет о моей матери? Раз она твоя вдова, а я твой сын.

КЛИМ: Какой ум! Какая проницательность!

НИКОЛАЙ: Так после тебя мать за Клима вышла.

КЛИМ: Его и имею в виду.

НИКОЛАЙ: Моего отчима?

КЛИМ: Тебе он отчим, а мне брат.

НИКОЛАЙ: В смысле?

КЛИМ: Чего непонятно-то?

НИКОЛАЙ: Он твой брат, что ли? Родной?

КЛИМ: Да, этот блудный зверь, кровосмеситель,

Волшбой ума, коварства черным даром –

О гнусный ум и гнусный дар, что властны

Так обольщать! – склонил к постыдным ласкам

Мою, казалось, чистую жену;

О Коля, это ль не было паденьем!

Меня, чья благородная любовь

Шла неизменно об руку с обетом,

Мной данным при венчанье, променять

На жалкое творенье, чьи дары

Убоги пред моими!

НИКОЛАЙ: Он мне, получается, дядя? Ну вообще-то он был мне как отец. Ничего плохого сказать о нем не могу.

(Из-за сцены доносится голос Петра.)

ПЕТР: Скоро вы там? Тут холодно.

КЛИМ: Но как вовек не дрогнет добродетель,

Хотя бы грех ей льстил в обличьях рая,

Так похоть, будь с ней ангел лучезарный,

Пресытится и на небесном ложе,

Тоскуя по отбросам.

Но тише! Я почуял воздух утра;

Дай кратким быть. Когда я спал в саду,

Как то обычно делал пополудни,

Мой мирный час твой дядя подстерег

С проклятым соком белены в сосудце

И тихо мне в преддверия ушей

Влил прокажающий настой, чье свойство

Так глубоко враждебно нашей крови,

Что, быстрый, словно ртуть, он проникает

В природные врата и ходы тела

И свертывает круто и внезапно,

Как если кислым капнуть в молоко,

Живую кровь; так было и с моею;

И мерзостные струнья облепили,

Как Лазарю, мгновенною коростой

Все тело мне.

Так я во сне от братственной руки

Утратил жизнь, венец и королеву.

НИКОЛАЙ: Ты снова имеешь в виду дом и жену?

КЛИМ: Я скошен был в цвету моих грехов,

Врасплох, непричащен и непомазан;

Не сведши счетов, призван был к ответу

Под бременем моих несовершенств.

НИКОЛАЙ: Погоди, это все?

КЛИМ: В смысле?

НИКОЛАЙ: Так а что насчет великой тайны и ужасающей глубины смерти и вечности?

КЛИМ: Так ты отомстишь? Ты поклялся!

НИКОЛАЙ: Это она и есть?

КЛИМ: Кто она?

НИКОЛАЙ: Ну, тайна.

КЛИМ: О ужас! Ужас! Но теперь прощай!

Уже светляк предвозвещает утро

И гасит свой ненужный огонек;

Прощай, прощай! И помни обо мне. *(Закрывает глаза.)*

НИКОЛАЙ: Я че-то не понял ничего.

(Один стук.)

КЛИМ *(открывает глаза)*: А где все?

НИКОЛАЙ: Какие все?

КЛИМ: Ну, Жора где?

НИКОЛАЙ: Так что насчет великой тайны и ужасающей глубины смерти и вечности?

КЛИМ: Развязывать-то будешь меня?

НИКОЛАЙ: Мне надо подумать.

(Два стука.)

КЛИМ: Развязывай, debil.

(Три стука.)

ПЕТР *(за сценой)*: Скоро вы там? Холодно же. Открывайте.

Михаил БАРУ

ЛЕГЕНДЫ ЧЕРНЫХ ЛИСТАТЕЛЕЙ

Почему-то о посмертной славе я почти никогда не думаю. Никогда мне в мыслях не представляются мои портреты с пририсованными усами в учебниках по литературе для средней школы, никогда я не вижу мысленным взором ни ученика, проклинающего меня за то, что ему к завтрашнему уроку нужно выучить наизусть миниатюру, состоящую из одного предложения на десять строчек, ни юношу бледного со взором горящим, читающего мои стихи избраннице своего сердца, ни саму избранницу, из глаз которой выкатываются две преогромных сладких слезы, ни ученого, получившего докторскую степень в филологии за исследование моих текстов. Нет, перед моими глазами встает иная картина – огромное, в полнеба, умирающее красное солнце, заледевшая планета, с которой улетает в другую галактику последний корабль и командир, старый, обветренный, как марсианские скалы, на рукаве которого три... нет, четыре нашивки за каждую отраженную метеоритную атаку, говорит бортинженеру:

– Вася, ты все скачал из всемирного информатория?

– Все, Степаныч, все. Давай уже, включай зажигание, а то нас сейчас снегом занесет.

– Вася, твою... я тебя последний раз спрашиваю – ты все скачал? Ты скачал все толстые литературные журналы начала двадцать первого века?

– Степаныч, да заманал ты своими журналами. Ну что нам – читать, что ли, их до самой Проксимы Центавра? Мы же в анабиозе будем лежать и спать без задних ног. Нахрена нам твои журналы?

– Много рассуждаешь, салага. Поглощаешь межзвездной пыли с мое – тогда и поймешь. В анабиозе он будет лежать... Бессонницу еще никто не отменял. Давай, скачивай журналы «Волгу», «Знамя» и «Арион». Про «Новую Юность» не забудь. Читал я там одного...

Лет через пятьдесят, а то и раньше, все печатные и все рукописные книги, все папирусы и даже все глиняные таблички с клинописью оцифруют, и общественные библиотеки станут не нужны. Про домашние и говорить нечего. В музеях, конечно, останутся разные раритеты в переплетах из телячьей кожи с перламутровыми инкрустациями, а так нет. Станут библиотеки уничтожать. Конечно, костры из книг во дворах жечь не будут, но придумают какую-нибудь тонкую технологию, чтобы превращать старые книги во что-нибудь полезное вроде скамеек или торфяных горшков для рассады. Перед тем, как отправить книги на переработку, будут тайно проникать в библиотеки черные листатели и листать все книги подряд в поисках забытых там записок, писем, бумажных купюр, ресторанных счетов, билетов в театр, счастливых трамвайных билетов, засушенных цветов, четырехлистных клеверов, фотографий, негативов, газетных вырезок, карт, на которых крестиками указаны клады, предсмертных записок, рисунков и даже прихлопнутых при закрытии книг комаров. Все это будет представлять антикварную ценность и будет продаваться за большие деньги на аукционах. К примеру, какая-нибудь коллекция счастливых трамвайных билетов времен Брежнева или Андропова. Если бы я умел писать романы, то написал бы роман об этих людях – аллергиях и астматиках, вечно кашляющих от книжной пыли, с вечно черными от типографской краски пальцами, рассказывающих друг другу легенды о найденных

письмах Наполеона к Жозефине в самой обычной советской книге о вкусной и здоровой пище, или о черно-белых негативах с портретами первых римских императоров, выпавших из ветхого немецкого журнала по химии за восемьсот девяносто пятый год, или счет, который подали Стиве Облонскому после обеда с Левиным в ресторане «Англия»... Впрочем, это уже продолжение первого романа, которое будет называться «Легенды черных листателей».

В пятницу лучше ложиться спать попозже, чтобы в субботу утром, часов в семь, не вскакивать по привычке, как оловянный солдатик, а спать и видеть во сне, как ты проезжаешь это время на скором поезде, а там, на этом полустанке, все снегом занесено, ярко горят безжалостные лампы дневного света и на платформе стоят заспанные продрогшие люди в тонких городских пальто с ноутбуками и передают друг другу бумаги. И ложишься, и просыпаешься в четыре утра, и никак не можешь заснуть опять, и смотришь в окно на снежную бурю, которая из последних сил покрывает и никак не может покрыть мглою светящееся городское небо над головой, на крутящиеся снежные вихри, на засыпанную снегом до самого края луну, на занесенную снегом кровлю соседнего дома, на запоздалого путника на трамвайной остановке – и кружке, которая внутри тебя шепчет и шепчет «выпьем с горя», отвечаешь: «Выпьем. Обязательно».

Можно прочесть множество исторических работ о нашем времени, можно прочесть дневники, записки, романы и повести, можно посмотреть документальные и художественные фильмы, а можно просто набрать в поисковой строке Яндекса «как учит нас» и первым, что выпадет, будет «как учит нас господь молиться, если мы желаем что-то получить», а вторым «как учит нас коммунистическая партия».

...И вот уже к килю фрегата приклеены шпангоуты, уже установлены пиллерсы и бимсы, рейками и грушевым шпоном обшит корпус, медными гвоздями прибит бархоут, и можно приступить к палубе – напилить палубных досок толщиной не больше миллиметра и шириной пять, просверлить в них тысячу пятьдесят шесть отверстий диаметром три десятых миллиметра, взять тростник или бамбук, расщепить его на волокна, волокна протащить через калибровочную доску с отверстием... и тут жена велит сходить в магазин за луком, картошкой и подсолнечным маслом, потому что все кончилось еще два дня назад... в три десятых миллиметра и только потом, когда просверленные палубные доски приклеены к палубному настилу из тонкой фанеры, которая приклеена к бимсам... и проверить у сына геометрию или физику, не говоря уже о том, чтобы сходить на родительское собрание и выяснить, наконец, почему у него второй год сплошные тройки по русскому языку и... вставлять, вставлять и вставлять эти калиброванные волокна в тысячу пятьдесят шесть отверстий диаметром в три десятых миллиметра, чтобы за два или три месяца ежедневной работы по вечерам и ночью управиться с палубой и... вспомнить, когда она была в последний раз в театре невозможно вовсе не по причине склероза, а потому, что... самое сложное в фал-кнехтах – это фрезеровка пазов под шкивы миллиметровой фрезой на настольном немецком фрезерном станке, который стоил почти половину так и не купленной шубы жены, хотя она об этом и не узнала, а если узнает, то... спи со своим фрегатом, целуйся с ним, пусть он рождает тебе детей, делай с ним что хочешь, и эти фал-кнехты можешь засунуть себе знаешь куда, а моих сил больше нет, так и знай, что... шкивы надо выточить из латуни на токарном станке, сделанном из электрической дрели, а потом пилкой для ногтей, которую она уже купила себе новую... потому

что я женщина, а не какая-нибудь бом-брам-стенга, которую ты выпиливаешь и оглаживаешь третью неделю ты на себя-то посмотри у тебя уже вся борода седая, а ты все в кораблики, тоже мне Кутузов или кто у вас там, ненормальных, одноглазый... одного такелажа, не считая мачт, парусов, палубных надстроек и пушек года на три или даже на четыре работы, если каждый день по вечерам, ночью... и сына заразил все дети как дети, а вы оба... всю мою молодость я провела между постройкой брига и фрегата... у меня вместо шубы фрезерный станок, с которого ты моим феном сдуваешь опилки... каждый парус, каждый несчастный фор-трюмсель размером с почтовую марку полит моими горьким слезами... Марш ужинать, сто котлет вам в глотки! Марш ужинать, я сказала, и разрази меня гром, если я еще хоть раз подогрею пюре!

Дождь мелкий, холодный и колючий. Искусственным цветам хоть бы хны – они только жирнее блестят: ярко-розовые, желтые, синие флоксы, белые лилии и невыносимо красные розы.

...большой памятник черного гранита видно издалека. На нем строгими золотыми буквами написано «Чердак Моисей Григорьевич». Сразу в памяти всплывает цитата из записных книжек Чехова: «Нет такого предмета, который не подошел бы еврею для фамилии». Потом подходишь ближе и видишь, что под этим памятником лежит и его жена Розалия Григорьевна, прожившая девяносто четыре года и пережившая мужа на шестнадцать лет, и их сын, Александр Чердак, про которого написано «погиб в боях за Родину на Волховском фронте». В сорок втором году погиб, в декабре. Двадцати лет от роду. И приписано «От безутешных родителей и родственников». И чеховская цитата куда-то... Из какого-то непонятного любопытства достаешь из кармана телефон и набираешь в поисковой строке «Чердак Моисей Григорьевич», и тут выясняется, что был Моисей Григорьевич почетным сотрудником госбезопасности. С девятнадцатого года служил в ВЧК, дослужился до майора, был начальником строительного отдела ГУЛАГа, а в тридцать восьмом был из НКВД уволен и работал в разных гражданских министерствах – даже начальником планового отдела Главэкскаватора министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения и... идешь себе дальше, не зная что и думать.

...тропинки между могилами узкие, усыпаны еще прошлогодними серыми коричневыми мокрыми листьями, сквозь которые пробиваются на тонких зеленых стеблях голубые колокольчики пролесок. Их посадили внутри оградок, а они мало-помалу вышли за калитки и разбрелись по тропинкам.

...стены склепа розовые, но красили их в последний раз Бог знает когда. Краска местами вспучилась и отвалилась. Там, где не отвалилась, видны надписи, сделанные авторучками, фломастерами или процарапанные чем-то острым. Господи, сделай так, чтобы моя дочь снова была жива. Господи! Помоги стать матерью! Хочу иметь возможность помогать своим друзьям. Не дай Владе кануть в лету. Оля, отпусти! Аня, прилипни! Позволь мне добиться того, что я хочу. Помоги, Господи, продать два участка на поле по достойной цене. Кто все это прочитал – тот сдохнет.

...к памятнику на могиле Люсьена Оливье прислонен венок из пластмассовых лилий, лежит опрокинутая лампадка красного стекла и небольшая пластмассовая тарелка с размокшими от дождя остатками салата в белых майонезных разводах. Миски эти меняют часто. Каждый раз кто-то приносит новый оливье с новым рецептом. На краю миски сидит нахальный воробей и выклевывает из миски слипшиеся красные икринки.

В метре от внушительного гранитного памятника Оливье лежит небольшая надгробная плита из позеленевшего от времени мрамора. На ней написано «Тереза Оливье». В обычной жизни ее звали просто Таней. Наверное, по созвучию имен. Назвали ее в честь матери, немки, умершей от родильной горячки. Дочь Люсьена Оливье, по отзывам современников, была красавицей, но личная жизнь ее не сложилась. Сватались к ней многие в надежде узнать рецепт знаменитого салата. Этим незадачливых искателей рецепта было видно сразу – более всего они старались по-

нравиться самому Оливье, а самые глупые проговаривались на первом или даже на втором свидании. Впрочем, один раз Таню даже просватали за какого-то уланского ротмистра с преогромными пушистыми усами, душно пахнущими брокеровским одеколоном, но и тот, как только они остались наедине за столиком ресторана «Эрмитаж Оливье», вместо того чтобы говорить невесте комплименты, пристал к ней как банный лист с расспросами про ингредиенты и пропорции. После этого случая бедная Таня зареклась выходить замуж и... меньше чем через год стала женой еврея-аптекаря, которому до рецепта салата не было совершенно никакого дела. Его интересовали только рецепты лекарств. Целыми днями он пропадал в маленькой лаборатории, оборудованной в задней комнате своей аптеки, и изобретал то сиропы от кашля, то порошок от похмелья, то противозачаточные таблетки. Судя по тому, что Таня родила ему пятерых мальчиков и одну девочку, с таблетками у него так ничего и не получилось. Стал он мало-помалу выпивать и через год или два пропилил аптеку вместе со всеми порошками, пузырьками и бланками рецептов. Тут Таня и пожалела, что рецепта отцовского салата она не знала. Полоумного аптекаря своего она любила и простила ему даже то, что пропилил он большую серебряную салатницу, доставшуюся ей в наследство от отца. Да он долго на этом свете и не задержался – с похмелья выпил какой-то жидкости, оставшейся от опытов с сиропами от кашля, и отдал Богу душу. Осталась Таня одна с шестью детишками...

Дальше следы ее теряются. К семнадцатому году ей было около шестидесяти лет. В интернете писали, что историки нашли в архивах бумаги о том, что работала Тереза Оливье в столовой Наркомпроса подавальщицей с восемнадцатого по двадцатый год, но так ли это на самом деле, никто не знает – мало ли что напишут в интернете. Кто ее хоронил, на чей счет была изготовлена надгробная плита – тоже неизвестно.

Говорят, что недавно у могилы Оливье – подрались две старухи, одновременно принесшие свои миски с салатами к памятнику своего кумира. Та, у которой была в салате докторская колбаса и картошка, здорово помяла ту, которая пришла с мелко нарезанными антоновкой и кинзой.

Новую книгу всегда ждешь с нетерпением. Даже если она не первая, а десятая. При том, что тексты в ней давно опубликованы в журналах или в сети. Приносишь авторские экземпляры домой, кладешь их перед собой на письменный стол, выпиваешь рюмку коньяку или даже накрываешь стол для праздничного ужина и, наконец, ставишь книгу на полку, к другим своим же книгам. И все. И больше ты никогда ее не откроешь. Она умерла. И часть жизни, связанная с этой книгой, тоже умерла. Если бы не книга, то она, быть может, еще и жила бы, а так... нет. Каждый раз, когда я ставлю книгу на полку, вспоминаю строчки из «Анны Карениной»: «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». Понятия не имею, почему мне эти строчки приходят в голову. Я не бог весть какой любитель Толстого вообще и «Анны Карениной» в частности, но... вспыхнула, осветила, затрещала, стала меркнуть и навсегда погасла. Иногда мне кажется, что написанные книги как старые раны – ноют к непогоде. Иногда не ноют, а просто лежат внутри тебя как... камни в почках. Их хорошо бы удалить, чтобы начать жить новой и здоровой жизнью, но они не удаляются. Только вместе с почками. Иногда я так не думаю. Иногда я вообще не знаю, что думать по этому поводу. Иногда стараюсь не думать, но не получается.

Пробовал писать в стол. Такие пошли времена, что в стол оно как-то... В конце концов я еще помню времена, когда любой советский человек, не говоря о прозаике или поэте, мог написать

в стол хотя бы пару предложений. В столе для этого и ящик был специальный, в котором лежала картонная папка с бязевыми тесемками. Потом эти папки за ненадобностью все выкинули. Кто же мог подумать, что оно все медным тазом... еще и таким огромным. Зря не думали, а теперь и ящики заняты всяким барахлом – валяются в нем старые квитанции, зарядки от давно несуществующих телефонов, чернильные авторучки, в которых давно высохли чернила, и старые телефонные книжки с номерами давно не существующих людей. Да и о чем писать в стол, спрашивается? Полвека, как и двести лет назад, было понятно о чем – про тиранов, которым велено было трепетать, и про падших рабов, которым нужно было мужаться, внимать и восставать. Тираны, как выяснилось, трепетать и не думают, а падших рабов все устраивает. Вовсе они и не собирались мужаться и все остальное. Не вмешивайтесь! Видят – и не знают! Впрочем, это уже не Пушкин, а Державин, и адресат у него другой, но какая разница. Никакая. То есть вмешиваются, но не тем, и вообще в гробу все видали, кроме пива и пельменей. Вот и думай о чем и зачем. Хотя... можно просто положить в ящик стола чистый лист бумаги. Теперь и за чистый лист бумаги можно поймать все то, что полагалось раньше за исписанный, а если положить не один, а пачку...

...только заснешь – и вдруг проснешься от того, что надел часы наизнанку и время пошло обратно, но не туда, откуда пришло, а совсем в другую сторону, и ты за ним идешь за тридевять земель от своего дивана босиком по тонкому льду, и ноги мерзнут от того, что высунились из-под одеяла, а в том месте, куда ты за ним пришел, нет ничего и никого – ни родных, ни друзей, ни птиц, ни даже мух или хомяков, а только застывшее навсегда время, и посреди него растет плакучая рябина с пятью или семью тонкими, изогнутыми от боли ветками, которую ты видел в прошлые выходные в ограде скита Никона, что в Новом Иерусалиме, когда приезжал туда на выставку картин младших Брейгелей рассматривать маленьких и очень маленьких голландцев, все эти глиняные горшки, бутылки, бочки, пьяных крестьян на деревенской свадьбе, нарумяненных шлюх, Иоанна Крестителя, проповедующего в пустыне, деревья, кусты, собак, лошадей, зарезанных свиней, кормящих матерей, чумазных детей, ворон, выписанных так тщательно, что по вороньим клювам можно сказать, о чем они каркают и... вы с рябиной говорите, говорите и наговориться не можете. И лет-то рябине всего пять или десять, а она уже все понимает, потому что плакучие быстро взрослеют. И на самом интересном месте разговора ты просыпаешься и видишь на светящемся циферблате часов, что прошло минут пять с того момента, как ты заснул, но в какую сторону прошло – непонятно.

Июньское утро на Никитском бульваре. Еще нет и одиннадцати, а уже жарко так, что у велосипеда, нарисованного белой краской на проезжей части, начинают искривляться колеса. Перед входом в кафе «Жан Жак», между столиками и венскими стульями, расставленными на тротуаре, ходит щуплая смуглая девушка и подметает. Мешая ей подметать, толчется рядом и нехотя протирает тряпкой столы и стулья долговязый белобрысый официант в длинном фартуке. На бульваре тарыхтит газонокосилка. Пахнет свежескошенной травой, бензином и жареными креветками в кляре. Мимо кафе медленно проезжает сверкающий на солнце красный кабриолет «БМВ», за рулем которого сидит молодая женщина с золотыми волосами, завитыми в мелкие колечки. Официант поднимает голову от протираемого стола и смотрит на проплывающий мимо него кабриолет взглядом «как провожают пароходы, совсем не так, как...» Вот на этом месте нужно собрать волю в кулак и не написать «Остановись, мгновенье! Ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо», а вместо этого сесть на венский стул, велеть официанту принести холодного белого вина и, разминая пальцами сигарету, которую нельзя закурить, ждать, куда не торопясь, когда он его принесет. Хотя бы и до второго или даже до третьего пришествия.

Проснешься ни свет ни заря, полежишь, повороchaешься, да и пойдешь на кухню заваривать чай. Заодно заглянешь на балкон, чтобы полить цветы и сорвать к чаю пару листиков мяты или чабреца, а на балконе давным-давно уже никто не спит. Все подставляют свои листья утреннему солнцу и растут изо всех сил. Особенно огурец, новорожденные листики которого покрыты нежным детским пухом, а тонкий зеленый усик, еще свернутый в тугую спираль, вот-вот развернется. Смотришь на все это и думаешь, что и огурец в цветочном горшке, и помидоры, размером с перепелиные яйца, и мята, и чабрец, и лаванда, и разросшийся плющ создают уют, которого никогда не бывает много. Это совсем не тот уют, который бывает от канареек, котов, женщин или занавесок в цветочек. Это все внешний уют, а не внутренний, который бывает от созерцания крошечных начинающих краснеть помидоров или огурцов размером с мизинец новорожденного¹. Кроме всего прочего, это еще и крыжовник. И при мысли о крыжовнике начинаешь чувствовать себя помещиком и землевладельцем, Чимшой-Гималайским на своих тридцати тысячах квадратных сантиметров балкона². У тебя, может, и в роду-то не было не то что помещиков, но даже и до приказчиков в каких-нибудь скобяных или москательных лавках никто не поднимался, а все равно... Пусть обедневшим, пусть без крепостных девок, кучеров и бурмистров, а с одним старым ворчливым полуслепым Захаром и наемной кухаркой, у которой вечно пересолены щи и пригорают пироги, но почувствуешь, почувствуешь... и пойдешь и собираться на работу. Мелькнет при этом мысль завести кота, но тут же и пропадет. Какой из него Захар... Кот тебя сам заставит подавать с утра тапки. Нет, кот – это не выход. Совсем.

¹ Смотришь на этот огурец, которому два или три дня отроду, и видишь его большим, взрослым, лежащим на красивой тарелке с темно-синей и по самому краю золотой каемкой; в старом дубовом бочонке среди таких же огурцов, переложенных смородиновыми листьями, веточками укропа и упругими зубчиками чеснока; мелконарезанным в ледяной окрошке или в ботвинье в шипучем квасе среди раковых шеек и кусков осетрины или севрюги; малосольным, разрезанным вдоль на две половинки и лежащим на блюде рядом с ломтем копченой свиной грудинки и полной рюмкой перцовки; наколотым на вилку и наполовину съеденным рядом с уже опустевшей рюмкой зубровки; маринованным в тарелке мясной солянки среди лоснящихся спинкой маслин, ломтика лимона, сметаны, телячьего языка, кружков охотничьих колбасок и сосисок, рядом с графином, который уже меняет официант; в пухлой руке внука, норовящего накормить им кошку, – и думаешь о том, что ухаживать за огурцами легко и приятно, потому как для этого не нужны никакие духи, пирожные эклер с шоколадным кремом, шампанское, походы в ресторан или в театр, разговоры о Ренуаре или о постмодернизме в литературе и вот здесь мы повесим полочку, а здесь будет стоять ваза с цветами вместо разбросанных книг и носков. Достаточно пойти в магазин и купить там пакетик огуречных семян, пакет с землей и горшок побольше, положить семена на мокрую туалетную бумагу, дождаться, пока они прорастут, посадить их в горшок, потом протянуть бечевку к потолку, за которую будет цепляться огуречная плеть, и время от времени поливать, трогая перед тем землю пальцем – сырая или нет. Жена, понятное дело, будет смотреть искоса и посмеиваться твоим мыслям, которые она читает, даже если они закопаны на дне горшка с огуречной рассадой. Ну и пусть. В конце концов, духи ты уже купил, а полочку повесишь обязательно. Сказал, что повесишь и повесишь. Не сегодня так завтра. Не завтра так послезавтра. В крайнем случае, на следующей неделе уж точно.

² Кур у меня нет, но, проснувшись поутру, помидоры на балконе собираю с тем же чувством, что и яйца.

И в феврале восемьсот пятьдесят второго года он не умер, а мало-помалу начал поправляться. Стал есть овсяную кашу – сначала на воде, а потом на молоке, потом стал пить некрепкий куриный бульон, потом крепкий, потом неразбавленное красное вино, а в первых числах апреля, несмотря на Великий пост, съел целого цыпленка за один присест и пошел гулять по Никитскому бульвару. Граф Толстой, у которого Николай Васильевич квартировал, перевел дух, перекрестился и даже пригласил на радостях к воскресному обеду Аксаковых с Хомяковым и Шевыревым. Хотел было пригласить за компанию и протоиерея церкви Симеона Столпника на Поварской, в которую Гоголь ходил молиться, но передумал. Побоялся, что начнутся опять разговоры о смирении и благочестии, об аскезе, об отречении от Пушкина, и заменил протоиерея молочным поросенком с гречневой кашей и тремя бутылками отличного бордо.

Только в воскресенье рано утром вдруг выяснилось, что Гоголь пропал. Куда он подевался, не знал даже слуга Семен. Как его ни спрашивали, а он только тарачил заспанные глаза, дышал жареным луком и толком сказать ничего не мог. Вечером лег спать и ночью, как обычно, тонко и жалобно присвистывал носом, а утром... Граф Толстой разослал слуг с записками во все дома, в которые мог бы пойти Гоголь, но его нигде не оказалось. Через день послали с запиской и к частному приставу, а через два и к самому обер-полицмейстеру генерал-майору Лужину, но и те после двух недель упорных поисков и опросов обывателей квартальными только руками развели. Граф Толстой вместе с Аксаковыми, Хомяковым и Шевыревым даже написали прошение в министерство внутренних дел, но оно там застряло у какого-то столоначальника и дальше не продвинулось. Мало ли у нас писателей. Что же теперь – прикажете все бросить и их искать? Один пропал – другой найдется, а то и два сразу объявятся.

Так бы и записали Гоголя в пропавшие без вести, кабы через два с половиной месяца не стали ходить слухи по Московской, а затем и по Тульской губерниям, что объявился, мол, странный барин, останавливающийся на ночлег в уездных гостиницах и постоялых дворах. Вещей у него немного – один потертый кожаный портфель с бумагами, да запасные сапоги на высоких каблуках, которые он связывает бечевкой и носит перекинутыми через плечо. Приедет, спросит комнату с камином, а когда нет камина – а его, как правило, нет в комнатах не только уездных, но и губернских гостиниц, – то и печки ему достаточно. Как ночь придет – так он в номере закроется и давай печь бумагой топить. Достанет из портфеля пачку, разберет на листы, заглянет в каждый, почитает там что-то, шевеля при этом губами и длинным носом, потом разорвет на половинки и бросит в печку. Другой раз откроет портфель, а там всего два или три листика. Тогда велит половому принести хоть какой бумаги – хоть серой оберточной, хоть синей сахарной, хоть старых газет.

Вытащит из портфеля ножницы, нарежет бумагу на аккуратные четвертушки и тоже в печи сожжет. Потом поворошит пепел кочергой. Потом наберет его полные горсти и растирает между ладонями. Потом сидит, привалившись к печке. Может час сидеть, может два. Лицо пепельными руками закроет и плачет тихонько. На дворе между тем середина лета и без печки дышать нечем. Другие постояльцы жалуются и в двери номера стучат, а он точно каменный – никакого внимания на стук не обращает. На следующее утро умоется, соберет вещички, расплатится и укатит на перекладных в неизвестном направлении. В последний раз видели его уже в Калужской губернии, в Сухиничах, на железнодорожной станции. Садился на поезд, идущий в Киев. Бородатый и худой. Очень худой. Точно последние две недели питался святым духом. С портфелем, но без запасных сапог.

Памятник русскому уездному городу никто не поставит, а зря. Кабы я был скульптор и архитектор, да в придачу председатель конкурсной комиссии при министерстве памятников и ба-

рельефов, непременно организовал бы конкурс на его устройство. Не такой, конечно, монументальный, как тот, что воздвигли тысячелетию России в Великом Новгороде – без шара-державы, креста, ангела и коленопреклоненной женщины в русском национальном костюме, но непременно многоярусный, с горельефами на каждом ярусе.

В первом, самом нижнем ярусе, среди дремучих лесов, грибов, ягод и дикого меда – тихий, робкий, почти первобытный финно-угр – собиратель грибов, ягод, дикого меда, рыболов и охотник. Тут же рядом по одному вятичу, кривичу, древлянину, полянину... короче говоря, все те, кто потом этого тихого и робкого финно-угра частью ассимилировал, а частью просто согнал со своего насиженного места дальше на север в финские болота за линию Маннергейма.

Во втором ярусе – опоясанные дубовыми рублеными стенами и башнями маленькой крепости на холме или на высокой берегу реки – воевода, стрелецкий голова, приказный с вырванным воеводой клоком волос, стрелец, городской казак, драка между ними, пьяные пушкари, стрелецкая жена с ухватом, еще одна стрелецкая жена, ухватившая мужа за пищаль, посадские, попы, которые куда увереннее держат саблю, а не кадило, коровы и свиньи, разгуливающие по главной площади крепости. Куры и гуси, переходящие единственную улицу. Там же и два бронзовых листка. На первом – накладная, то есть опись городского имущества, с перечислением всех пушек, пищалей, фальконетов, чугунных и каменных ядер, свинцовых пуль, пулелеек, зелья, бердышей, протазанов, рогатин, запасов хлеба, проросшего лука, соли, мыла, сушеных грибов, гречки, бочек с давно протухшей квашеной капустой и пересоленными огурцами, нагольных тулупов, лягушек во рву вокруг крепости, лавок с красным товаром, питейных домов и царевых кабаков. На втором – строчка из царского указа, в котором русским по белому написано: «жить с великим бережением, денные и ночные сторожи держать крепкие». Вокруг крепости не луга с полевыми цветами, а крымские и казанские татары, ногаи, черемисы, литва, ливонские рыцари, польские жолнеры, летучие гусары, наемники римского кесаря, шведы, самозванцы, казаки, но уже не городовые, а запорожские, беглые крестьяне из армии Болотникова, разинцы...¹

В третьем ярусе первый городничий – тощий немец в звании секунд-майора, толстый бургомистр, необъятный городской голова с окладистой бородой, запятки проезжающей мимо кареты императрицы или императора с преогромными гайдуками, монументальные купцы с резным блюдом, на котором хлеб-соль, титулярные и надворные советники, уездный предводитель дворянства, уездные дамы и девицы, купеческие жены, драгуны или конные егеря из полка, стоящего в городе, принесенные в подвалах купеческих и мещанских жен конные егерята, городской собор, купеческие особняки, первые ученики народных училищ с огромными, вытянутыми от постоянного тасканья ушами, рабочий мыловаренного или кирпичного завода в мыле или кирпичках, первый немец-аптекарь, непроворный инвалид со своим шлагбаумом, железная дорога, проходящая мимо, богадельня с десятком стариков и старух, большевик, наклеивающий листовку, первый гимназист, с интересом ее читающий, городской с преогромными усами, хватающий гимназиста за ухо.

В четвертом ярусе еще один большевик, эсер, солдат, пришедший с фронта, дезертир, еще один дезертир, неизвестно как оказавшийся в этих сухопутных местах революционный матрос Балтийского флота с преогромной деревянной кобурой на боку, сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете, духовой оркестр, играющий в городском саду, развалины старой крепости, в которых собираются рабочие на маевку, гимназисты и гимназистки с красными бантами, испуганные мещане, куры и гуси, стремительно убегающие из-под ног. Убитый городской. Бронзовый листок с поздравительной телеграммой, отбитой вождем мирового пролетариата в связи с его пятидесятилетием. Расстрел офицеров и гимназиста в углу городского сада. Еще один бронзовый листок с меню из общественной столовой, в котором щи из капусты, гороховая каша и морковный чай. Здание уездной ЧК, занимающее старинный двухэтажный купеческий особняк. Председатель уездной ЧК в кожаном реглане, ботинках с обмотками и с наганом в руках. Секре-

тарь уездного комитета партии в таком же кожаном реглане, с таким же наганом в руках, в таких же ботинках с обмотками и с таким же лицом. Разрушенная колокольня.

В пятом ярусе секретарь райкома партии в широком мятом галстуке с огромным узлом, пионерский отряд со знаменем и барабаном, идущий по пыльным улицам. Куры и гуси, убегающие из-под пионерских ног. Обелиск павшим борцам. Кирпичная труба мыловаренного или кирпичного завода. Рабочий мыловаренного или кирпичного завода с бронзовым листком почетной грамоты и орденом на груди. Лейтенант в форме сотрудника ОГПУ. Еще один сотрудник ОГПУ в штатском. Еще два бронзовых листка – один с политическим анекдотом, а другой – «с написанным вручную содержательным доносом». Дом культуры с колоннами. Сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете. Черная тарелка радио. Еще один бронзовый листок с десятирублевой облигацией государственного внутреннего займа укрепления обороны. Семья уезжающих спецпереселенцев – сидящие на чемоданах папа, мама, девочка и кот у нее на руках. Разрушенная колокольня.

В шестом ярусе новая электростанция, электрические фонари на улицах, духовой оркестр, играющий в городском саду, солдаты, уходящие на фронт. Бронзовый листок с похоронкой. Сгоревший дом. Еще один бронзовый листок с похоронкой. Торчащая печная труба. Пикирующий бомбардировщик. Еще два бронзовых листка с похоронками. Подбитый танк на площади. Еще один сгоревший дом. Разрушенная кирпичная труба то ли мыловаренного, то ли кирпичного завода. Расстрел партизан в углу городского сада. Еще три бронзовых листка с похоронками. Маленькое, могил на двадцать, кладбище с готическими фанерными крестами. Два взорванных дома и развалины дома культуры. Разрушенная колокольня.

В седьмом ярусе развалины, землянки, дети, играющие в ржавом танке на площади, секретарь райкома в гимнастерке с пустым рукавом, заткнутым за офицерский ремень, огороды. Еще огороды. Бронзовый листок с похоронкой, еще один бронзовый листок с похоронкой, кирпичная труба то ли мясокомбината, то ли завода по производству консервированных овощей, переходящее красное знамя Совета министров. Кинотеатр с названием «Родина», дом культуры с колоннами, духовой оркестр, играющий в городском саду, пары танцующих женщин. Памятник вождю мирового пролетариата и трибуна для выступлений у его подножия, первомайская демонстрация трудящихся, куры и гуси, идущие вслед за демонстрантами, остатки стен разобранного на кирпичи городского собора. Разрушенная колокольня.

В восьмом ярусе ларек, еще ларек, обменный пункт, множество бронзовых листков с объявлениями о мгновенных кредитах без отказа и документов, сумасшедший поэт, чьи стихи печатаются в местной газете, еще один такой же, но женского пола, кирпичная труба остановившегося то ли мясокомбината, то ли завода по производству консервированных овощей, духовой оркестр в городском саду. Отделение Сбербанка в старинном двухэтажном купеческом особняке. Автобус и люди, садящиеся в него, чтобы уехать в большие города на заработки. Развалины крепости, в которых играют дети. Бабушка и дедушка на скамейке. Еще три бабушки на еще одной скамейке. Трехъярусная колокольня с висящими на ней колоколами.

¹ Этих нужно как-то мелко, как на колонне Траяна, чтобы все уместились хотя бы по одному.

Шум леса или ветра никогда не может заполнить тебя всего. Всегда останется место для каких-нибудь мыслей о бренности всего сущего, о вселенской тоске, о везении в любви или о разбегании галактик в результате большого взрыва. Только шум моря заполняет всю голову без остатка, и там почти не остается пустого места, кроме, может быть, крошечного закутка для крика

чайки, или для одного бокала ледяного мартини с оливкой, фаршированной пармезаном, или для двух узких черных полосок купальника, которые ты видишь даже не боковым зрением, а спинным мозгом, в который шум еще не проник.

Если от Дагомыса отъехать в горы по петляющему Батумскому шоссе на Солох-Аул, который так называется потому, что там жили солохи, но не неряшливые нечёсанные женщины и не русалки, как можно было бы подумать, а разведенные, не пожелавшие или не сумевшие второй раз выйти замуж, но сейчас не о них, и тем более не о разведенных и не женившихся во второй раз мужчинах, проживавших чуть выше в горах в селении Бабук-Аул, а о месте, расположенном на полпути до Солох-Аула и которое аборигены называют «корыта».

Место это представляет собой водоскаты, похожие на корыта, образовавшиеся под действием стремительных вод реки Шахе. Вода здесь кипит и пенится на перекатах, наполняет глубокие каменные водоемы из черного и серого песчаника голубой и зеленой холодной водой, в которой плавают желтые с коричневыми прожилками опавшие листья буков, дубов и грабов и купаются отдыхающие, поскольку считается, что купание в корытах приносит удачу в любовных делах, но сейчас не о них. Не об отдыхающих и не об удаче в любовных делах.

За подход к этим корытам и их осмотр, не говоря о купании, нужно заплатить двести рублей с носа. Билет вам не дадут – просто отдайте двести рублей и идите осматривать или даже купаться. Великий комбинатор, собирая с советских граждан деньги на ремонт провала, все же выдавал им билеты, но здесь далеки от этих условностей, да и мы давно не советские граждане, но сейчас не о том, что мы уже не советские граждане. Во-первых, не все, и, во-вторых, во многом еще советские и очень.

На тропе, ведущей к корытам, стоит избушка, в которой сидит древний и сухой, как высохший бук или граб, старик-армянин, покрытый седой щетиной. Можно, если честно, обойти старика вместе с его избушкой метрах в ста выше по течению Шахе, и он не заметит, поскольку очень занят. Во-первых, он курит, и дым выходит изо всех его морщин точно из щелей окуливаемого дымом улья, во-вторых, вяжет детские шерстяные носки на годовалого ребенка – полоска белая, полоска синяя, а на белой полоске синие звездочки, и в-третьих, шевелит губами, считая петли. Я положил ему на стол деньги, а он, продолжая шевелить губами, еле заметным кивком головы показал куда идти.

Тишина горного ущелья отличается от тишины русского поля, или леса, или лесной опушки как летнее небо от зимнего. У нас тишина робкая, ласковая, почти домашняя, сотканная из лесных шорохов, чириканья, молчания грибов, пения кузнечиков и шмелиного жужжания. Сядь на пенек, достань из рюкзака или даже не доставай, а просто закури и пускай дым к небу, к облакам и жаворонкам – она к тебе подойдет, обнимет, приласкается и укутает. Ты ее только не гони, не разговаривай по телефону, не говори в него Света, как здесь красиво, какие здесь лютики и эти, как их... как жаль, что у нас чисто мужская компания, но как иначе, когда стоишь на номере и вот-вот на тебя вылезет из берлоги медведь с медвежатами...

Другое дело тишина горного ущелья. Она к тебе не подойдет – она гордая. Она стоит неприступной стеной до самых облаков, тревожно шелестит листвой огромных буков и грабов, растущих на склонах ущелья, грохочет быстрой водой на острых каменных перекатах, и где-то там, у вершин, превращается из теплой влажной тишины в ледяное безмолвие. Ты сидишь у ее подножия и уже давно выпил то, что достал из рюкзака, и закурил, а позвонить... не можешь, потому что связи здесь нет, и медведь, который уже залег в берлогу и даже всхрапнул пару раз, теперь, из-за

посторонних запахов, проснулся, хлопает спросонок своими крошечными медвежьими глазками и думает – то ли ему встать и... но тогда уже точно не уснуть.

В местности Камигата

В местности Камигата люди, выходя посмотреть на цветы, берут с собой завтрак в небольшой коробочке. Когда приходит время возвращаться домой, они бросают коробочку на землю и топчутся по ней ногами... Во всех вещах важен их конец.

Кодекс самурая. Бусидо.

...люди, выходя по весне в лес наломать веток цветущей черемухи, берут с собой пару бутылок водки, бутылку портвейна, дюжину бутылок пива, из расчета по три на брата и четыре про запас, пару килограммов чайной или любительской колбасы со шпиком, две буханки черного, две коробки шпрот или килек в томате, пакет пряников, кулек карамелек, пару бутылок чего-нибудь полусладкого или полусухого и три бутылки лимонада «Буратино» для женщин. И еще пять кило картошки и банку солянки, чтобы можно было развести костер. Когда приходит время возвращаться домой, мужчины или лежат, не двигаясь, или бьют друг друга по лицам. Женщины при этом допивают или полусладкое, или полусухое, или пиво, взятое про запас, едят пряники и карамельки. Допив и доев, они встают и затаптывают еле тлеющий костер с полусырой картошкой. Во всех вещах важен их конец.

...люди, выезжая из Москвы посмотреть в Мелихово на цветущую сирень, на флигель, в котором написана «Чайка», на клумбы, усаженные красными бегониями, фиолетовыми анютиными глазками преогромных размеров и попугайными тюльпанами, на солнечные поляны, усеянные незабудками, на скамейки, засиженные туристами, на замученных и охрипших экскурсоводов, молящих про себя «Милый дедушка, сделай божественную милость, возьми меня отсюда домой ...», берут в дорогу пару французских багетов, три коробки с сыром «Бри», банку маслин или оливок, три грозди винограда, упаковку разноцветных шпажек для того, чтобы делать канапе с сыром, бутылку Шардоне, бутылку выдержанного португальского портвейна и потертый том из собрания сочинений Чехова, с которым бродят по дорожкам, читают вслух всей компании «Самое ехидное насекомое в свете есть женский пол», или «Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает?», или «А тигры у вас в Греции есть?» и умирают со смеху. Когда приходит время возвращаться домой, садятся в машину, три часа торчат в пробках, кричат «В Москву! В Москву! В Москву!», покупают на заправке большое картонное ведро фруктового мороженого с кусочками дыни и арбуза, съедают его, бросают ведро на землю и топчут его ногами. Во всех вещах важен их конец.

...человек, выходя из дачи посмотреть, не зацвела ли яблоня, берет с собой штыковую лопату, двух или трех детей, жену, тещу, мешок проросшей картошки и идет ее сажать. Собака, которую никто и не собирался брать, идет сама. Когда доходит до конца последней грядки, выпрямляет онемевшую спину, закуривает, выпускает дым, выплевывает изо рта занесенные туда порывом ветра лепестки яблоневых лепестков, затаптывает в землю последнюю сморщенную картофелину с отломанными глазками и идет в дом пить пиво, есть куриный суп с молодой крапивой, яичницу с тамбовским окороком, смотреть по телевизору футбол, всхрипывать и просыпаться, когда бегающие за собакой дети хлопают дверями. Во всех вещах важен их конец.

...человек, собираясь полюбоваться цветущей вишней, приглашает даму, заказывает доставку роллов с копченым лососем, морским гребешком, огурцом и авокадо, бутылку белого сливового

вина «Акира», букет ирисов и на всякий случай бутылку коньяка. Когда под утро он просыпается от холода и ужасного сушняка, то идет на кухню, долго пьет холодную воду прямо из-под крана, достает из пластиковой коробки и доедает последний, уже успевший засохнуть ролл с огурцом, смотрит в окно на растущую во дворе маленькую, чахлую, но все же цветущую вишню и думает о кризисе среднего возраста. Или о написанной, но не защищенной диссертации. Или о смысле существования, которого, как известно, нет. Или о детях, которые если бы родились, то сейчас уже заканчивали бы школу. Потом вытаскивает букет ирисов из вазы, ломает его и засовывает в мусорное ведро. Во всех вещах важен их конец.

Яйцо всмятку

Каждый раз, когда мне кажется, что неплохо бы написать мемуары, я вспоминаю, что ничего выдающегося и даже сколько-нибудь заметного не совершил, с великими людьми знаком не был, а выдающихся видел лишь издали. Раз а два или три сидел за одним столом с просто известными, но они меня даже соль не просили передать.

Взять, к примеру, годы бури и натиска – вторую половину восьмидесятых и девяностые. Участником революционных событий девяносто первого года я не был, Белый дом не защищал и листовок не расклеивал. В то время я жил в провинции, в тихом научном городке Пушкино, на берегу Оки и работал научным сотрудником в Филиале Института биоорганической химии РАН.

Помню ворох разноцветных надежд, с которыми тогда не расставался даже во сне. Будущая свобода представлялась мне чем-то вроде огромного книжного магазина или библиотеки, на полках которых стоят какие только ни пожелаешь книги и в этих книгах есть ответы на все вопросы. Вот тебе книги с тайными знаниями, вот десяти... нет, двадцатитомник «Настоящая история России» с полным комплектом самых секретных протоколов и записки Ленина о том, где спрятан золотой ключик от потайной дверцы в отдельно взятую страну с уже построенным социализмом, вот стихи поэтов Серебряного века, включая тех, кто уехал после октябрьского переворота, вот «Собачье сердце» не на тонкой папиросной бумаге и перепечатанное на машинке, а на мелованной в твердой обложке с красивыми иллюстрациями, и, конечно, старинные средневековые карты с указанием островов, где зарыто золото партии. Про прилавки, полные продуктов и промтоваров, я не мечтал. Я никогда их не видел и не представлял, как они могут выглядеть. То есть я конечно догадывался, что в прекрасной России будущего можно будет без очереди и в любое время купить банку шпрот¹ или пачку индийского чая, не говоря о московских сосисках, которых в одни руки будут давать сколько хочешь, но дальше этих догадок...

Помню, как газета нашего городка аккуратно девятнадцатого августа девяносто первого года вышла с моими сатирическими стихами, в которых я смело (аж дух у самого себя захватывало) критиковал власти, депутатов и партию, тогда единственную. Помню, реакцию жены, которая, увидев газету со стихами и моим портретом, сказала мне все, что она думала о моих стихах, о том, как удачно совпала дата их публикации с событиями в Москве, обо мне самом... и потом не раз еще повторяла.

Помню зиму этого же года и костры, которые отдельные горожане жгли ночью и днем возле промтоварного магазина «Уют» потому, что стояли в очереди за коврами и телевизорами. Никто этих ковров и телевизоров не обещал, но кто-то пустил слух, что они будут. Не то чтобы людям позарез нужны были ковры и телевизоры – просто надо было куда-то вложить деньги, которые стремительно обесценивались. Хотя бы в ковры и телевизоры. Люди думали, что потом, когда совсем припрет, их можно будет обменять на что-нибудь такое... вроде муки, картошки, спичек и сахара. Мало кто сомневался, что скоро припрет совсем. Кстати, о сахаре. В фойе Специального конструкторского бюро биологического приборостроения помещалось что-то вроде толкучки, где талоны на сахар можно было обменять на талоны на сигареты, талоны на носки (в год на че-

ловека полагалось двенадцать талонов, то есть двенадцать пар носков в год) обменивать на талоны, по которым можно было приобрести стиральный порошок, а водочные талоны на все что угодно. Были и сложные обмены. К примеру, чек-приглашение на чайный сервис можно было обменивать на несколько продуктовых талонов, один водочный и один табачный. С табаком дела обстояли со всем плохо. В теленовостях рассказывали, что в Москве, на Рижском рынке, полулитровая банка окурков стоила три рубля. Это была, так сказать, оптовая торговля, но можно было купить окурки и в розницу. В Саратове, как сообщали те же новости, их продавали по цене от пяти копеек за штуку и дороже, в зависимости от длины².

Папа вложил все семейные ваучеры в какие-то солидные сибирские компании, обещавшие прибыль в алмазах и нефти. Папе посоветовали это сделать очень знающие серьезные люди на военном заводе, где он работал. Папа страшно обижался, когда я позволял себе неуместные шутки по этому поводу. Кроме того, он вложил деньги в очень ценные бумаги, которые обещали через пять лет после вложения получить два персональных компьютера. Папе компьютеры позарез нужны были для подрастающих внуков. Чуть позже он по совету друзей с другого военного завода в Подольске вложил деньги в фирму «Властилина». Тут ошибки быть не могло. «Властилина» арендовала помещение у военного завода, с которым папин завод вместе делал что-то такое, с помощью которого запускалось с кораблей... что надо – то и запускалось, и приземлялось в заданный квадрат на Камчатке ~~или не приземлялось~~. Папе посоветовал вложить деньги главный технолог этого завода. Папа был главным технологом своего завода. Не мог же главный технолог завода, с которым они вместе делали то, что может навести такого шороху на планете, обмануть другого главного технолога. До самой смерти папа так и не признался маме, сколько денег он потерял в Подольске. Что касается ценных бумаг, которые обещали через пять лет получить два компьютера... Тут и признаваться не нужно было.

Помню, как по выходным мы с женой брали в руки большие сумки и ехали в Москву за продуктами, а с тогда еще маленькими сыном и дочерью сидела моя мама. В Москве мы закупали что могли и часов через пять или семь, отстояв очереди за мясом, маслом, яблоками, творогом, сосисками и всем, что можно было купить съестного и на что, конечно, хватало денег, ехали домой на рейсовом автобусе. Как-то раз, на обратном пути из Москвы в Пушкино, наш автобус попал в аварию. К счастью, не в очень страшную. Дело было зимой, дорога скользкая, резина у автобуса лысая, и мы стукнулись о какой-то другой автобус или грузовик. Никто не пострадал, но ехать мы дальше не могли. Шофер каким-то образом вызвал подмогу из своей автоколонны, и к нам выехал сменный автобус из Серпухова. Ехал он медленно. Свет в нашем автобусе выключили и отопление тоже. За спиной кто-то кому-то пересказывал своими словами шахматную оперу Леонида Сергеева о матче Карпова с Корчным. На словах «Политбюро решило: надо взять!» в автобус ввалился занесенный снегом милиционер и на весь салон громко спросил: «Кто здесь Михаил Бару?» Я встал, и милиционер сказал мне: «Пройдите сюда». Я подошел к нему. В салоне все притихли. Милиционер дал мне рацию, в которой что-то хрипело, шумело и булькало, и велел доложить в нее маме, что у нас все штатно. Просто мы задержались из-за поломки автобуса. Я, сгорая от стыда, доложил и быстро сел на свое место. Не объяснять же всему автобусу, что твоя мама подполковник милиции и подняла по тревоге патруль, чтобы узнать, что с нами случилось.

Кстати, о маме. Однажды она услышала, как сестра и папа обсуждали бизнес сестры. Сестра в то время закончила с красным дипломом институт связи, поступила в аспирантуру, проучилась в ней год, бросила ее и занялась торговлей. Она могла бы еще года три заваривать чай и вязать на работе, а потом защитить диссертацию на тему о применении АСУ в связи, но вязать она не умела, чай заваривать не любила и вообще не умела сидеть на известном месте ровно, а потому занялась торговлей. Я бы мог написать бизнесом, чтобы... но она занялась торговлей самыми обычными кухонными принадлежностями вроде половников, шумовок и вилок. Наша мама милиционер отнеслась к торговле примерно как Катон Старший, который считал, что торговля и разбой на большой дороге одно и то же³. Короче говоря, когда мама услышала, как сестра и папа на кухне

обсуждали какие-то торговые операции сестры, она сказала в сердцах: «Таких, как вы, я раньше сажала». Тут я понял, что такое настоящая гражданская война, когда линия фронта может проходить не по полю, не по лесу, не по улице, а прямо по кухне.

Не могу сказать, что в конце восьмидесятых и в начале девяностых мы умирали с голоду. Чего не было – того не было. Мы, как я уже говорил, ездили за продуктами в Москву. Кроме того, мне как химику на работе выдавали молоко, правда, синее и полупрозрачное, из которого жена делала творог и даже сыр. В Институте биохимии и физиологии микроорганизмов можно было раздобыть то ли какие-то ферменты, то ли какие-то микроорганизмы, которые превращали творог в сыр. Отвратительный, надо сказать, сыр, но есть его было можно. Тем более что другого-то и не было. Мы тогда были на все руки мастера – фильтровали, к примеру, от осадка подсолнечное масло (тогда продавалось только с осадком) и консервировали все, что консервируется. К счастью, жена умела шить и шила одежду детям, а я умел чинить ее швейную машинку «Подольск».

На работе мы при помощи специальных вакуумных роторных испарителей пытались делать гущенное молоко, упаривая под вакуумом обычное, которое нам, химикам, выдавали за вредность. Мы даже выделили для этих целей отдельный испаритель. Яйца, правда, не насиживали. И то лишь потому, что их трудно было достать. Вот, написал «достать», а не купить. Память сама вытаскивает из запасников нужные слова. Мы тогда все больше доставали, а не покупали. Однажды дочь за завтраком ела с боем взятое в какой-то очереди яйцо. Ела так, как едят дети двух или трех лет отроду, которые хотят есть сами – машут руками, ложкой и в конце концов роняют яйцо, сваренное всмятку, на пол. Бывший рядом сын, которому уже исполнилось лет пять, стал обстоятельно объяснять сестре, как трудно было достать это яйцо, как дорого оно стоило, и довел мать, украдкой наблюдавшую за этой сценой, своими воспитательными словами до слез. Через несколько лет, когда сын подрос, он начал спрашивать у меня, почему убили царя – «ведь при нем же все было»? Лет через пять или семь подросшая дочь (не пропускавшая ни одной передачи «Куклы») таких вопросов не задавала. Она уже точно знала, что «во всем виноват Чубайс». Так она и отвечала на вопрос, почему не вытерта пыль или не выучено заданное на завтра стихотворение.

Мы не жаловались, потому как другой жизни и не видели. Талоны на приобретение лампочек, одежды и других промтоваров мы разыгрывали на работе в лотерею. Однажды мне крупно повезло, и я выиграл туфли Salamander⁴. Сказать, что мне завидовали – значит не сказать ничего. Когда в следующий раз разыгрывали джинсовые куртки из вареной джинсовой ткани, меня вычеркнули из списков участников розыгрыша, поскольку я уже получил туфли и по негласным правилам должен был пропустить ход. За пропуском хода следили строго.

После того как открылись и даже отверзлись границы, народ из нашего пушинского филиала института биоорганической химии стал уезжать. Уезжали, понятное дело, не худшие. Буквально за несколько лет уехала половина списочного состава кандидатов наук. Ехали в основном в Штаты. Мой товарищ, уезжая, сказал мне: «Мишка, социализм в этой стране пустил слишком глубокие корни. Жизни не хватит, чтобы их выкорчевать».

Каждый квартал или чаще устраивались у нас отвалы. Отъезжающие были возбуждены открывающимися перспективами, а провожающие просто напивались от тоски разбавленным казенным спиртом. На каждой из этих вечеринок вспоминалась мне строчка из Хайяма «Пей! Дорога туда далека. Из ушедших никто не вернулся пока». Из того, что осталось в памяти от тех времен, чернее этих отваловых нет ничего. Уезжали большей частью гениальные инженеры, а не химики, очередь которых пришла позже. Уезжали люди, с которыми можно было обсудить свою работу. Люди, без которых Филиал института биоорганической химии превращался в... Из тех, кто уехал, вернулось, на моей памяти, человека три, включая меня. Уезжая куда-то в Аризону, мой коллега наклеил на стену одной из наших лабораторных комнат под самый потолок что-то вроде мемориальной доски из ватмана, на которой было фломастерами написано, что в этой комнате с такого-то по такой-то год работал выдающийся ученый... Товарищ потом приезжал в отпуск и приходил смотреть на этот кусок ватмана. Хотел его забрать, но я не отдал. Когда скотч, которым он был

прикреплен, начинал высыхать, я подклеивал новый. Это ощущение того, когда вокруг уезжают, а ты остаешься... как у Байрона в Дон Жуане: «Что эта грусть неведомая значит? Ничто не умерло, но что-то плачет!» Как говорила моя бабушка: «Нашим врагам испытывать такие чувства».

Я не уезжал. Просто потому, что у меня была интересная работа, и у группы, которой я к тому времени стал руководить, были результаты. Они (результаты) были такого качества, что их брали печатать серьезные журналы в Штатах и в Европе. Смысла в отъезде я не видел пока никакого. Я уехал потом, в самом начале двухтысячных, когда все стало налаживаться. По крайней мере, нам казалось, что стало.

¹Со шпротами была связана отдельная история. В девяносто втором году поехал я в Японию, на симпозиум по химии пептидов. В первый раз я пересекал границу нашей, тогда еще одной шестой, а не одной девятой, как сейчас, части суши. Все расходы по моему вояжу оплатила принимающая страна, то есть Япония. Мне туда очень хотелось попасть, и я, титаническими усилиями преодолев стеснение и неловкость, написал в оргкомитет симпозиума, рассказал о своей работе и, умирая от стыда, попросил денег на дорогу и проживание. Добрый оргкомитет (тогда все нас любили и были к нам добры) написал мне, что работа у меня интересная и он все оплатит, а от меня требуется только правильно оформить бумаги, сесть в самолет, потом в поезд... На вокзале города Сидзуока меня должны были встретить, выдать причитающиеся командировочные и поместить в гостиницу. Я все оформил и полетел. С собой у меня были сто долларов, которые мне дал отец на всякий случай и, конечно, запас еды – мало ли как там будут кормить. Ну и сэкономить, само собой, нужно было немного японских иен, чтобы купить хотя бы настоящий японский зонтик жене и что-нибудь японское детям, родителям и сослуживцам. Запас еды представлял собой банку шпрот, банку еще каких-то консервов, пачку печенья, копченую колбасу, какое-то количество чайных пакетиков и, кажется, полбуханки бородинского хлеба. Ну, и кипятильник. Куда же без него. Сейчас даже неловко вспоминать про эти шпроты и полбуханки бородинского, а тогда... тогда тоже было неловко.

Приземлился я в токийском аэропорту Нарита. Вышли мы из самолета с моим спутником, профессором Митиным, сотрудником академического института Белка, и направились к подземному экспрессу, чтобы ехать в Токио и далее в Сидзуоку. Подходим к поезду, и Юрий Васильевич меня просит:

– Миша, если мне достанется место против хода поезда, а вам по ходу – вы не против будете поменяться? Не люблю я ездить против хода – голова кружится.

– Да, ради бога, – отвечаю. – Конечно, меняемся.

Тут как раз поезд подходит, и я вижу, что все сиденья в нем, как по команде, поворачиваются по ходу. Как потом выяснилось, их вообще можно и самому поворачивать, если едешь большой компанией. Не успел я закрыть раскрытый от удивления рот, как увидел бегущую строку с прогнозом погоды и курсами валют...

Так вот, про шпроты. Ближе к концу моей поездки* сидел я вечером у себя в номере и пил чай. Он был бесплатный. Кормили нас как на убой. Колбасу я еще кое-как съел, но на шпроты и бородинский смотреть не хотелось. На сэкономленные деньги я купил два зонтика – жене и маме. Накупил целую сумку японских сувениров и перчатки трехлетнему племяннику. Я даже и представить себе не мог, что на таких маленьких детей делают перчатки. Смотрел я на эту сумку, полную разных вещей, и думал: как непросто живется людям, у которых все есть – и зонтики, и перчатки, и телевизоры, и машины, и книги, и свежие огурцы в любое время года. Им нужно думать о том, как жить, зачем жить, быть или не быть, что читать... Я только на мгновение представил себе, как думаю только о работе, о том, что стихи не пишутся или о том, зачем я живу... и мне стало не по себе. Шпроты (правда, после долгих колебаний) я все же не выбросил – привез домой.

*Ближе к концу моей поездки я оторвался буквально на минуту от прослушивания докладов и участия в самых различных дискуссиях, взял чашку кофе и сел на веранде здания, в котором проходил наш симпозиум. С веранды открывался вид на гору Фудзи. Это был такой красоты вид... Если бы меня сейчас пригласили на симпозиум по химии... да на какой угодно симпозиум в город Сидзуоку, я бы, наверное, все пять дней просидел на веранде, любуясь белоснежной вершиной потухшего вулкана, но... «в горах мое сердце, а сам я внизу».

² В те годы я вел дневник и все эти подробности про талоны, чеки-приглашения и окурки взял из него. К сожалению, хроникер из меня получился никудышный – вместо того, чтобы описывать в подробностях происходящее вокруг, я заполнял страницы дневника стихами собственного сочинения, размышлизмами, переживаниями...

³ На самом деле, может, и не Катон Старший, а кто-то другой из древних римлян. Со школы засело это сравнение в голове. Искал я, искал и не смог найти, кто это сказал, но не пропадать же хорошему сравнению.

⁴ На следующий день я в них пришел на работу. Обычно мы на работе переобуваемся и надеваем халаты – что ни говори, а химия все же не физика и тем более не география. В тот момент, когда я вошел в нашу лабораторную комнату и сделал несколько шагов по направлению к своему рабочему месту, чтобы переобуться и надеть халат, кто-то (я до сих пор, спустя сорок лет, помню кто) совершенно случайно выронил из рук пятилитровую бутылку с тетрагидрофураном. Это, в принципе, малоопасный растворитель и относится к четвертому классу опасности, но в высоких концентрациях... Нам всем пришлось быстро покинуть помещение. Кроме тех, кто надел противогазы и стал ликвидировать образовавшуюся лужу. Среди этих последних был и я. В лужу я, конечно, умудрился наступить. Растворитель на то и растворитель, чтобы растворять все, что в нем растворяется. Полимерные подошвы моих новых туфель не растворились, конечно, насосем, но шел я по полу, оставляя жирные черные следы сорок второго размера. Сказать, что я был расстроен – значит не сказать ничего.

Между любит и не любит лежит огромное поле, на котором и любит, но по-своему, а не так, как тебе хочется, или любит, но не жалеет, или жалеет, но не любит, или любит, но не заботится и тут же рядом заботится, но не любит, и понять, где кончается одно и начинается другое, совершенно невозможно, или любит, но редко говорит об этом или вовсе не говорит, а только вздыхает как лошадь и все подкладывает на тарелку то конфету, то бутерброд с икрой, то колечко с камнем, то шубу норковую, то ключи от машины... или говорит без умолку, но на тарелке при этом шаром покати, или ключи от стиральной машины, или не умеет любить, но очень старается, или умеет, но не старается, или делает вид, что не умеет, а на самом деле... или любит, но не тебя, а то, что сама выдумала из головы – ты просто удачно подвернулся и совпадаешь с этим выдуманным, но не совсем, а почти, и из-за этого почти обиды, ссоры и даже скандалы с битьем посуды, или думает, что любит, а на самом деле просто не хочет быть одна; или не любит, но привыкла к тебе так, что жить без тебя не может, или может, но не хочет, или хочет, но сама не знает чего – то ли черешни, то ли в Венецию, то ли скандала с битьем посуды, или знает, но не говорит, а считает, что ты непременно сам должен догадаться, и попробуй перепутай черешню с клубникой, Венецию с Парижем, а скандал с битьем посуды... его ни с чем не перепутаешь.

Хорошо художнику – выбрался на пленэр, поставил мольберт, выдал на палитру из тюбиков разных красок, перемазался в них с ног до головы, и пиши себе на здоровье и луг с цветами, и реку, и плывущие по ней облака, и рыбака, застывшего в лодке с удочкой в руках, и купальщиц, принимающих томные позы перед тем, как войти в воду. Другое дело писатель. Он красками не отделается. Ему нужно из своих тюбиков выдать не просто слова, а такие слова, которых никто до него не выдавливал и не абы как смешать их, а расставить в наилучшем порядке. Художник увидел землянику, взял красную краску для ягод, зеленую для листочков, золотую для солнечных зайчиков, черную для муравья, ползущего по стеблю и... а писателю этих обычных слов, которые кто хочешь написать может, мало будет. Ему нужно описать и стебелек, и муравья, и запах нагретой солнцем земляники, смешанный с запахом сосновой смолы и ягодки, приходящие после цветочков, и губы, непременно полные и чувственные, перепачканные земляничным соком, и вкус земляничных поцелуев, от которых голова... нет, две головы идут кругами, похожие на круги на воде, когда с размаху ныряешь в омут головой, и не забыть про щекотку от муравья, забравшегося туда, куда даже комар не кусал... или это щекотка от солнечных зайчиков, которую нужно описывать не чесательными, а совсем другими, золотистыми и чихательными словами. Про рыбака и говорить нечего. У художника он может быть в самом углу картины и напоминать крошечное зеленое пятнышко с пририсованным к нему черным штрихом удочки, а писатель опишет и удочки, и поплавки, приплывающие на волнах от промчавшегося мимо моторного катера с шумной компанией из трех беспрестанно хохочущих девиц и одного молодого человека с татуированными на мускулистом правом предплечье японскими иероглифами «мисо суп», и резиновую лодку, и сорвавшегося с крючка леща толщиной с мускулистую руку молодого человека с татуировкой «мисо суп», и кулан с двумя подлещиками величиной с ладонь и одной щучкой, и рюкзаки на дне лодки, и спрятанную в нем бутылку водки, и бутерброд с салом и чесноком в полиэтиленовом пакете, и в нем же облепленную табачными и хлебными крошками шоколадную конфету «Ласточка» без обертки, которую положила ему дочь пяти или шести лет, которой он обещал поймать золотую рыбку. Да, были еще и купальщицы... Художник напишет их белые с розовым тела, распущенные волосы, красиво изогнутые руки, а писатель... писатель прибавит, что приехали они сюда на выходные с друзьями, что мужики напились и уснули, вместо того, чтобы... а один не уснул – так лучше бы спал, что завтра они свернут свои палатки и уедут в город, потому что в понедельник на работу, а через месяц или полтора одна из этих купальщиц обнаружит, что беременна, и поделится с подружкой, а та, поохав, спросит ее: – Люсь, ну как тебя угораздило-то? Колька же лыка не вязал, не говоря о том, чтобы... но все это будет далеко за рамками картины и даже стены, на которой её повесят.

Нынешняя власть куда как либеральнее той, которая была когда-то. Многим общественным и культурным деятелям разрешают безнаказанно молчать. Правда, еще не все культурные деятели этой возможностью пользуются, но это ничего. Научатся. Какие их годы...

Нет такого писателя, который время от времени не представлял бы себе картины своей загробной жизни...¹ То есть не картины загробной жизни, а картины посмертной славы, пусть и в посмертной славе, как сказал Байрон, толку нет. Перед мысленным его взором вереницей проходят памятники из гранита, голуби, почетный караул, прием детей в читатели у подножий своих памятников, чтение стихов, хороводы, энциклопедии, переиздания собраний сочинений в кожа-

ных переплетах с золотым тиснением, научные конференции, посвященные одному роману или даже одному стихотворению, километровые очереди за их книгами во всех магазинах, включая продуктовые и аптеки, мемориальные мраморные и бронзовые доски и дощечки везде, где они когда-то жили, или проходили мимо, или могли проходить, но проехали не задерживаясь на такси или трамваях, с прикрепленными к ним (к такси и трамваям, а не к писателям) мемориальными мраморными или бронзовыми досками, цитаты из произведений, написанные золотыми буквами на фронтонах, колоннах и диорамах...²

Впрочем, это всё представляют себе знаменитые писатели. Незнаменитые о таком и мечтать не смеют. Представляют себе какие-нибудь пыльные районные библиотеки, разошедшие книжные полки, потрепанные книжки и самых обычных читателей, выбирающих себе что-нибудь почитать на выходные, или перед тем как уснуть, или после того как проснешься среди ночи и заснуть не можешь до самого утра. В будущем читать художественную литературу будут в основном люди пожилые. Те из них, у кого на это будет время и желание. Чаще всего пенсионеры, а у них бессонница. Не пойдешь же ночью в огород пропалывать картошку или поливать в саду пионы, да и суставы, артроз, радикулит, а ночью сырость... Короче говоря – от безысходности начнешь читать.

Читает, значит, пенсионер, читает, потом книгу закроет, положит на тумбочку, ночник включит и попытается заснуть, а перед сном представляет себе писателя – каким он был, что ел на обед, во что одевался, что говорил жене, когда нужно было задержаться на очередном литературном вечере на день или два, и чем болел. Не после этих вечеров, а вообще. Что ему жена устраивала, когда он возвращался домой. Просил ли он у нее прощения или уходил к себе в кабинет, гладил кошку и непрерывно курил, глядя невидящими глазами на исписанный лист бумаги с незаконченным романом или стихотворением. Или не было у него никакого кабинета, и курил он на кухне или вовсе на лестничной площадке, где и ночевал на коврик у дверей. Когда он успевал писать романы – в перерывах между семейными скандалами или наоборот – семейные скандалы происходили между романами. Жил ли он за счет продажи своих книг или служил бухгалтером в троллейбусном парке, а в свободное от работы время писал стихи. О чем он думал, когда не мог уснуть. Пробирался ли тихонько на кухню и там, в углу, за кухонным столом, поедая оставшиеся от ужина слипшиеся пельмени, писал на листках школьной тетради о небе в алмазах, о неземной любви и о меренговых рулетах с клубникой или о небе, из которого бесконечно идет дождь, о земной любви и о котлетах с макаронами, или не писал, а выпивал рюмку водки, зажевывал лавровым листом, ложился спать и отворачивался лицом к обоям. Интересно, какой рисунок был на обоях, к которым он отворачивался – цветочные или геометрические узоры... Спал ли он с женой под общим одеялом или... толкала ли она его ногой, когда он храпел, или...

На этом месте писатель, воображающий себе читателя, начинает спорить с воображаемым читателем, воображающим писателя и уверять его, что на коврик он никогда в жизни не спал, что на кухне у него не угол стола, а как минимум половина, и отворачивается к стене обычно жена, а он во сне отворачивается лицом в какую-хочешь сторону. Обоим у них в спальне вообще нет, а вместо них гладкие крашенные в ядовитый фиолетовый цвет стены, на которых развешаны какие-то идиотские макраме, связанные женой. Никакие слипшиеся пельмени он по ночам не ест, а только выпьет рюмку водки и закусит куском селедки с луком, но чтобы лавровым листом... ну да, лавровым листом, чтобы отбить запах лука и потому, что у жены нюх как у легавой собаки, и не ногой она толкается, а рукой. Про котлеты с макаронами и тем более про меренговые рулеты с клубникой он никогда не писал, а писал про цыпленка табака в пряных травах, про соленые грузди в сметане, про уху с рассейками, про блины с икрой, про мечты, настоянные на... Кстати, рассейгаи прекрасно рифмуются с мелкими пуговичками или крючками, которые обычно... Как раз в одном из своих стихотворений... и тут писатель замечает, что воображаемый читатель давно спит.

¹ Какая у писателей загробная жизнь... графоманам в аду дадут гусиное перо со страшным противным скрипом и велят бесконечно переписывать, к примеру, «Братьев Карамазовых» или сцену разговора князя Андрея с дубом, пока рука не отвалится, а как отвалится – черти ее приставят, и снова переписывай, а своего писать даже и думать не могли. Хорошим писателям... да то же самое, только по воскресеньям разрешают не писать, но вместо этого заставляют топить своими и чужими книгами котлы, а свои откладывать незаметно в сторонку и думать не могли.

² Диорама. Лев Толстой пишет роман «Война и мир» – это, конечно, не диорама Бородинской битвы с барабанным боем, кликами и скрежетом, но... представьте себе разбросанные в беспорядке толстовки, смазные сапоги, бархатные портянки с вышитыми на них по углам серебряными и золотыми нитками маленькими скрещенными гусиными перьями и косами, сами косы, дворовых девок, брюхатых дворовых девок, тарелку с недоеденной овсяной кашей и скорлупу от множества яиц на письменном столе, горсть оловянных солдатиков, дубину народной войны, большую седую бороду лопатой и босые пятки, торчащие из полукруглой стены, на которой написаны водяными красками по сырой штукатурке портреты Льва Николаевича и Софьи Андреевны, одной рукой переписывающей в шестой раз сцену выяснения отношений дуба с князем Андреем, а другой бегущей в замешательстве к пруду.

Ночью гремел гром, сверкали молнии и шел проливной дождь. Лежал с закрытыми глазами и представлял, что за окном горы, непроходимый тропический лес и река, полная крокодилов и пираний, или не река, а марсианский Лабиринт Ночи на краю долин Маринер, по каньонам которого ранней весной ползут на север с несмолкаемым шорохом миллионы проснувшихся после зимней спячки песчаных многоножек. Рано утром проснусь, возьму с собой собаку, сяду в лодку и поплыву по черной и рябой от моросящего дождя воде, мимо качающихся на волне оранжевых и фиолетовых открытых кувшинчиков, подстерегающих чересчур любопытных полупрозрачных мотыльков и шестиногих головастика, усыпанных гроздьями то и дело мигающих перламутровых глаз. Подвесной мотор лодки тарыхтит убаюкивающе, и за место на его теплом кожухе грызутся две похожих на бипланы стрекозы, с огромными жвалами, усеянными острыми треугольными зубами. Вдали, у самого горизонта, на уходящих в стратосферу склонах потухшего вулкана беззвучно сверкают зеленые молнии. Воздух пахнет мокрым ржавым железом, в шевелящихся зарослях растущей по берегам высокой остролистной травы что-то шуршит, свирепо взрывается, стонет, вздыхает и кто-то долго, пронзительно пищит нечеловеческим голосом и будет пищать, пока в него не кинешь тапком или не придавишь подушкой.

Задумался о будущем электронных книг. Наверное, книга, кроме автора текста, будет иметь своего режиссера, звукорежиссера, аниматора и программиста. Со звукорежиссером все просто – там, где герой или героиня идут по берегу моря, их прогулку будет сопровождать шум прибоя. Там, где Холмс и Ватсон перепрыгивают с кочки на кочку, пробираясь по Гримпенской трясине, – там, конечно, их сопровождает леденящий душу вой. Ну, а где два рыцаря мчатся навстречу друг другу верхом с копьями наперевес и размахивают двуручными мечами – там будет слышен топот копыт, звон мечей, бой барабанный, клики, скрежет, а для читателей постарше предсмертные хрипы, бульканье крови и мольбы о пощаде. Про любовные романы и говорить нечего.

Кстати, о крови. Вот тут пригодится анимация. Буквы во фразе и сама фраза «Темная кровь толчками выплескивалась на асфальт из его перерезанного горла» должны краснеть и оплывать каплями вниз по белой странице¹. Такая книга перед сном, когда уже выключен ночник... или чи-

таете вы, к примеру, «Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса...», а за буквами по осеннему небу бегут серые тучи или сеется мелкий дождь, и время от времени вдруг откуда-то с самого верху страницы падает желтый или красный кленовый лист и медленно кружится, кружится... или пробивается сквозь тучи редкий солнца луч. Само собой, звукорежиссер добавит и шум дождя, и свист ветра, и звуки, с которыми гусей крикливых караван тянется к югу, и даже простуженный кашель. Последние, наполовину пустые, страницы рассказов, повестей или романов тоже будут анимировать. Куда-нибудь за горизонт или в горы будет уходить главный герой или героиня, или оба они уедут на синем троллейбусе, или улетят на ракете к чертовой матери оставлять свои следы на пыльных тропинках далеких планет, кто-то крикнет «горько», а у кого-то по усам будут течь мед с пивом, и на страницу натечет целая лужа.

С запахами все сложнее. Сначала-то я придумал маленькую коробочку с генератором запахов, которую можно прикрепить поближе к носу во время чтения. Она будет у себя внутри смешивать с помощью микро- или даже наномешалки разные ингредиенты, и в то самое время, когда главный герой дарит главной героине букет роз, а она, как это принято в любовных романах, утыкает в него счастливое лицо, вы почувствуете запах роз, крема для лица, духов... Все это очень сложно и вряд ли технически осуществимо. Запахов существует море, и не одно, и коробочка может превратиться в огромный контейнер, который займет целую комнату, да и качество таких смесей будет оставлять желать лучшего. Мне кажется, что нейропрограммисты, которые появятся в недалеком будущем, а может, уже и появились в секретных лабораториях секретных организаций, напишут специальные нейропрограммы, с помощью которых можно будет убедить наш мозг в том, что он ощущает запах роз, или ветчины, или лошадиного пота, смешанного с запахом гаванских сигар. К тому времени электродов не нужно будет вживлять в мозг при чтении. Все аккуратно и целенаправленно войдет в голову каким-нибудь беспроводным способом. Тут, конечно, открывается такой простор, от которого дух захватывает. Такие нейропрограммы могут убедить мозг в чем угодно. Представим себе на мгновение, что главный герой прыгает с парашютом или плывет по морю, а его догоняет акула, и он чувствует... или наоборот – в этот момент нейропрограмма убеждает твой мозг в том, что ты акула и тебя будоражит запах крови, идущий от раны на его левой ноге. Про любовные романы и говорить нечего. Впрочем, это уже очень далекое будущее, при котором и сама книга с ее текстом будут, наверное, не нужны. К тому времени мы все одичаем, покроемся шерстью с ног до головы, и нас будет заботить только одно – где достать денег, чтобы купить такие нейропрограммы, чтобы без всяких книг...

¹ Как книга узнает, что вы читаете именно эту фразу и буквы с фразами должны краснеть и оплывать? Очень просто. Книга будет следить за движениями ваших глаз, за тем, как вспотели кончики пальцев, которыми вы держите планшет или телефон, на сколько сотых долей градуса изменилась их температура, как участился ваш пульс и поднялось ли давление. Короче говоря, книга тоже будет читать вас, и в нужных местах, чувствуя, что вы слишком волнуетесь, просто отключится и предложит подождать, пока давление придет в норму. Наверное, найдутся умельцы, которые смогут отключать все эти функции слежения, но такие взломанные книги будут стоить дорого и купить их можно будет только с рук.

Алексей ГОЛИЦЫН

«ЯКОВ ВЕБЕР ПРОПОВЕДОВАЛ ГИБЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ»

В биографии выдающегося художника Якова Вебера (1870–1958) до настоящего момента отсутствовали задокументированные сведения периода 1938–1939 гг., когда он был репрессирован и приговорен к лагерному сроку за антисоветскую деятельность. Как в дальнейшем определил суд, конкретных фактов обвинения Веберу не предъявляли, арестован он был без санкции прокурора и с материалами дела его не знакомили.

На момент ареста Яков Яковлевич Вебер жил в селе Мюльберг Добринского кантона Республики немцев Поволжья (ныне – Щербатовка Камышинского района Волгоградской области). Населенный пункт был достаточно крупным – более 2000 жителей, практически все – этнические немцы.

15 марта 1938 г. начальник кантонного отделения НКВД подписал постановление, из которого следует, что Яков Вебер «на протяжении ряда лет устраивал у себя на квартире радиослушание иностранных радиостанций и в особенности Германию, всячески опошлял проводимую политику ВКПб и мероприятия советской власти, проповедовал гибель советской власти и прихода к власти фашизма, также имел письменную связь с заграницей – Америка, куда посылал письма клеветнического характера о жизни в СССР»¹. Постановление, подразумевавшее арест и водворение 68-летнего художника в камеру предварительного заключения, было одобрено вышестоящим чекистом почему-то лишь 16 апреля, и это было начало череды вопиющих нарушений закона в деле Якова Вебера.

Художник был арестован 15 марта в своем доме. При обыске присутствовали трое гражданских, читается фамилия лишь одного – возможно, этот Эйхман и дальше будет фигурировать в деле в качестве свидетеля. Были изъяты документы, письма, фотокарточки, книга «История искусств», фотоаппарат, радиоприемник, а также «ружье старое с патронами и 500 грамм пороху». В анкете арестованного указано, что Яков Яковлевич Вебер – «законтрактованный художник Центрального музея Немреспублики», происходит из крестьян-бедняков, окончил художественную академию в Ленинграде (так!) в 1909 году, семья его состоит из жены Леонтины Ивановны. И самое важное – несмотря на декларируемые симпатии к большевикам, Вебер никогда не состоял в ВКП/б/.

К уголовному делу, возбужденному против Якова Вебера по ст. 58 п. 10 (антисоветская пропаганда), приложена характеристика от сельсовета Мюльберга, где указано, что художник систематически использовал наемный труд, входил в подпольную секту бетбрудеров («Братьев молитвы») и занимался религиозной пропагандой.

В день ареста Вебера был допрошен первый свидетель – заведующий складом горючего Мюльбергской МТС Яков Вайнбендер. Малограмотный односельчанин припомнил события 1932 года, когда Вебер якобы сообщил ему, что «советская власть – это явление временное, ибо такой власти во всем мире нет», а также, что «в Евангелии про колхозы ничего не сказано, а поэтому они существовать не должны».

20 марта на допрос вызвали участкового инспектора нархозучета Готфрида Лаубгана. Этот член колхоза сделал несколько важных заявлений. Он подтвердил, что «Вебер в своем доме имел приемник, посредством которого слушал заграничные радиостанции, в особенности Германию».

¹ Здесь и далее цитируется архивное уголовное дело № 6237-пф, хранящееся в УФСБ РФ по Волгоградской области.

По словам Лаубгана, художник услышал по радио, что «коммунисты в строительстве социализма делают большие перегибы, от которых люди терпят голод и нужду». А главное, Лаубган донес о тесных связях Якова Вебера с бывшим профессором Эмилем Адамовичем (в деле – Адольфовичем) Майером (Мейером). Последний был известен до революции как главный садовник ботанического сада Императорского Московского университета и главный садовник при губернаторе Москвы. К времени ареста Вебера Майер уже был арестован как враг народа, осужден за «контрреволюционную организационную деятельность» и выслан в Казахстан.

21 марта по делу Вебера были допрошены еще двое: садовод Карл Эйхман и ведерник-кустарь Федор Винтер. Первый, оказалось, давно следил за соседями и сообщил, что Майер и Вебер ходили друг к другу в гости с 1929 года, а художник еще и говорил о «предстоящей войне с Германией».

Свидетель Винтер добавил, что художник и профессор «пьянствовали», и Вебер якобы утверждал, что «в Германии действительно люди живут, наслаждаются, не как у нас в СССР, где всех крестьян загнали в колхозы и эксплуатируют их день и ночь, а за труд ничего им не платят».

25 марта, наконец, был вызван на допрос и сам обвиняемый. Вебер не стал отрицать факт знакомства с профессором Майером, однако заявил, что антисоветской агитацией никогда не занимался. «В Америку я писем не писал и о жизни колхозников не клеветал, вся моя вина состоит в том, что я в 1921 году с Америки от мужа моей тети Вольф Вильяна получил 10 рублей деньгами», – записано в протоколе допроса Вебера.

При этом неожиданным выглядит следующий подробный рассказ Вебера:

«В мою квартиру зашел жандармский генерал-майор по фамилии Иванов Александр Иванович и сказал мне: «Я только что в магазине купил вашу картину “Пейзаж после дождя”». И тут же предложил мне сделать ему еще несколько картин, в частности предлагал написать нагую женщину... После этого Иванов мне предложил явится к нему в квартиру... и сфотографировать находящуюся у него квартире женщину. После этого случая я стал посещать квартиру жандарма Иванова примерно с 1894 до 1897 года, время свидания Иванов мне назначал с 9 до 11 часов утра».

Последний свидетель Давид Беккер был допрошен 8 апреля. 30-летний директор соседней Гебельской МТС с двумя классами образования, судя по анкете, едва освободился из мест лишения свободы, т.к. был осужден в 1933 г. к пяти годам, но при этом оставался членом партии. Беккер подтвердил показания своего коллеги по МТС Вайнбендера и утверждал, что в 1932 году они оба были дома у Вебера, который «пытался обрабатывать их в антисоветском направлении».

В тот же день, 8 апреля, Якова Вебера вызвали на две очные ставки: с Лаубганом и Вайнбендером. Свидетели слово в слово повторили свои показания, но Вебер виновным себя не признал, а односельчан назвал лжецами.

Обвинительное заключение было изготовлено также 8 апреля. Якову Веберу вменялось в вину знакомство с жандармским начальником Ивановым и «разоблаченным шпионом» Мейером. При этом уточнялось, что у Мейера «на квартире систематически устраивались контрреволюционные собрания, где присутствовали предсовнаркома АССР НП Фукс¹, секретарь немобкома Фрешер² и другие представители редакции Deutsche Zentralzeitung». Отметим, что ни на каких этапах следствия по делу Вебера высокопоставленные функционеры Республики Немцев Поволжья не фигурировали.

Кроме того, сотрудники НКВД по Добринскому кантону постановили передать дело на рассмотрение особого совещания, руководствуясь... оперативным приказом НКВД СССР № 00485 «Об операции по репрессированию членов Польской военной организации в СССР».

Особое совещание заслушало дело 5 августа 1938 года и постановило заключить Якова Вебера в исправительный трудовой лагерь сроком на 10 лет за контрреволюционную деятельность. На

¹ Фукс Генрих (Андрей) Михайлович (1895–1938) – председатель ЦИК и Совнаркома АССР Немцев Поволжья (1933–1934). Расстрелян.

² Фрешер Евгений Эдуардович (1890–1938) – первый секретарь обкома ВКП(б) АССР Немцев Поволжья (1932–34, 1934–36, 1937), председатель Саратовского крайисполкома (1936–37). Расстрелян.

протоколе стоит штамп «Выписка направлена для направления в Карлаг», т.е. в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, где и начал отбывать срок художник.

К сожалению, в копиях уголовного дела отсутствуют две страницы, поэтому по-прежнему невозможно утверждать, по какой причине первое постановление особого совещания спустя 16 месяцев было пересмотрено и 23 декабря 1939 г. вынесено новое, по которому наказание Веберу было снижено до 5 лет высылки.

Фамилии работников НКВД, имевших отношение к делу Якова Вебера, до сих пор не раскрыты, кроме одной. Речь идет о Федоре Гнездилове, проходившем службу в АССР Немцев Поволжья до 2 июня 1939 г. Яков Вебер вспоминал, что «Гнездилов (из с. Добринки около г. Камышина) приехал ночью домой, взял много моих личных вещей (фотоаппарат, охотничье ружье, фотоснимки и рисунки) и разорвал весьма важные документы о моей общественной деятельности и полученных премиях. После его визита пропало многое – этюды, эскизы. Следовательно Гнездилов делал со мной все, что хотел, по несколько дней не давал спать, опрашивая меня по ночам, он постоянно угрожал мне своим “наганом”, допрашивал многих свидетелей, но свидетели меня только защищали»¹.

Свидетель Давид Беккер был мобилизован в трудармию, откуда 26 февраля 1943 г. попал в Богословский исправительно-трудовой лагерь.

Яков ВайнбENDER после начала войны был осужден на спецпоселение в Тюменскую область, освобожден в 1956 г. и реабилитирован в 1998 г.

Федор Гнездилов дослужился в СМЕРШ до подполковника, и 6 ноября 1945 г. был награжден орденом Красной Звезды за выслугу лет.

Яков Вебер выжил в алма-атинской ссылке и на спецпоселении. Будучи заслуженным художником АССР Немцев Поволжья, он безуспешно подавал документы в алма-атинский Союз художников, тщетно пытался собрать свои живописные работы, разбросанные по городам Советского Союза, чтобы устроить персональную выставку.

29 декабря 1956 г. президиум Сталинградского областного суда прекратил дело Якова Вебера за недоказанностью обвинения. После реабилитации, в 1957 г. художник переехал в город Цивильск Чувашской Республики, где умер 20 февраля 1958 года.

Автор выражает признательность за всестороннюю помощь в подготовке публикации Владимиру Леонгардовичу Веберу.

I

Л.д. 5.

Р.С.Ф.С.Р.

А.С.С.Р. Н.П.

МЮЛЬБЕРГСКИЙ

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Добринского кантона

<...> Март 1938 г.

№ 14/2103

Mühlberg

с. Мюльберг

Характеристика

на гр[ажда]н село Мюльберг Добринского к[анто]на АССРНП Вебер Яков Яковлевичу

¹ Письмо Я.Я. Вебера К.Е. Ворошилову от 18.04.1956 г. цитируется по: Талант от Волги: Художник Яков Вебер (1870–1958): К 135-летию со дня рождения / В.Г. Хорошилова. – Нижний Новгород: Деком, 2005.

Гр-н Вебер родился 1870 году по сколько с/совет известно то гр-н Вебер родился в Город Бальцер на основание этого с/совет его соц[иальное] происхождение не известно. Гр-н Вебер занимался во время проживания в селе Мюльберг до и после революции с художником и одновременно фотографии. Что касается его поведение то следует сказать что гр-н Вебер систематически использовала наемная труд являлся Бетбрудер, занимался с религиозни пропаганды, при Выборо верховни совет СССР 12 декабря 1937 г. он сказал что этого нестоит ходит на перевыбора что и удостоверется

Пред с/совета [Вазенмюллер?]
Секретарь: [Бауэр?]

2

Л.д. 17-18.

СССР

Народный Комиссариат Внутренних Дел

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АССРНП

Протокол допроса
К делу 4690

1938 г. Марта 15 дня. Я, П. о/упол. Добринского к/о НКВД [] допросил в качестве свидетеля

1. Фамилия	Ваинбендер
2. Имя и отчество	Яков Георгович
3. Дата рождения	1902 г.
4. Место рождения	с. Мюльберг Добринского кантона АССРНП.
5. Местожительство	там же
6. Нац. и гражданство (подданство)	Немец гр-н СССР
7. Паспорт	Нет. Село не паспортизировано
8. Род занятий	Зав. складом горючего Мюльбергской МТС.
9. Социальное происхождение	Крестьянин-середняк
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)	
а) до революции	Хлебопашество
б) после революции	служащий
11. Состав семьи	женат семья 4 чел.
12. Образование	м/грамотный
13. Партийность (в прошлом и настоящем)	б/п.

14. Каким репрессиям подвергался	
а) до революции	–
б) после революции	Не судим
15. Какие имеет награды при совласти	Нет
16. Категория воинского учета-запаса	1/Состоит
17. Служба в Красной армии	Не служил
18. Служба в белых и др. контрревол. армиях	Не служил
19. Участие в бандах, контрревол. организациях и восстаниях	Не участвовал
20. Сведения об общественно-политической деятельности	Нет.

Показания свидетеля *Вайнбендер Яков Георгова 15 марта 1938 г.*
ст. 95 УК разъяснена= Вайнбендер

1. Вопрос.

Что вам известно о контрреволюционной агитации со стороны Вебер Яков Яковлевича.

1. Ответ.

Из фактов а/советской агитации мне известны следующие:

В 1932 году Вебер Яков Яковлевич занимался распространением религиозной пропаганды он колхозникам села Мюльберг внедрял:

«библейское писание верное и что этому писанию нужно верить, в Евангелии говорил Вебер про колхозы ничего не сказано а поэтому они существовать не должны».

Второй раз в 1932 году в его квартире Вебер Яков Яковлевич в присутствии меня заявил:

«Советская власть это явление временное ибо такой власти во всем мире нет и быть не должно. По этому я считаю в колхозе работать не следует».

Свои показания могу подтвердить на очной ставке с обвиняемым Вебер Яков Яковлевичем. Протокол мне зачитан и записан с моих слов верно

Ксему Вайнбендер

Допросил п. о/упол. к/о НКВД *подпись*

3

Л.д. 19-20.

СССР

Народный Комиссариат Внутренних Дел

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АССРНП

Протокол допроса

К делу 4690

1938 г. Марта 20 дня. Я, П. о/упол. Добринского к/о НКВД [] допросил в качестве свидетеля

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

1. Фамилия	Лаубган
2. Имя и отчество	Готфрид Готфридов
3. Дата рождения	1882 г.
4. Место рождения	с. Мюльберг Добринского кантона АССРНП.
5. Местожительство	там-же
6. Нац. и гражданство (подданство)	немец гр-н СССР
7. Паспорт	нет. село не паспортизировано
8. Род занятий	участковый инспектор нархозучета
9. Социальное происхождение	крестьянин-бедняк
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)	
а) до революции	хлебопашество
б) после революции	с 1930 г. член колхоза
11. Состав семьи	женат семья 5 человек.
12. Образование	нисшее
13. Партийность (в прошлом и настоящем)	б/п.
14. Каким репрессиям подвергался	
а) до революции	Не судим
б) после революции	Не судим
15. Какие имеет награды при соввласти	Нет
16. Категория воинского учета-запаса	не состоит
17. Служба в Красной армии	Не служил
18. Служба в белых и др. контрревол. армиях	Не служил
19. Участие в бандах, онтрревол. организациях и восстаниях	Не участвовал
20. Сведения об общественно-политической деятельности	Нет.

Показания свидетеля *Лаубган Готфрид Готфридов 20 Марта 1938 г.*

95 ст. УК разъяснена= Лаубган

1. Вопрос.

Рас[с]кажите все известное вам о контр[р]еволюционной деятельности гр-на Вебер Яков Яковлевича

1. Ответ.

Вопервых Вебер Яков Яковлевич на протяжении ряда лет имел тесную связь с бывшим про-

фессором госсемхоза ныне разоблачен как враг народа Майер Эмиль Адольфовичем. Вебер Я.Я. неоднократно посещал Майер и на оборот Майер посещал Вебера Я.Я. Вебер в своем доме имел приемник посредством которого слушал заграничные радиостанции в особенности Германию.

Из фактов а/советской агитации со стороны Вебер Яков Яковлевича могу привести следующие:

В феврале месяце 1938 года в его квартире в личной сомной беседе Вебер Я.Я. мне сказал:

«Я сегодня слышал по радио о том, что коммунисты в строительстве социализма делают большие перегибы от которых люди терпят голод и нужду».

Вторично в том же году также в его квартире Вебер лично мне говорил:

«В имеющихся у меня книгах написано о том что коммунизм построен быть не должен потому что он приводит людей к обнищанию и в конечном итоге к вооруженному восстанию против существующего строя, поэтому я считаю работу коммунистов напрасной».

Свои показания могу подтвердить на очной ставке с Вебер Яков Яковлевичем.

Протокол мне прочитан и записан с моих слов верно.

Ксему= Лаубган

Допросил п. о/упол. к/о НКВД *подпись*

4

Л.д. 21-22.

СССР

Народный Комиссариат Внутренних Дел

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АССРНП

Протокол допроса

К делу _____

1938 г. марта 21 дня. Я, Сотрудник Добринского к/о НКВД [] допросил в качестве свидетеля

1. Фамилия	Эйхман
2. Имя и отчество	Карл Иванович
3. Дата рождения	1880 г.
4. Место рождения	с. Мюльберг Добринского кантона
5. Местожительство	там-же
6. Нац. и гражданство (подданство)	немец, гр-н СССР
7. Паспорт	
8. Род занятий	садовод
9. Социальное происхождение	крестьянин-бедняк
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)	
а) до революции	крестьянин-бедняк

б) после революции	колхозник с 1929 г.
11. Состав семьи	женат, семья 3 ч.
12. Образование	с/школа
13. Партийность (в прошлом и настоящем)	б/п.
14. Каким репрессиям подвергался	
а) до революции	Нет.
б) после революции	Нет
15. Какие имеет награды при соввласти	Нет
16. Категория воинского учета-запаса	Нет
17. Служба в Красной армии	Нет
18. Служба в белых и др. контрревол. армиях	Нет
19. Участие в бандах, контрревол. организаци-ях и восстаниях	Нет
20. Сведения об общественно-политической деятельности	—

Показания свидетеля Эйхман Карл Иванов. марта 21 дня 1938 г.

Об ответственности по ст. 95 УК Р.С.Ф.С.Р. предупрежден: – Эйхман

1. Вопрос. Расскажите все известные Вам факты связи с шпионом б/проф. Мейер гр-на Вебер Як. Як. и его антисоветские деятельности?

1. Ответ. Вебер Як. Як. я знаю с 1923 г. По отношению к ВКП(б) Вебер настроен враждебно. Он же имел тесную связь с профессором Мейер ныне разоблачен как шпион. Вебер на протяжении с 1929 г. и до момента ареста Мейер т.е. до 1937 г. я лично видел не однократное посещение профессора Мейер квартиру Вебер, а так-же и гр=н Вебер как мне известно что часто посещал квартиру б/проф. Мейер.

Напротяжении 1936 г. 37 г. 38 г. в беседах с гр=ном Вебер Я. Як. мне не однократно рассказывал о предстоящей войне с Германией, Вебер Я.Я. так-же мне не однократно говорил атом, что он часто слушал Германские радиостанции.

Больше показать нес могу.

Протокол записан с моих слов верно: – Эйхман

Допросил сотрудник Добринского к/о НКВД: подпись

5

Л.д. 23-24.

СССР

Народный Комиссариат Внутренних Дел

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АССРП

Протокол допроса

К делу _____

1938 г. марта 21 дня. Я, Сотрудник Добринского к/о НКВД [] допросил в качестве свидетеля

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

1. Фамилия	Винтер
2. Имя и отчество	Федор Егорович
3. Дата рождения	1878 г.
4. Место рождения	с. Мюльберг Добринского кантона
5. Местожительство	там-же
6. Нац. и гражданство (подданство)	Немец, гр-н СССР.
7. Паспорт	
8. Род занятий	ведерник кустарь
9. Социальное происхождение	Батрак
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)	
а) до революции	Батрак
б) после революции	колхозник с 1929 г.
11. Состав семьи	женат, семья 6 челов.
12. Образование	с/ школа
13. Партийность (в прошлом и настоящем)	б/п.
14. Каким репрессиям подвергался	
а) до революции	Нет
б) после революции	Нет
15. Какие имеет награды при совласти	Нет
16. Категория воинского учета-запаса	–
17. Служба в Красной армии	–
18. Служба в белых и др. контрревол. армиях	–
19. Участие в бандах, контрревол. организациях и восстаниях	–
20. Сведения об общественно-политической деятельности	–

Показания свидетеля Винтер Федор Егоров. Марта 21 дня 1938 г.

Об ответственности по ст. 95 УК Р.С.Ф.С.Р. предупрежден: – Винтер

1. Вопрос. Какие факты антисоветской деятельности гражданина Вебер Як.Як. Вам известно?

1. Ответ. Факты антисоветской деятельности со стороны гр=на Вебер Я.Я. мне хорошо известно что гражданин Вебер Я. Як. имел тесную личную связь <с> ныне разоблачен как шпион Мейер, последний в 1936, 37 г. часто приезжал на квартиру к Вебер Я.Я. и пьянствовали, атакже и Вебер Я.Я. часто посещал профессора Мейер.

По отношению к совласти Вебер настроен враждебно напротяжении 1937 г.

Вебер систематически восхвалял фашистскую Германию говорил:

«В Германии там действительно люди живут наслаждаются не как у нас в СССР. <...> всех крестьян загнали в колхозы и эксплуатируют их день и ночь, а за труд ничего им не платят».

Протокол записан с моих слов верно: – *Винтер*

Допросил сотрудник Добринского к/о НКВД: *подпись*

6

Л.д. 6–II.

СССР

Народный Комиссариат Внутренних Дел

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АССРНП

Протокол допроса

К делу 4690

1938 г. Марта 25 дня. Я, П. о/упол. Добринского к/о НКВД [] допросил в качестве обвиняемого

1. Фамилия	Вебер
2. Имя и отчество	Яков Яковлевич
3. Дата рождения	1870 г.
4. Место рождения	с. Бальцер Бальцерского кантона АССР НП.
5. Местожительство	с. Мюльберг Добринского кантона
6. Нац. и гражданство (подданство)	Немец гр. АССР
7. Паспорт	НЗ. № 087772 выдан Добринским паспортным столом Р[абоче-] К[рестьянской] М[илиции] НКВД
8. Род занятий	художник на дому и пенсионер
9. Социальное происхождение	крестьянин-бедняк
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)	
а) до революции	учащийся
б) после революции	служащий
11. Состав семьи	женат семья состоит из 2 человек
12. Образование	высшее.
13. Партийность (в прошлом и настоящем)	б/партийный, в партиях не состоял.

14. Каким репрессиям подвергался	
а) до революции	не судим
б) после революции	не судим
15. Какие имеет награды при совласти	Нет
16. Категория воинского учета-запаса	не состоит
17. Служба в Красной армии	не служил
18. Служба в белых и др. контрревол. армиях	не служил
19. Участие в бандах, контрревол. организациях и восстаниях	не участвовал
20. Сведения об общественно-политической деятельности	не участвовал.

Показания обвиняемого Вебер Яков Яковлевича 25 марта месяца 1938 г.

1. Вопрос.

Расскажите о своем знакомстве в Добринском кантоне.

1. Ответ.

Хорошо мне знакомый учитель Штефанской¹ Н[еполной] С[редней] Ш[колы] Эрлих Константин Яковлевич сын кулака. Знаком я с ним с момента моего переезда на жительство в село Мюльберг т.е. с 1916 года. Знакомство мое с Эрлих заключается в том, что мы взаимнообразно посещали друг друга, на почве деловых взаимоотношений по художественному делу.

Знаком я был с бывшим профессором, сейчас разоблаченный как враг народа Майер Эмиль Адольфовичем. Знаком я с ним с 1930 года. Познакомился я с ним в Штефанской НСШ: где мы работали учителями. Я преподавал по черчению а он – Майер по ботаники.

Я еще знаком с медфельдшером села Мюльберг Добринского кантона Алентьевой которая также приходит к моей жене в квартиру.

2. Вопрос.

Ваша партийная принадлежность.

2. Ответ.

В партиях я не в каких не состоял.

Вопрос.

Расскажите о вашей связи с жандармским управлением г. Саратова

Ответ.

В 1894 г. проживал в городе Саратове по б. Царицинской² улице. Я работал художником-любителем. Кроме этого я выполнял работу по разукраске диапозитивов для диапозитивного общества которым в то время руководил доктор Александров. Это общество занималось распространением науки по истории народов России.

В одно время в мою квартиру зашел жандармский генерал-майер по фамилии Иванов Александр Иванович и сказал мне:

«Я только что в магазине купил вашу картину – «Пейзаж после дождя». И тут-же предложил мне сделать ему еще несколько картин в частности предлагал написать нагую женщину».

Я ему в этом отказал потому что в то время я таких картин не рисовал».

¹ Добринский р-н, колония Штефан.

² Ныне ул. Первомайская.

После этого Иванов мне предложил явиться к нему в квартиру по бывшей Александровской улице и в месте с фотографом с фотографировать находящуюся у в его квартире женщину.

После этого случая я стал посещать квартиру жандарма Иванова примерно с 1894 до 1897 года, время свидания Иванов мне назначал с 9 до 11 часов утра.

Вопрос.

Вы обвиняетесь в систематической а/советской агитации направленной против проводимых мероприятий советской власти.

Вы также имели связь с заграницей куда в письмах клеветали о жизни колхозников в СССР.

Признаете в этом себя виновным.

Ответ.

А/советской агитацией я ни когда не занимался и виновным в этом себя не признаю.

В Америку я писем не писал и о жизни колхозников не клеветал, вся моя вина состоит в том что я в 1921 году с Америки от мужа моей тети Вольф Вильяна получил 10 рублей деньгами.

Вопрос.

Вы говорите не правду в а/советской агитации вас уличают целый ряд свидетелей в частности свидетель Лаубган Готфрид Готфридов следствию показал:

В феврале месяце 1938 года Вебер Яков Яков в его квартире в личной сомной беседе говорил: «Я слышал по радио о том что, коммунисты в строительстве коммунизма делают большие перегибы и что в итоге коммунизм не должен быть построен».

Признаете в этом факте а/советской агитации себя виновным.

Ответ.

Нет, этого я не говорил.

Вопрос.

Вам предъявляются показания свидетелей Ваинбендер Яков Георговича Эйхман Карл Ивановича и Винтер Федор Егоровича которые своими показаниями уличают вас в фашистско-пораженческой агитации.

Признаете показание этих свидетелей провоподобными

Ответ.

Ознакомившись с показаниями свидетелей показание их я считаю ложными и виновным себя в приведенных фактах а/советской агитации этими свидетелями не признаю.

Протокол мне зачитан и записан с моих слов правильно. Изложенное с моим согласием утверждаю своей подписью

Ксему= *ЯВебер*

Допросил п. о/упол. к/о НКВД *подпись*

7

Л.д. 12-14.

Протокол

Очной ставки свидетеля Лаубган Готфрид Готфридовича с обвиняемым Вебер Яков Яковлевичем

от 8 Апреля 1938 г.

Очную ставку проводил п[омощник?] о[пер]/упол[номоченного] к[антонного]/о[тделения] НКВД Гнездилов

свидетель Лаубган Г.Г. об ответственности за ложное показание по 95 ст. УК РСФСР предупрежден

к сему= *Лаубган*

Вопрос свидетелю Лаубган Г.Г.

Вы на очной ставке с обвиняемым Вебер Яков Яковлевичем, подтверждаете свои показания, давшие следователю от 21 марта 1938 г.

Ответ свид. Лаубган Г.Г.

Да подтверждаю.

к сему= *Лаубган*

Вопрос свидетелю Лаубган Г.Г.

Приведите конкретные факты а/советской агитации проводимых обвиняемым Вебер Яков Яковлевичем.

Ответ

В феврале месяце 1938 года в квартире Вебер Яков Яковлевича в личной сомной беседе Вебер Яков Яковлевич мне говорил:

«Я слышал по радио что коммунисты в строительстве социализма делают большие перегибы от которых люди терпят голод и нужду».

Вторично Вебер Яков Яковлевич мне говорил:

«Он – Вебер в одной из книги вычитал, что коммунизм построен быть не должен, потому что он приводит народ к полному обнищанию и в итоге к вооруженному восстанию против советской власти».

Вопрос свидетелю Лаубган Г.Г.

Где об этом вам говорил обвиняемый Вебер Яков Яковлевич.

Ответ

Это было в его квартире в личном сомной розговоре, в 1938 г.

к сему= *Лаубган*

Вопрос обвиняемому Вебер Яков Яковлевичу

Признаете себя виновным в фактах а/агитации свидетельствуемых свидетелем Лаубган Готфрид Готфридовичем

Ответ

Нет не признаю. Свидетель говорит не правду.

К сему *ЯВебер*

Вопрос свидетелю Лаубган Г.Г.

Вы настаиваете на своих показаниях

Ответ

На своих показаниях я настаиваю и провоту их подтверждаю.

К сему. *Лаубган*

Протокол очной ставки нам прочитан и записан с наших слов правильно.

К сему *Лаубган*

ЯВебер

Очную ставку проводил п[омощник?] о[пер]/упол[номоченного] к[антонного]/о[тделения] НКВД *Гнездилов*

8

Л.д. 12-14.

Протокол

Очной ставки свидетеля Вайнбендер Яков Георговича с обвиняемым Вебер Яков Яковлевичем

от 8 Апреля 1938 г.

Очную ставку проводил п[омощник?] о[пер]/упол[номоченного] к[антонного]/о[тделения] НКВД [Гнездилов?]

свидетель Вайнбендер Я.Г. об ответственности за ложное показание по ст. 95 УК предупрежден

к сему= *Вайнбендер*

Вопрос свидетелю Вайнбендер Я.Г.

На очной ставки с обвиняемым Вебер Яков Яковлевичем, приведите конкретные факты а/советской агитации допускаемой Вебер Яков Яковлевичем.

Ответ.

В 1932 году в июне месяце в квартире Вебер Яков Яковлевича последний мне гр-ну Беккер Давиду Романовичу сказал:

«Советская власть это явление временное, такой власти во всем мире нет и быть не должно». Он тут же принес библию выдержками которой доказывал нам сказанное им в отношении советской власти».

Ксему *Вайнбендер*

Кроме этого я также от него неоднократно слышал о том что:

«библейское писание верное и этому писанию нужно верить, вот возьмите колхозы о них в библии ничего не сказано и я считаю они долго существовать не должны».

Это было тоже в его квартире в 1932 г. Я к нему заходил как полевод колхоза приглашал его выйти на работу.

Ксему *Вайнбендер*

Вопрос обвиняемому Вебер Яков Яковлев[евичу]

В этих фактах а/советской агитации виновным себя признаете?

Ответ.

Эти факты я отрицаю.

Ксему *ЯВебер*

Протокол нам зачитан и записан с наших слов верно.

Ксему *ЯВебер*

Вайнбендер

Очную ставку проводил п[омощник?] о[пер]/упол[номоченного] к[антонного]/о[тделения] *Гнездилов*

9

Л.д. 25-26.

СССР

Народный Комиссариат Внутренних Дел

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АССРНП

Протокол допроса

К делу _____

1938 г. апреля 8 дня. Я, Нач. Добринского к/о НКВД Сержант Г.Б. [] допросил в качестве свидетеля

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

1. Фамилия	Беккер
2. Имя и отчество	Давид Рейнгордович
3. Дата рождения	1908
4. Место рождения	в селе Добринка <раньше?> кантона
5. Местожительство	в селе Гебель Добринского к-на
6. Нац. и гражданство (подданство)	Немец гр-н СССР.
7. Паспорт	Н.З. № 189164 выдан паспортным столом при Добринском к/о РКМ 5 июля 1936.
8. Род занятий	Директор Гебельской МТС
9. Социальное происхождение	из семьи крестьян бедняки
10. Социальное положение (род занятий и имущественное положение)	
а) до революции	рабочий
б) после революции	рабочий с 1929 служащий
11. Состав семьи	2 человека
12. Образование	окончил 2 класса начальной школы
13. Партийность (в прошлом и настоящем)	член ВКП/б/ с 1931
14. Каким репрессиям подвергался	
а) до революции	Нет
б) после революции	1933 был осужден к 5 год. лиш. своб. но после сидит
15. Какие имеет награды при совласти	Нет
16. Категория воинского учета-запаса	II очереди
17. Служба в Красной армии	Нет
18. Служба в белых и др. контрревол. армиях	Нет
19. Участие в бандах, контрревол. организациях и восстаниях	Нет
20. Сведения об общественно-политической деятельности	—

Показания свидетеля Беккер Давид Рейнгордов. Апреля 1938 г.
Об ответственности по ст. 95 УК РСФСР предупрежден. Беккер

Вопрос. Что Вам известно о гр-не Вебер Яков Яковлевиче

Ответ. Вебер Яков Яковлевич я знаю с 1932 года как враждебно настроенного против сов-

власти человека. Из фактов антисоветской деятельности со стороны Вебер Яков Яковлевича мне известно.

В 1932 году приблизительно в июне месяце я совместно с гр-ном Вейнбендером Яков Егоровичем посетил квартиру Вебер Яков Яковлевича который нас при посещении его пытался обрабатывать в антисоветском направлении и говорил:

«Советская власть это есть временное явление, коммунисты у власти не останутся и не должны остаться ибо они управлять страной не могут. Политика коммунистов идет в разрез с массой и ведет страну к разруху и гибель народа».

Я лично дал Вебер отпор доказывая, что он не прав на что он говорил:

«Вы еще молодые никакого понятия в коммунизме не имеете».

Протокол прочитан и записан с моих слов верно в чем и расписуюсь *Беккер*

Допрашивал Нач. Добринского к/о НКВД *подпись*

10

Л.д. 27-28.

УТВЕРЖДАЮ

Нарком Внут Дел АССРНП

Ст. лейтенант Г.Б. *подпись*

16/IV 1938.

Утверждаю

Зам. прокурора АССРНП подпись

17/IV 38

Проходящего по следделу

№ 4690.

ВЕБЕР Яков Яковлевич

по ст. 58 п 10 УК РСФСР.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Село Добринка Апреля 8 дня 1938 года.

Я Вр. Нач. К/О НКВДРНП по Добринскому кантону – сержант Г.Б. <...> сего числа рассмотрев следственное дело № 4690.

НАШЕЛ.

Что гр-нин ВЕБЕР Яков Яковлевич 1870 года рождения, уроженец гор. Бальцер Бальцерского кантона АССРНП, из бедняков, по положению художник, немец, гр-нин СССР, грамотен, б/партийный, под судом и следствием не был, имеет паспорт серия НЗ № 087772, женат, семья состоит из 1 человека, проживает в селе Мюльберг Добринского кантона.

ВЕБЕР в прошлом состоял в тесной, личной связи с жандармским управлением города Саратова, лично с генерал майором ИВАНОВЫМ.

ВЕБЕР на протяжении ряда лет вплоть до 1937 года состоял в близкой связи с б/ профессором – директором – фашистским агентом, Штефанского госсемхоза МЕЙЕР у последнего на квартире систематически устраивались контрреволюционные сборища, где присутствовали МЕЙЕР, б/предсовнаркома АССРНП ФУКС, б/ секретарь немобкома ВКПб ФРЕШЕР и другие представители редакции ДЦЦ¹ и др. на которых ВЕБЕР принимал активное участие (все вышеперечисленные ныне разоблачены и привлечены к ответственности как враги народа).

¹ Deutsche Zentralzeitung (Немецкая центральная газета) издавалась в Москве в 1927–1938 гг.

ВЕБЕР также за последние годы – 1936-37-38 гг. вел активную контрреволюционную агитацию среди колхозников и посещающие граждане его квартиру, всячески опошлял руководителей коммунистической партии и советского правительства, проповедовал гибель советской власти и приходу к власти религии.

Допрошенный по сему делу обвиняемый ВЕБЕР в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал. л.д. № 6–11, 12–16.

ПОСТАНОВИЛ.

Следственное дело № 4690 по отношению

ВЕБЕР Яков Яковлевич 1870 года рождения, уроженец гор. Бальцер Бальцерского кантона АССРНП, из бедняков, по положению художник, немец, гр-нин СССР, грамотен, под судом и следствием не был, имеет паспорт серия НЗ № 087772, женат, семья состоит из 1 человека, проживает в с. Мюльберг, обвиняется по ст. 58 п 10 УК РСФСР.

Руководствуясь приказом НКВД СССР № 00485, направить на рассмотрение НКВД СССР, одновременно перечислив арестованного ВЕБЕР с 9 Апреля 1938 за последней.

Вр. Нач. К/О НКВДРНП по Добринскому кантону – сержант Г.Б.: – *подпись*

СПРАВКА: Вещдок по делу нет.

Вр. Нач. К/О НКВДРНП по Добринскому кантону – сержант Г.Б.: – *подпись*

II

Л.д. 30.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Особого совещания при Народном комиссаре внутренних дел СССР
от 5 августа 1938 г. д. 2

СЛУШАЛИ	ПОСТАНОВИЛИ
122. Дело № 4690/АССР о ВЕБЕР Якове Яковлевиче, 1870 г.р.	ВЕБЕР Якова Яковлевича за к.-р. деятельность – заключить в исправтрудлагерь сроком на ДЕСЯТЬ лет, сч[итая] срок со дня ареста. Дело сдать в архив.

Отв. секретарь Особого совещания *подпись*

[Штамп:] Выписка направлена VIII 38 г. № 479550
для направления *Карлаг*

12

Л.д. 34.

Дело № 44-У-271-с

Экз. № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

ПРЕЗИДИУМА СТАЛИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

г. Сталинград.

29 декабря 1956 года

Президиум Сталинградского Областного суда в составе:

Председательствующего МАНТУРОВА

членов: Копылова, Алексеева, Янина и Петрова

с участием прокурора области СЕЛИВЕРСТОВА

заслушав по докладу члена президиума КОПЫЛОВА

Уголовное дело по протесту прокурора Сталинградской области на постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 23 декабря 1939 года, по которому:

ВЕБЕР Яков Яковлевич, 1870 г. рождения, уроженец г. Бальцер, бывшей АССР Немцев Поволжья, из крестьян-бедняков, немец, б/п. с высшим образованием, работал художником в с. Мюльберг, Добринского кантона – осужден к ссылке в один из районов Казахстана на 5 лет.

ВЕБЕР признан виновным в том, что он, будучи связан с фашистскими агентами Мейер, Фришер, с жандармским генералом Ивановым, присутствовал вместе с ним на нелегальных собраниях и среди лиц, посещавших его квартиру проводил антисоветскую агитацию.

Первый раз за это же преступление ВЕБЕР по постановлению Особого Совещания при НКВД СССР от 5 августа 1938 г. был осужден к 10 годам заключения в ИТЛ, однако последним постановлением наказание ему снижено до 5 лет ссылки.

Протест внесен на предмет отмены Постановления за недоказанностью предъявленного Вебер обвинения.

Проверив материалы дела, заслушав заключение прокурора области Селиверстова, поддерживающего протест, президиум находит протест обоснованным.

По делу допрошены свидетели Вайнбендер, Лаубган, Эйхман, Винтер и Беккер. Эти свидетели привели отдельные высказывания антисоветского содержания, которые им якобы говорил Вебер, когда они посещали его квартиру. Однако никто из свидетелей не указал конкретные обстоятельства, при которых они посещали квартиру Вебер и не указали в связи с чем Вебер высказывал им антисоветские суждения.

Вебер показания свидетелей не признал, конкретных фактов обвинения ему не предъявлялось, арестован был без санкции прокурора, с материалами дела его не знакомили.

При таком положении и при наличии неконкретных показаний свидетелей обвинение Вебер нельзя признать обоснованным.

Руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14-VII-54 года и от 19-VIII-1955 г. президиум

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление особого совещания при НКВД СССР от 5 августа 1938 года и от 23 декабря 1939 года в отношении Вебер Якова Яковлевича отменить и дело производством прекратить за недоказанностью обвинения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ *подпись* /МАНТУРОВ/

Отп. 4 экз.

К № 1487

Елена СОЛОВЬЕВА

ЗАВЕРШИТЕЛЬ, РЕАНИМАТОР, ГЛУБОКОПАТЕЛЬ, НАБЛЮДАТЕЛЬ

Обзор премиальной критики

Результаты четвёртого сезона Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион», несмотря на непростой для русской культуры год, оказались, по мнению устроителей, максимально приближены к той идее, которая закладывалась в основу этого конкурса изначально.

Во-первых, существенно расширилась его география: Калининград, Камчатка, Псков, Кострома, Смоленск, Таганрог, Саров, Липецк, Ростов-на-Дону, Краснодар, Великие Луки, Рославль, Махачкала и Майкоп. Наряду с большими городами – Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой, Самарой, Новосибирском, Челябинском, Нижним Новгородом, Екатеринбург, теперь встречаются в списке и экзотические населенные пункты, такие как хутор Нижнеерохин (Каменский район Ростовской области) или деревня Бобачево под Тверью.

Во-вторых, и это самое главное – в четвёрку призёров премии «Неистовый Виссарион»¹ вошли критики с диаметрально противоположными принципами письма, стоящие на разных эстетических и этических платформах.

Миссия завершителя

Лауреатом нынешнего сезона стал Валерий Шубинский. На соискание «Неистового Виссариона» представлены две его статьи: «Забранные у смерти»² (новомирская рецензия на стихотворные книги Марии Малиновской) и «Ориентация на местности. Заметки на полях современной русской поэзии», выдвинутая одновременно и журналом «Вещь», и Борисом Кутенковым.

Последняя опубликована³ в журнале «Кварта», авторском проекте Валерия Шубинского и Богдана Агриса, главная цель которого – исследование путей развития русской поэзии. Создатели определяют своё издание не как «поколенческое», а как «направленческое», предназначенное в первую очередь для профессиональной аудитории. Валерий Шубинский подчеркивает определенную преемственность между «Квартой» и «Камерами хранения» Олега Юрьева, общность их эстетических позиций. Линия Юрьева и Елены Шварц, «традиция высокой метафизической лирики, высокого модерна»⁴, к которой он причисляет и себя, является для Шубинского магистральной при исследовании поля современной поэзии.

¹ Премия «Неистовый Виссарион» была учреждена Свердловской научной библиотекой им. В.Г. Белинского в 2019 году, к своему 120-летию. Победителей определяет приглашенное жюри, которое меняется каждый год. Сезон 2022-го судили Павел Басинский, Сергей Беляков, Игорь Гулин, Дмитрий Данилов, Ирина Саморукова и Евгений Иванов (автор идеи премии, её секретарь, «коллективный совещательный голос Белинки»). Лауреаты прошлых лет: Ольга Балла, Юлия Поддубнова, Игорь Гулин. Сайт премии: <http://book.uraic.ru/project/premiya-neistoviy/>

² Новый мир. 2020. № 4. С. 202–205. http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2020_4/Content/Publication6_7447/Default.aspx

³ Кварта. 2021. № 1. <http://quarta-poetry.ru/orientation/>

⁴ Борис Кутенков. Валерий Шубинский: «Бывают эпохи, когда воздух помогает» // Форма слов. <https://formasloff.ru/2022/04/01/valerij-shubinskij-byvajut-jepohi-kogda-vozduh-pomogaet>

Анализ становления поэтического голоса Марии Малиновской, «вундеркинда из Белоруссии», он предваряет рассуждением о том, что сейчас «принято носить» среди «начинающих стихотворцев». Выбор трендов не так уж велик: 1) «провинциальный постсоветский консерватизм, воплощенный в лучшем случае Борисом Рыжим», 2) его антитеза – «деконструирующая “постдрагомошенская” поэтика», не освоенная, однако, на глубине и вырванная из контекста, 3) «нервные, многословные исповеди, с заикленностью на собственном травматическом опыте». На этом фоне опыт «классиков Бронзового века»¹ (прежде всего поэтов андеграунда второй половины XX) остается «чужим, труднодоступным» для пишущей молодежи.

В статье «Ориентация на местности» Шубинский, разумеется с «некоторой долей условности», датирует начало Золотого века русской поэзии 1812 годом, Серебряного – 1894-м, Бронзового – 1953-м. Его волнует тема «трансформации поэтического поля», вопросы преемственности, диалога между разными поколениями. Появятся ли поэты, «органически» связанные с языковыми, интонационными и просодическими традициями отечественного «высокого модернизма» XX века, близкого ему? Произойдёт ли уже «разрыв цепи времен» или это иллюзия? Для Шубинского опыт Малиновской ценен, прежде всего, как удачная попытка преодоления цайтгайста. Она стала «вдумчиво, напряженно, не торопясь формировать собственный, ни на кого не похожий мир и язык», не соскользнув в «стихотворческий масскульт» с одной стороны, а с другой избежав соблазна «на ходу освоить одну из сертифицированных “продвинутых” техник, чтобы доказать “себе же!” свою принадлежность к миру “актуального”».

Можно сказать, что рецензия «Забранное у смерти» – частный случай, эскиз большого исследования, в развёрнутом виде представленного в статье «Ориентация на местности», где анализу подвергаются все элементы «разметки поэтического поля». Какие процессы фиксируют маяки премии, их статус и список победителей (покойная «Поэт», ныне здравствующие премия имени Аркадия Драгомошенко, Григорьевская премия, премия «Парабола»)? По каким критериям выбирать «великих» среди соратников по поэтическому цеху, когда «в современной потребительской культуре авторы и исполнители сменяются и обесцениваются так же быстро, как модели смартфонов»? Почему и у нас, и на Западе «современная поэзия не порождает консенсуальных лидеров, которых можно было бы предложить внешнему наблюдателю»? Каково место верлибра и просодии в поэтических культурах, где «видимо, изменилось читательское восприятие»?

Напряженность поиска ответов на эти вопросы усиливается ещё и тем, что для «завершителя традиции», каким Шубинский себя ощущает, они животрепещуще личные: «Трагическая необходимость исполнять свою миссию (невеселую, но высокую миссию завершителей), заведомо не имея доли в будущем, не отменяется, но пока откладывается на неопределенный срок. А там уж будущее в наших руках; оно не предопределено, и за него стоит побороться»².

Реаниматор языка

Спецприз «Неистового Виссариона» «За творческую дерзость» единогласным решением жюри был присуждён Василию Ширяеву, критику из посёлка Вулканный, постоянному автору журнала «Урал», за сборник статей «Колодцы», выпущенный издательством «Кабинетный учёный» (2021). Это как раз тот случай, когда понимаешь, *зачем* нужна именно книга, где за стратегией связывания в целое отдельных элементов следить не менее любопытно, чем за сюжетом каждого эссе. Не факт, что распуташь авторские каверзы, но труд по нащупыванию тропинок уже не напрасен. Процесс этого чтения напоминает картину того, как раскалённая лава вулкана взламывает кору мозга-земли. Добро пожаловать, вы на Камчатке! Причём во всех смыслах. Географически, метафорически, языково. И теперь главное «лаву с лавашом не перепутать», тут «фастфудизма бложьей прозы» днём с огнём не сыщешь.

¹ Термин В.Шубинского.

² Борис Кутенков. Валерий Шубинский: «Бывают эпохи, когда воздух помогает».

Жаль только, что автор ни разу не разобрал песню «Камчатка» Виктора Цоя, которого причисляет к кшатриям. Ту, где «мои руки из дуба, голова из свинца, ну и пусть!». Сам-то он в первой части книги «А. Как я читаю» применял «кшатрийскую эстетику», вскрывая роман «Парк Победы» Александра Карасёва и фильм «Завод» Юрия Быкова. В четвертой части «Г. Критика по-македонски» Ширяев сводит пары критиков в поединке на манер гвельфов и гиббелинов (Валерия Пустовая versus Лев Пирогов, Александр Кузьменков vs Галина Юзефович, Борис Кутенков vs Алексей Конаков и т.д., всего 11 пар). Есть ещё, соответственно, разделы: «Б. Как делать критику», «В. Толковый словарь юного критика (“юнкера”», «Д. Критика поэзии». Самоопределению своего метода автор отвел две финальные главки Е-Е. «Е. Камчатская риторика» – словарь: например, «литота – когда прибедряются». «Е. Опровержение на критику» – рецензия-пародия на самого себя: «Шизофрения, как и было сказано», написанная Фёдором Кузьмичём, и ответ ему. Собственно, даже беглое оглашение оглавления даёт представление о богатстве инструментария Ширяева. Тут вам и отвёртки, и зубила, и лобзики. Так, среди имеющихся в книге опусов есть и пародия на Романа Сенчина «Похули бога и умри» о житии Иова Зариповича Исавова, и «Словарь усмешнителей Кузьменкова», ну или разбор «Алкосвятых» Алексея О. Шепелева по Аристотелю (*Causa formalis, materialis, active, finalis*).

Что касается психогеографии, то хронотоп Бахтина Ширяев переделал в «хронотопь»: «А у обычного человека сейчас вся хронотопь в телефоне <...>, и только если он творческий шизофреник – в голове. <...> Какой может быть хронотоп, если на вопрос “где ты?” всегда можно ответить “я здесь”, что по смыслу равно “я везде”». А если «творческую шизофрению» возвести в степень самоощущения камчадала, когда «Камчатка <...> воспринимается не просто как центр мира, а как мир без центра»? А если присовокупить сюда же и частные обстоятельства вроде того, что «мы попали в зазор, когда литстудий не было уже, а интернета не было еще» (быстрый интернет появился на Камчатке в 2015 году)? Естественно, «пришлось самим создавать себе развлечение» и по своим законам выписывать мир, стоящий на маргиналиях, как на слонах или гигантских черепахах. Но «есть мир, а центр и периферию выдумали мастера варки символического капитала».

«Хронотопь» «читательских опытов» Ширяева – колодец его внутреннего «я» в момент переживания чужого текста, маргиналии-заметки на полях книги и окружающего ландшафта: «Я, впрочем, когда читаю, всегда делаю записи. Ручкой на бумаге. И вот замечаю, что буквы у меня начинают наползать друг на друга и слипаться, образуя прихотливую вязь. Выходишь, обчитавшись Краснахоркаи, в камчатский лес (а он у нас низенький, густой и корявый) и кажется, что из земли торчат не кусты, а мои собственные конспекты. Книга возвращается к тому, чем была: буква – book – дерево – лес. Смерть неизбежна».

Единица анализа у Ширяева даже не образ, а слово: «Слова важнее образов, иначе – окончательная сдача литературы в пользу сериалов. Надо вернуть критику back to протопоп Аввакум, когда в каждом слове зияло». В войне с «чужью» («чужь» Ширяева – производное от «чуши», «смесь русского с гуманитарным жаргоном») он идёт в сторону архаики, находя там свои незамутнённые колодцы-кладези. Генетически «Колодцы» ближе всего даже не к Виктору Шкловскому, без которого не обошлось, но к авто-агиографии «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Та же любовь к «русскому природному языку» (или, по Достоевскому, «грубому подкапытному языку (проповедей)»), то же юродство, сознательно культивируемое как полемический стиль-приём против ереси, заразившей все поры мира, инструмент обличения, провокации, поучения и косвенного осуждения, «маяк» во «тьме последних дней».

Против чего воюем? Против намеренного оглупления читателя и превращения книги в товар, прагматизма, возведённого в степень последней добродетели, клановости и карьеризма, «политики под видом литературы». За маргиналию против мэйнстрима. За то, что иногда честнее оставаться на камчатке последней парты и не спешить к доске. «Точный перевод “Русской критики” – “русская Правда”, – формулирует Ширяев. «Априорный кистень» должен быть орудием критика, «метафизический кнут» и «трансцендентальная дыба». «Верные», «свои» – те, кто способны Правду бескомпромиссно отстаивать.

Другой вопрос – насколько Божественная премудрость, на защиту которой вставал Аввакум, коррелирует с Правдой язычника Ширияева? Возможно ещё и поэтому «читательские опыты» его местами темны. Зато советы иногда просты: «Ноутбук отнести в сарай. Книгу купить бумажную. Делать маргиналии. Когда в руки при чтении берешь карандаш, внимание обостряется. Реклама и пропаганда хотят, чтоб мы ходили как собаки Павлова. А литература должна создавать свободные ассоциации. Берегите анархию, мать вашу».

На обложке книги «Колодцы» черта, идущая от «крыши» буквы Д, букву О как бы перечеркивает, получаются «колдцы». С одной стороны арестантские колодки звучат, с другой святцы. Но это так, вольные ассоциации, а в болгарском «колодец» – «кладенец». В русских былинах был такой меч-кладенец, который делал его обладателя непобедимым в бою, однако в руки давался только тому, кто был в состоянии им владеть.

Глубокопатель контекста

Александр Марков в 2020 году был членом жюри премии «Неистовый Виссарион», в 2021-м – стал обладателем специального приза «Перспектива». Одно с другим связано слабо (ну, разве что ряд действий в одном поле), так как состав жюри ротируется ежегодно, и ничто не мешает членам судейского ареопага прошлых лет принимать участие в следующих конкурсах на общих основаниях. К тому же награду эту обычно присуждали молодым авторам. «Перспективность» Александра Маркова высокая комиссия нынешнего созыва обосновала формулировкой «За расширение культурного контекста современной литературы на русском языке».

Новомирская рецензия «Воспитание материи чувств»¹ на книгу стихов Полины Барсковой «Натуралист», выдвинутая на конкурс двумя номинаторами – онлайн-журналом POETICA и журналом «Знание – сила», оркестрована Марковым по принципу симфонии-концерта. В увертюре сообщается, что острая чувствительность, всегда присущая этому автору, теперь теснее связана с «расставанием и растерянностью последних пандемийных двух лет», возможно отсюда «особая бережность речи». Солирующий инструмент в рецензии – голос поэта, находящийся в контрастном становлении с возникающими по ходу анализа темами-коннотациями.

Читатель-слушатель требуется изощрённый, способный уловить музыку перехода смысловых нюансов, плотно выстроенных примерно в следующей последовательности: гегелевское *Aufhebung* («откладывание про запас») – «Смерть натуралиста» Шеймаса Хини с его темой «наличия в современном человеке кинематографической и фотографической оптики» – Бодлер, Беньямин, Драгомощенко – фототерапия Сьюзен Сонтаг – натурфилософские размышления Тютчева – «Авангард и китч» Клементы Гринберга – «тени обэриутов», «Пир королей» Филонова, – «связь мнимого стоицизма Бродского с идеализмом в самом широком плане» – Ахматовский ритм» – Маклюэн – Евушенко – Ролз, Нозик, Хрущёв – Ходасевич.

Схожие контекстуальные игры – основной структурный приём и в рецензии «Что случилось с документом?»² на книгу французского искусствоведа русского происхождения Ольги Медведковой «Ф. И. О.: Три тетради», выпущенную НЛО³. Анализируя эту «повесть-роман-автофикцию» Марков приветствует «возвращение литературы русского Парижа», а чтобы раскрыть её особенности, апеллирует к западной философии от Зебальда до Эммануэля Левинаса, «мастера самых высоких философских фигур», который становится в книге «главным философом и еврейства, и судеб Европы». Опираясь на уроки Левинаса и Деррида, Медведковой удаётся построить «прибор гостеприимной памяти». «Поэтому время в романе гостеприимно, – констатирует Марков, – тогда как пространство катастрофично, состоит из разломов даже не столько забвения, сколько

¹ Новый мир. 2022. № 2. С. 199-204. http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2022_2/Content/Publication6_7955/Default.aspx

² POETICA. 2021. № 1. <https://licenzapoetica.name/points-of-view/critique/chto-sluchilos-s-dokumentom>

³ М.: Новое Литературное Обозрение, 2022.

разочарований, фрейдистских вытеснений. Мало таких книг и в мировой литературе, которые, будучи глубоко биографичными, при этом исследуют массовую психологию: например, как массовое разочарование приводит к войнам или во всяком случае к неосмотрительности на протяжении многих лет».

В рецензии «Катартическая антология верлибра»¹ на издание, составленное Лилией Газизовой², Марков частично меняет подход. Анализ делается «без единой поэтической цитаты, но с размышлением, как такая антология стала возможной». Катартический метод обыгрывается дважды. Во-первых, исследователь показывает, «как верлибр стал местом самосознания многих поэтов», а антология превратилась в «школу признаний в близости». Во-вторых, рассказывает о своём взаимоотношении с этим видом поэзии, подчёркивая, что в его «творчестве критика верлибра – лучший материал для исследования». Конечно, не обошлось без философской рефлексии: «Как символизм распространялся вместе с мыслью Ницше, а акмеизм – вместе с мыслью Бергсона, так в будущем и о верлибре будут говорить как о синхронной рецепции разных философий от Витгенштейна до Делёза».

Складывается впечатление, что Александра Маркова литература в первую очередь интересует как часть прочих интеллектуальных практик. На этом фоне вполне закономерно и его внимание к метароманам. На соискание премии представлены две подобные рецензии. В статье «Невозможность яви» (о книге Григория Злотина «Снег Мариенбурга») ³, Марков акцентируется на том диалоге, который автор метаромана-дистопии выстраивает с традицией советского ар-деко. Несмотря на все эксперименты Злотина с различными практиками письма, Маркову «Снег» больше всего напоминает «Старика Хоттабыча» Лагина, поскольку советский извод ар-деко «как раз раскрытие предельных возможностей материального мира, блеска поверхностей, спортивных успехов вопреки голоду и болезням, когда товар всегда представляется лицом». «По сути, – продолжает Марков, – метароман Злотина говорит о невозможности подлинного в мире этических блокировок, разрыва между суждением и действием».

В «Южной Мангазее» Киора Янева⁴, которой посвящена рецензия «Самый мирный киберпанк, самый светлый метароман»⁵, в фокус внимания попадает особый тип метароманного героя. Главное действующее «лицо» здесь – «вовсе не текст, не материальное начало и не компьютерная сеть, а Москва», два же персонажа Вичк и Васильчикова представляют собой «разные ипостаси Москвы как царственного града». «Вичк – киберпанковский организатор сетевой жизни, Васильчикова – своеобразная душа города». Анализируя язык романа, способы остранения и принцип построения сравнений и создания героев, Марков определяет те способы, которые позволяют Яневу сказать о том, что «предназначение человека не до конца ясно ему самому, но нет такого романа на земле, где бы оно хоть немного не проявилось по ходу оживленного действия».

«Включенный наблюдатель»

Москвич Владимир Березин, получивший Почетную премию «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли и книгу «Необычайное: Критика, публицистика, эссе»⁶ дышит и пишет по-другому, принципиально не оперируя «научным птичьим языком». Да он и не применим для небольших колонок сайта Rara Avis, составляющих основной массив сборника.

1 Литература. 2022, 1 февр. <https://literatura.org/criticism/4824-aleksandr-markov-katarticheskaya-antologiya-verlibra.html>

2 Современный русский верлибр: антология / сост. Л. П. Газизова. М.: Воймега, 2021.

3 Знамя. 2022. № 1. С. 232–234. <https://magazines.gorky.media/znamia/2022/1/nevozmozhnost-yavi.html>

4 СПб.: Издательство Яромира Хладика, 2020.

5 Знамя. 2021. № 8. С. 225–226. <https://magazines.gorky.media/znamia/2021/8/samyj-mirnyj-kiberpank-samyj-svetlyj-metaroman.html>

6 СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2021.

То, что в этом же году Березин стал лауреатом фантастической «АБС-премии» в номинации «Критика и публицистика», – верный знак частичной вписанности автора в уважаемое сообщество. «Включенным наблюдателем» называет Березина в предисловии к книге Вадим Нестеров. Интернет-аннотации тоже маркируют «Необычайное» как сборник эссе на тему фантастики.

Да, мы имеем подробное и разностороннее описание этого «гетто с потрескавшимися, но крепкими ещё стенами», его истории. Ярко, образно, с хорошим зубодробительным юмором «на весёлых щах» непосвященным рассказывается, например, о самом способе существования жанра, который отличает от прочих наличие фэндомов – «совокупности писателей, издателей и читателей (фэнов)». О трёх его китах: «научной» фантастике, фэнтези и альтернативной истории. О съездах-конвентах – «Аэлите» и «Зилантконе», «Росконе» и «Звёздном мосте», некоторые из них уже навсегда канули в Лету. Фантастике «твёрдой» и «мягкой». О сравнительно молодом жанре «постапокалипсиса», то бишь «постапокалипсиса» или «фоллаута».

Темы порой выворачиваются самым неожиданным образом: вот, действительно, почему кланы ролевиков необходимы современной культуре? Ответ – «они так же логичны в ней, как наши братства». И вообще, как перевести на русский-литературоведческий тезис «фэнтези – это текст, в котором есть волшебство»?

Не обходит Березин стороной и вопрос – насколько удачными бывают беллетристические предсказания будущего?

«Глава о предсказаниях в фантастике движется по следующей траектории, – описывает сёрфинг-метод Березина всё в том же предисловии Вадим Нестеров, – дача – старые журналы “Юный техник” – французский художник Альбер Робидо – фильм Стэнли Кубрика “Космическая Одиссея 2001 года” – анекдот об Иване Грозном – концепция мировой истории у братьев Стругацких – банки с пивом – открывашки на банках с пивом – советское пиво в трёхлитровых банках – персонаж Генри Каттнера изобретает робота для открывания пивных жестянок – Гомер Симпсон тоже любит пиво».

Если не касаться фантастической части, отмечает Нестеров далее, то «системный подход идёт лесом». Это не совсем так, система книги начнёт ощутимо проявляться, если сменить точку сборки. Сам Березин писал, что его интересует «мистика советского» или, самочинно расширим поле, «мифология советского». Да и в «Послесловии» автор и его друг писатель в просторном диалоге всерьёз примеряют на себя роль совписов. С одной стороны, фантастика входит в «мифологию советского» органичной составляющей, с другой – вполне логичным тогда становится присутствие в структуре книги глав, посвящённых, допустим, трилогии Николая Носова о Незнайке. Березин зачисляет её сразу же по нескольким жанровым ведомствам: это и эпос, и без сомнения «утопия среди высокой травы». Тем более любопытная, что возникла в стране, «где книжное представление об утопии формировалось на фоне государственных обещаний», а жители стали объектом социального эксперимента. Опять же «Незнайка на Луне» превратился со временем в одно из самых точных предсказаний капиталистического будущего России.

«Современная утопия, – пишет Березин, – существует в трёх жанрах: политической программы, публицистического триллера и романа боевика. И главное, в современной утопии половой вопрос едва ли не важнее социальных преобразований». Через эти ворота попадает в сборник эссе об «Азбуке секса» Владимира Жириновского и Владимира Юровицкого.

Эволюция древнего жанра утопии – надёжный барометр «движений общественной души». Причисляя утопии советской фантастики к большой литературе, Березин, однако, замечает, что миры, созданные «последними русскими утопистами»¹ – Ефремовым («Туманность Андромеды», 1956) и братьями Стругацкими («Полдень. XXI век», 1959–1962), – никакой радости у сегодняшнего читателя не вызывают. А вот уютное пространство жанра стимпанк, в первую очередь за счёт картинки и фактуры, работает как настоящая утопия: «К нам возвращается XIX век, магия трубочек и медных сосудов с окошками. Все приборы в этих сериалах срисованы с титана в вагоне

¹ Термин В. Березина.

пассажирского поезда, от которого пахнет горячим металлом и углём, дрожит стрелка манометра, растёт красный столбик термометра, пылает внизу открытый огонь...»

С точки зрения мифологии рассматривается и эволюция образа таракана в литературе и кино. Тоже своего рода «необычайное». В русско-советской период «отношение писателей к брату нашему самому меньшему – лакмусовая бумажка свобод и конституций, демократии и гуманности». Через «тараканью призму», оказывается, можно взглянуть на новую трактовку трагического, которую принёс с собой XX век. Или понять – почему усы Тараканища из сказки Чуковского стали воплощением усов Тирана. А там уже, не минуя и Кафку, прямой выход к «чужому-живому» мировой фантастики, где таракан мутирует в «гигантскую хвостатую и зубастую тварь», идеальный образ врага.

Наблюдение за механизмами, по которым работает масскульт (сегодня, при Советах, в более далёком прошлом, по всему миру), – ещё один сквозной сюжет «Необычайного», дающий «целый ворох тем для обдумывания». Здесь вам и концепция автора: в отличие от Барта, Березин считает, что сегодня смерть привычных читательских практик привела к возвеличиванию Автора в противовес Книге, и вывела на рыночную арену две перспективные модели «клоуна» и «сценариста». А эволюцию идеального героя массовой литературы он прослеживает, начиная с Ланцелота, обнаруживая симпатичные читателю качества «добра с кулаками», допустим, в персонажах «лейтенантской прозы» Великой Отечественной, силовиках Бушкова или действующих лицах космических опер, когда на веками опробованный мифологический «каркас *veni, vidi, vici* просто надевается разная оболочка: то покрывало с гномами и эльфами, то звёзды и бластеры, то весёлый ситчик из эмблем НКВД вперемешку с рунами».

Другой, не такой массовый полюс читательской любви, – возникающие время от времени в литературном потоке «книги абсорбции» (к ним Березин причисляет, например, «Дом, в котором» Мариам Петросян, «Щегла» Донны Тарт). И здесь, конечно, воплощается в первую очередь свойственное большинству людей желание социализации. Но «абсорбционным книгам следует быть несколько таинственными, как клякса Роршаха, и почти никогда – широко популярными (читатель должен ощущать свою избранность, что придаёт особый вес горизонтальным связям с другими посвящёнными)».

Объём статьи не позволяет даже бегло коснуться всех тем, затрагиваемых Березиным. Здесь, скорее, даны некоторые иллюстрации направлений, призванные показать, что если пересобрать книгу «Необычайное» с позиции мифологии советского, мы получим внушительную энциклопедию мифологем и смыслов, развитие которых и даёт нам ту литературу, которую мы имеем сегодня. Должен ли быть корпус этих эссе более жёстко структурирован? Вряд ли. Следуя логике «хорошего масскульта», Березин оставляет читателю разомкнутое пространство, куда каждый волен вчитывать собственные интерпретации. Скорее всего, перед нами один из фрагментов (пусть и на 496 страницах) «динамичной книги», «которая находится в состоянии непрерывного дописывания, и “открытость” которой сродни сериальности».

Данила ДАВЫДОВ

НЕПРОЧИТАННЫЕ ЗНАКИ

Юлия Лукшина. Сухое плавание. – М.: Стеклограф, 2021. – 196 с.

В книге Юлии Лукшиной почти все персонажи что-то вспоминают. Иногда они травмированы прошлым, иногда прошлое оказывается мотивировкой и объяснением их поступков, иногда оно просто проступает сквозь морок настоящего, демонстрируя свою силу. Прошлое безвозвратно, ему никогда не стать обретенным, как бы ни пытались некоторые герои этой книги. Впрочем, само по себе прошлое в прозе Лукшиной отнюдь не пассивно: если герои не способны управлять им, восстанавливать его, то само оно вполне может протраивать и направлять жизненные обстоятельства и даже поступки героев. Речь не идет об ответственности или тем более воздаянии за совершенное, прошлое в некотором смысле просто есть (именно есть, а не было), и с его наличием невозможно ничего сделать, – в том числе и сделать сколь-нибудь однозначные выводы. Вот история брака пожилых сторожей, рассказанная между делом направленной им в помощь аспирантке-практикантке, высвечивает жизнь этих людей с совершенно неожиданной стороны («Дед»). Вот героиня, продающая дачу своего детства со всем содержимым, уже после заключения сделки требует вернуть ей эмалированный бабушкин таз («Ловить солище»). Вот героиня обнаруживает на детской фотографии первого и одноклассового любовника саму себя («Сухое плавание»). Все это рассказано ровно, повторяюсь – безоценочно. И совершенно безысходно.

Впрочем, речь должна идти, конечно, не о прошлом только, но о времени вообще. И даже более того, о хронотопе. Это бахтинское понятие, используемое, как правило, без особой нужды, в случае прозы Лукшиной как раз совершенно уместно. Растворенные в некоем

тягучем времени локации, символические топысы (дача, усадьба и т. д.) существуют тут не только и не столько в пространстве, сколько во времени, причем времени как субъективном (поэтому настоящее здесь всегда хоть немного, а вариативно), так и собственно физическом. И время здесь, опять-таки повторяюсь, вполне активно. Не только прошлое, но даже и будущее посылают персонажам некие сообщения, на которые те либо не обращают внимания, либо не способны расшифровать. Такого рода знаки: рисунок с парусником, фотографии, или менее очевидные сигнальные средства, разбросаны в художественном мире Лукшиной с большой щедростью, но самое замечательное в том, что коммуникативная неудача здесь заложена заранее: все увязано, все в конечном счете осмысленно (точнее, в принципе могло бы поддаться осмыслению, которого, как правило, не происходит), но все при этом неотвратимо и неизбежно, поэтому сама проблема понимания того, что текущая реальность во всех своих пространственно-временных извивах сообщает персонажам, остается факультативной. Замечательно и то, что художественный мир Лукшиной, так сказать, и антимагичен, и антимистичен. Магия подразумевает осознанное воздействие на окружающий мир с помощью тех или иных символических форм, будь то артефакт, словесная формула или жест; мистика, в свою очередь, предполагает проступание знаков сверхъестественного в реальном мире и их интерпретацию, как правило, обусловленную степенью посвященности интерпретатора в тайные знания. Некие узнаваемые черты магического и мистического встречаются в текстах Лукшиной, но преподнесены так, что собственно концептуальная сторона магии и мистики деконструируются. Артефакты либо никак не действуют, но действуют по вполне рациональной, коммерческой логике («Зоя»), а «мистические» знаки не только принципиально не поддаются расшифровке из той точки хронотопа, в которой находится повествователь, но, по большому счету, ничего и не изменяют («Хрустальный дом»). Лукши-

на одновременно отвергает и рациональность – как конвенциональную, так и «рациональность» магии (напомню, что магия – всего лишь форма техники), и мистическую иррациональность. Здесь можно было бы пошутить о «четвертом пути», но этой шутки не будет, поскольку Лукшина и в самом деле предлагает весьма нетривиальную концепцию взаимодействия персонажа-актанта с мирозданием, воплощенным в структуре хронотопа. Проследить эту концепцию (не вербализованную самой авторкой, поэтому, конечно, я лишь пытаюсь реконструировать стоящую за ее письмом сверхзадачу) можно практически во всех представленных в книге текстах, однако особенно принципиальную роль, думается, она играет в открывающем книгу цикле рассказов (или повести в рассказах) «Хрустальный дом».

То, что перед нами тексты взаимосвязанные, становится понятно не сразу, принцип, по которому может быть прослежена их взаимосвязь – тем более, хотя само название выдвигает вперед собственно связывающий всех локус, тот самый Хрустальный дом (или его развалины) и связанные с ним усадьбу и деревню. При этом в отдельно взятом тексте сам локус может отсутствовать, связь с ним опосредована знаками персонажей или непрочитанными знаками, которые подают прошлое, будущее или параллельное настоящее. Заданная вроде бы случайными обстоятельствами взаимосвязь персонажей с заглавным локусом и друг с другом может казаться случайной, однако по мере развертывания цикла все больше и больше начинаешь подразумевать некий организующий принцип этой связи, заставляющий вспомнить множество параллельных текстов, от «Дома о семи фронтонах» до «Облачного атласа». Эта связь то кажется зыбкой, то более ощутимой, но она воспринимается как безусловно существующая. Читатель подыскивает привычные интерпретации, но каждый раз обманывается, и остается в таком состоянии и после финальной фразы цикла, которая вообще-то зачеркивает саму необходимость искать высший смысл этой загадочной связи: «Земли, к слову, больше нет» (да-да, имеется в виду именно планета Земля – но завершающий рассказ – единственный, где авторка играет с

жанром постапокалиптической фантастики).

Рискну предположить, что перед нами демонстрация того представления о реальности, которое так редко встретишь в литературе (вспоминается лемовское «Расследование», некоторые тексты Дюрренматта, но вообще-то очень мало что). Реальность здесь рисуется как организованная стохастически очень сложная и насыщенная среда, которая может обрести среди термодинамически более вероятных форм и форму некой квазисмысленности и квазиорганизованности. Взятые изолированно, эти формы естественным образом будут восприниматься как мистическая или по крайней мере чем-то осмысленным предопределенная связь. С другой стороны, собственно «случайность» персонажей, семиотическая неуспешность знаков и не имеющее финального осмысленного разрешения роль сюжетобразующего хронотопа позволяют проследивать между всеми ими неустойчивые и непредусмотренные, но будто-бы-осмысленные взаимодействия, образующие не столько латуровские сети, сколько ассамбляжи в понимании Мануэля Деланды. Лукшина тем самым переворачивает с ног на голову важную конструктивную особенность, присущую нарративной прозе в ее исторически сложившихся формах: перед героем классических повествований открыт весь мир, но мастерство сочинителя часто понимается как умение увязать все сюжетные линии и продемонстрировать неслучайность всех вроде бы случайных персонажей. Обыкновенно этой тенденции противопоставлялась принципиальная разомкнутость повествования, Лукшина же (профессиональный сценарист, между прочим, что говорит о ее понимании всех возможных проблем сюжетостроения) умудряется остаться в структуре замкнутого повествования, но при этом продемонстрировать конечную незначимость столь настойчиво демонстрируемых взаимосвязей. Реальный смысл остается за самим движением времени, все прочее же остается более или менее случайным, даже в том случае, когда кажется закономерным и связанным в один узел. Это не самый утешительный взгляд на реальность, но в исполнении Юлии Лукшиной очень убедительный.

Борис КУТЕНКОВ

ЛАСКОВЫЙ БОГ РЕМЕЙКА

Олег Дозморов. Хорошие песни: [стихотворения] – М.; СПб.: Т8 Издательские Технологии / Пальмира, 2022. – 153 с. – (Серия «Пальмира – поэзия»).

Журнал «Дружба народов» в этом году – сразу в трёх номерах – посвятил опрос теме литературного наследования, как бы выступая этим против усиливающегося разобщения, навводя респондентов на размышления об истоках творческого диалога. Вопросы эти, особенно сегодня, в ситуации идеологического раскола в литературе, стоят очень остро. Не будем оригинальны, сказав, что литературное влияние нередко происходит витиеватым образом, передаваясь, по Шкловскому, «не отца к сыну, а от дяди к племяннику»; часто оно не отрефлектировано, но немалой частью читателей, в том числе и среди профессионалов, интертекстуальность воспринимается как плагиат. Шутливо зафиксированный Львом Рубинштейном (и переданный Михаилом Гаспаровым в «Записях и выписках») случай, как один поэт накинулся на другого со словами: «Сволочь, ты у меня интонацию украл!», – не такой уж казус. Советы ставить бесконечное количество эпиграфов, чтобы подчеркнуть все осознанные и неосознанные отсылки, исходят и от опытных литераторов – но стоит ли? Слова Ахматовой, зафиксированные Лидией Чуковской, о Пушкине, который не стеснялся «тянуть» отовсюду, прекрасно зная, что на выходе получится своё, пушкинское, вновь актуальны. Наш современник Олег Дозморов в новой книге «Хорошие песни» даёт индивидуальный ответ на этот вопрос, ставя взаимоотношения с литературным текстом во главу угла и творчески переосмысляя эту работу, помня и подчёркивая влияние предшественников, заостряя вопрос и поворачивая его новыми гранями.

«Дай руку мне. Нет: дай мне руку, / как сочинил другой поэт / через сто лет...», – пишет Дозморов, цитируя в начале первой строки своего друга и постоянного собеседника Бориса Рыжего, а в качестве «другого поэта», очевидно, упоминая Пушкина («Приятелю»: «Дай

руку мне: ты не ревнив...»), к которому тот эксплицитно отсылает, и менее явно – Павла Васильева («Дай мне руку, а я поцелую ее...»). Возраст всех трёх поэтов, когда они писали своё «дай мне руку» и «дай руку мне», – 22 года, что и позволяет объединить их в рамках общей «романтической» платформы. Говоря о грядущем поэте, который не боится написать «дай мне руку» через сто лет вслед за своим предшественником, автор как бы полемизирует со знаменитым тезисом Умберто Эко¹ и в то же время движется во вполне постмодернистском русле, сохраняя романтическое начало и травестируя его. Неслучайно в одном из стихотворений книги «товарищ миксолог» рифмуется с «раем книжных полок», что аранжировано соответствующим эпиграфом из Бориса Чичибабина («Мне ад везде. Мне рай у книжных полок...»). В самой рифме чувствуется нечто большее, чем простое созвучие, – выход на границы мировоззрения. Дозморов, примеряя на себя роли «миксолога», «бога ремейка», смело помещает своё высказывание в чужой контекст, будучи уверенным в смелости индивидуального голоса и следуя приведённым выше словам Ахматовой.

Для такой роли «миксолога» характерен выход из текста с подчёркиванием аллюзивности: «Это Рыжий, скажете. Не Рыжий...». В то же время в дальнейшем «Это точно не из

¹ «Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей “люблю тебя безумно”, потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что он понимает), что подобные фразы – прерогатива Лиала. Однако выход есть. Он должен сказать: “По выражению Лиала – люблю тебя безумно”. При этом он избегает деланной простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем не менее он доводит до ее сведения то, что собирался довести, – то есть что он любит ее, но что его любовь живет в эпоху утраченной простоты. Если женщина готова играть в ту же игру, она поймет, что объяснение в любви осталось объяснением в любви. Ни одному из собеседников простота не дается, оба выдерживают натиск прошлого, натиск всего до-них-сказанного, от которого уже никуда не денешься, оба сознательно и охотно вступают в игру иронии... И все-таки им удалось еще раз поговорить о любви» (Умберто Эко. Заметки на полях «Имени розы»).

Смелякова, / это нифига не Луговской, / это максимум у Межирова / тихо спёрто нынешней весной» подчеркнуто известное рыжевское «Это что-то задолго до Блока, / Это мог сочинить Огарёв...», и, таким образом, получается двойная интертекстуальная рамка. Прямая речь, которую Дозморов в одном из стихотворений называет и «тоталитарной», и «элитарной», действительно оказывается и той и другой. Элитарность заключается в расчёте на круг посвящённых, ценителей поэзии, способных опознать реминисцентный слой; тоталитарность же – в фактической недоступности интертекста для тех, кто не способен его распознать, и, стало быть, в заведомой обманутости. Но подобная недоступность в случае Дозморова не обрывает ни прямоты речи, ни потенциального доверия к ней. Слово «прямая» по отношению к речи разом и оказывается собственным же оксюмороном, и выступает в первоначальном значении, ничуть не сводясь к речи «буквальной», к отсутствию условности, характерной для искусства.

Прямая речь тоталитарна,
хотя способна и увлечь,
но потому и элитарна,
так береги прямую речь.

Среди текстоидов и практик,
среди скучающих манер
она летит промеж галактик,
как первый в космос пионер.

Дозморов, как и в предыдущих книгах, интертекстуален на самых разных уровнях: «Лупи, щипли, хлещи безжизненного, / зови, но только оживи, не выйдет – / что ж, безукоризненного / похорони, как бы в любви» – нагнетание императивов и сама интонация здесь отчётливо отсылают к Денису Новикову, к его «Будь со мной до конца, / будь со мною до самого крайнего...» Просодическое эхо новиковского «Он произносит: кровь из носа / И кровь течёт по пиджаку» слышится и в начале другого стихотворения:

«Пора валить!» – он произносит
и валит тщательно, с шести,
и пожилой «Ниссан» заносит
катастрофически почти.

(с характерным «саморазоблачением» далее: «а я уже потырил строчку / и переставил в ней слова...»).

Отталкиваясь от чужого слова, Дозморов иронизирует и над литературой, и над литературностью в себе. Постоянная интертекстуальная оглядка, отсылающая к Рыжему с его «я вычеркнул эту строфу», разговор как бы заскобированный, со стороны литературы, может порой вызывать чувство неуместности: Дозморов сделал эту оглядку чертой своего фирменного стиля, и теперь важно не скатиться в самоповтор.

...поэт хороший эту строчку б выкинул.

Снижаемый пафос искусства («Подлое дело стишки...») выступает в «Хороших песнях» как подчёркиваемая оппозиция возможному самопревознесению поэта. В наиболее правдиво-уничтожительном стихотворении книги цинизм искусства передан с осознанной небрежностью. В контексте такого разговора способна шокировать нагнетаемость глаголов с финальным «пожрал», которая не оставляет камня на камне от гипотетически плодотворной трагедии с её намёком «про отца», от возможности упиться собственными страданиями:

Подлое дело стишки:
не смазывал колеса, не ворочал мешки,
переставил слова поближе к мему,
поломал ритм, надавил на тему.

Ай, молодца – написал про отца,
оторвал ладони с лица,
потом в «Асду» пошел,
потом пожрал хорошо.

Вся поэзия в таком преломлении становится одной большой спекуляцией и обесмысливается. И противопоставить этому нечего – но то, что этот разговор ведётся именно стихами, как бы встраивает самого поэта в спекулятивный контекст и превращает пафос обвинения в пафос самоуничтожения.

В одном из самых жёстких стихотворений книги на эту тему – «Засмотрелся на фургон похоронного агентства...» – романтический

штамп «осенний лист» становится «осенним листом в колесе» неосторожного велосипедиста, потенциального убийцы, а лирический герой, «влёккую избегнувший смерти», пересматривает этот пейзаж. Появляются упоминание мастера элегий (в чём вновь узнаётся Рыжий, но как бы критически переосмысленный), «говённое лито» – где, подразумевается, имели место упоминаемые «туман-обман», «осенние листы» и кровавые закаты. Проехавший велосипедист как бы проводит границу между жизнью и смертью, но оппозиция оказывается и другой, характерной для книги Дозморова, – между романтическим искусством и его роковым преломлением в жизни замечтавшегося поэта.

Засмотрелся на фургон похоронного
агентства,
а из подворотни он – сука-велосипедист.
На районе осень, мист – в голове
хештег #из детства.
Зренье злое, боковое, в колесе
осенний лист.

Те стихи, туман-обман, до сих пор приводят в чувство.

Распадается уран, мальчик, чувствуешь его там, где сильно «ай лав ю», где кончается искусство?

Влекую избегнув смерти, раскайфованный стою.

В общем, так. Стихи стихами, стали
дынями с усами,
тот, кто умер, вечно с нами, написав
элегий сто.
Ап, говённое лито, поменяемся местами?
Осень, звон велосипеда, но пока не то,
не то.

Граница, где кончается искусство и начинается жизнь (именно так, не наоборот), вообще интересует автора. В этом стихотворении с явной аллюзией на «Похоронную музыку...» Рыжего («похоронное агентство») «прижимающаяся муза» последнего обретает плотские очертания в виде велосипедиста, возможного убийцы. Не напрямую выраженное, но имплицитно данное здесь «я тоже умру» Рыжего

как бы присутствует в самой интенции, но трансформируется принципиально по-иному. «Жизнь» в виде мгновенной гибели вглядывается в «Хороших песнях» в искусство с мгновенно снижаемым пафосом, и это один из важных дозморовских лейтмотивов.

Упоминаемый лист в стихах книги выступает в то же время провозвестником эмигрантской тоски. «...и в шутку возложил себе на темя», «но тёпл был, и плотен был, и кожист» – тут и игра с лавровым венком поэта в привычном контексте дозморовского снижения, но и эхо цветаевского «Но если по дороге куст / Встаёт. Особенно рябина...», как бы аранжированное постапмеистической точностью деталей. Деталь выступает ожившей, данной *здесь-и-сейчас*, и в этом смысле – противостоянием штампу литературы. В другом контексте, эмигрантском, цветаевское стихотворение появляется уже эксплицитно, в уничижительной роли:

В раскрученном стихотворенье
– ха! – фигурирует как куст.

Непочтительный эпитет по отношению к Цветаевой, даже злорадная пойманность классика на ошибке (впрочем, надо сказать, уже многократно отмеченная и до автора «Хороших песен»), символизирует здесь приближение к теме, данное с позиции эмпирического опыта, но оказывается и свидетельством родства. Тема и травма в каком-то смысле общие, поэтому через расстояния можно говорить с устранением дистанции. В то же время подобное «злорадство» встраивается в характерную для Дозморова индивидуализацию прецедентного текста. Приближение к некоей персонально-житейской правде, осуществляемое через литературу, становится смысловым центром книги. К примеру, рыжевское «я тоже стану музыкантом» явно привлекает Дозморова, перекраивается на новый лад и рождает новое слово – «музыкант» здесь меняется на «топ-агента», – встраиваясь в контексты книги – то шутивно-игровой, то отчётливо нивелирующий по отношению к искусству.

Тема покинутой страны, биографически близкая Дозморову, вообще обостряется по сравнению с предыдущей книгой, «Уральский

акцент» (2019). Тут появляется голос оппонента, в чём звучит как бы предвосхищение удара, отражение в виде (само)нападения и самоуничижения: «гад эмигрантский», «презренный либерал» – во всех этих аттестациях, которыми Дозморов щедро награждает себя (вряд ли думая так о себе всерьёз), звучат и горькая ирония, и голос коллективного бессознательного. (Что скрывать – эта озлобленность присутствует у наших сограждан по отношению к покинувшим Россию, причём зачастую ко всем, без разбора, без анализа персональных причин.) Мир у Дозморова, однако, предстаёт единым – во многом благодаря интернет-границам, и это один из его эмигрантских постулатов.

Не так либерален поэт в отношении границ силабо-тоники. Строка из процитированного выше стихотворения про «стихи, туман-обман», которые «до сих пор приводят в чувство», может восприниматься именно в роли защиты эмпатичной, эмоциональной лирики. Однако перспективы регулярного стиха видятся Дозморову именно в отстраивании от условной «песенности», от ассоциации с примитивным стихом, и здесь заметно стремление не позволять себе опрощаться. (Случайно ли в этом смысле название книги?). Вывод Дозморова и нов, и творчески парадоксален: чувствуя оппозицию по отношению именно к примитивной трансформации регулярного стиха, остаётся стать «сильно интересней» по принципу отталкивания.

Как регулярный стих умрет,
так мы назо всем воскреснем
в нетрезвой песне у ворот.
Нам верлибрист закроет рот,

но нас откроет идиот,
от рифм светлее, мракобесней,
и он туда запустит песней,
где накарябано «народ»

смешно и задом наперед.
Я это говорю без лести.
Мы станем сильно интересней,
ну вот, такой вот поворот.

Другое дело, почему разговор об этом «открытии» ведётся в будущем времени (транс-

формация регулярного стиха в поп-песню – явление, мягко говоря, не новое)? И так ли «светлая сторона» непритязательной песни увязана с «мракобесием»? Разговор об этом требует отдельной полемики. Однако нельзя не признать, что в спорах об инерции и умирании регулярного стиха стихотворение Дозморова ставит любопытную запятую.

Отдельного осмысления требует сама роль «народного поэта от литературы», явно при-меряемая на себя Дозморовым: «Но даже те, что у стойки молчат, / Станут сейчас стихами». Здесь чувствуется прямое наследование Рыжему с его насыщенностью упоминательной клавиатуры, погружённостью в интертекст мировой культуры при наличии конкретизированного, живого, узнаваемого героя в центре повествования. И, возможно, в постулате о регулярном стихе звучит и предупреждение самому себе – не дать себе возможность опроститься до песенности, чувствуя именно подобный вектор своего развития. Надо сказать, что упреки в нулевом градусе письма, едва ли не в опрощении до альбомной графомании явно могут ожидать автора «Хороших песен»: «Дура я, поверила ему, / слала письма с марками в тюрьму, / пироги таскала на свиданки, / огурцы закатывала в банки» – если бы писал это не Дозморов, если бы не знание нами контекста его творчества, не игрово-стилизационный характер повествования, то претензии в подобных виршах можно было бы обратить к самому поэту. «Слог может быть дурацким», – пишет автор: подобная «дурашливость» вновь и вновь ложится в книгу в основу стиля. Но контекст в случае Дозморова необходимо учитывать, возможно, с особой тщательностью: движение по грани эстетического риска, всецелое разрушение литературности и её радикальное нагнетание одновременно – это очень дозморовски, отслеживание границы между ними требует внимательного чтения.

Книга, однако, эмпатична по отношению к низовым сторонам жизни. В аллюзии на Пушкина («И жизнь, и слёзы, и стихи») из триады явным образом неслучайно вычтается слово «любовь», в то же время можно увидеть здесь неслучайную замену. «Любовь» равняется «стихам», но понимается куда шире, распространяясь и на образ современного «маленького человека». В роли рыжевских уроков,

народных «героев» у Дозморова выступают лондонские нищие и гастарбайтеры, данные в книге в обилии. Так, в эксплицитном переложении ходасевичского «Мне невозможно быть собой...» сталкиваются реальный нищий и поэт, «стиховор»: последний выставляет напоказ своё «стиховоровство», пусть и во внутреннем монологе. История кражи в магазине выглядит реалистичной, но противопоставленное ему (произнесённое в воображении поэтом охраннику) «Стыди меня, ведь я украл, / шоплифтер я, нет, стиховор» – ситуация настолько умозрительная, что поиск «родства» с магазинным вором в таком контексте предстаёт как обратное – отсутствие всякой общности. Подобная беспомощность перед лицом охранника опять-таки «работает» на излюбленную дозморовскую тему нивелирования литературы. Неуклюжесть поэта перед ситуациями реальной жизни вновь и вновь заставляет Дозморова варьировать тему собственного отщепенства – но в данном случае «отщепенство» поэта становится горькой и, увы, неравновесной противоположностью унижению социальному. На одной чаше весов оказываются материальный достаток конкретного лирического героя, его благородный порыв по отношению к нищему («А нужно было бы легко / его в уста поцеловать, / и напоить «Вдовой Клико», / и номер ему в «Хилтон» снять»), его богатейшее знание поэзии. На другой же – полнейшее равнодушие ко всему этому мира, воплощённого в образе магазинного воришки. Жизнь в интерпретации Дозморова вновь и вновь побеждает литературу, и эта победа не оставляет вариантов в разрешении экзистенциальной дилеммы. «...я в пирог положу кишкодеры из слов, / против сладкоголосья ежи» – все эти признаки словесного пиршества вновь и вновь вбрасываются поэтом в бытовой контекст и не выдерживают сопоставления просто как данность существования.

Вопрос собственной индивидуальности на чужом фоне остаётся для лирического героя Олега Дозморова одним из ключевых и отнюдь не сводится к цитатности или к образу маленького человека. «Всё подражанье» – говорится в контексте отца, а в другом, схожем контексте эта тема выступает с привычным для автора самоуничтожением:

Взгляд отца, и сутулость, и руки,
узкий череп, устройство мозгов,
и от матери плачи и музыки –
все украдено у родоков.

Умение сохранить собственное лицо через литературный интертекст явно заботит поэта: это так привлекает его у Рыжего, отсюда же – альбомность и сниженность литературного пафоса, всегдашняя тяга к биографическому откровению, привязанность к ностальгической теме – как различные способы «отталкивания» от литературы. В одном из лучших стихотворений книги среди различных определений гения даётся и такое: «...инверсия любви, дружб неопрятных спесь, / насмешливый привет того, кто быстро выпил, / тому, кто обречен трезветь и плакать здесь». В этом, кроме очевидной отсылки к Венедикту Ерофееву, можно услышать и новый отголосок взаимоотношений с Рыжим: «инверсия любви» – как повороты его поэтики новыми гранями, «дружб неопрятных спесь» – как осознанное нахождение в разном образном и хаотичном творческом диалоге. Что ж, следы этого диалога в книге Олега Дозморова творчески плодотворны, найденные нами аллюзии – только малая часть, но вовлекаться в этот творческий мир всегда интересно. Ощущения читателя этой книги – сродни ощущению от хорошего детектива, но, слава Богу, этим не ограничиваются. Благодарность поэту за его эмпатию и за постоянную готовность находиться в диалоге, не только в литературном, – рождает резонанс, выходящий за рамки литературы в область этики.

Елена СОЛОВЬЁВА

ДАГЕРРОТИП САМОЙ СЕБЯ

Анна Арно. Ты не заставишь меня открыть глаза. Стихи и переводы / Перевод Екатерины Симоновой. – Екатеринбург – Москва: Кабинетный учёный, 2022. – 120 с. – (Серия «InВерсия». Переводы; вып.3).

*В нашем теле друг за другом
проживают свою жизнь разные
люди, дети каждого нового дня,*

и сегодняшний пожирает вчерашнего так же, как завтрашний поглотит сегодняшнего, оставив себе какие-то его воспоминания, и наше тело – это кладбище душ.

Мигель Унамуну

В качестве эпиграфа к рецензии взяты слова испанского поэта-философа, который неоднократно превращал себя в персонажа своих произведений и придумывал героев, «онтологически равных автору». Екатерина Симонова, создательница поэтессы Анны Арно, могла бы под этим высказыванием подписаться. Тема самоидентификации, текучести собственного «я» и его постоянного ускользания – сквозная для всех пяти книг¹ этого автора, начиная с 2004 года. «С собою она так и не познакомилась, ведь «ей хорошо без имени и тела», – писал в послесловии к «Саду со льдом» (2011) её учитель Евгений Туренко, наблюдая за напряженным взглядыванием Симоновой в свои отражения, когда зеркалом могли стать и средневековый гобелен, и Петроград Серебряного века, гладиаторская арена Древнего Рима или античные руины.

Арно не первая попытка создания гетеронима: книга «Гербарий» (2011) открывается отрывком из воспоминаний Адели С., персонажа, который на правах реально существующего человека инсталлируется автором в божественное общество Башни Вячеслава Иванова; фб-записи 2013–2015 годов Симонова ведёт от лица лукаво-простоватой Катеньки. «Под этой маской, – признаётся она, – мне было проще вписываться в Екатеринбург, куда я переехала из Нижнего Тагила. Что же касается Адели С., то это кукла, подаренная мне поэтом и издателем Еленой Сундовой». Анна Арно («Анна Arnot, 1953–1997»), американский поэт французского происхождения, уверенно выступающая «из тени таких выдающихся американских поэтов XX века, как Элизабет Бишоп

и Одри Лорд» «сделана» с особым тщанием², во-первых, у неё есть биография, написанная Олегом Дозморовым и приправленная его же, весьма тонким и точным, литературоведческим анализом творчества. Во-вторых, каждый «перевод» имеет английский «оригинал» – плоды трудов Katherine Robert Eginton.

Для целостного понимания корпуса текстов и его композиции нам важно знать, что выросла Анна в маленьком городе Биддефорд штата Мэн, буквально среди книг, её отец француз-филолог держал книжную лавку, мать Елена, погибшая в результате несчастного случая, напоминающего самоубийство, была швейей. Человека, имевшего важное значение в жизни Анны, тоже звали Елена. Умерла Арно при обстоятельствах, зеркалящих смерть матери. Зеркалит она и некоторые элементы биографии Элизабет Бишоп. Например, так же переписывается с ней, как Элизабет в своё время переписывалась с поэтессой Марианной Мур. Но главное – голос. Книга Арно – учебник «искусства расставания» или «умения терять», которое культивировала Бишоп. «Поиск счастья и любви, ее раз за разом ненахождение и последующий перевод, пересадка сюжета в стихотворение – есть ключ к пониманию философии Арно», – поясняет Олег Дозморов, слегка пародируя «классического литературоведа-интерпретатора». Интонации Арно по аналогии с джазом можно отнести к «холодному» направлению женской лирики: «Взгляд читателя всегда отвлечен от главного, но всегда погружен в ситуацию – в этом особая магия стихов Арно. Впрочем, все сказанное о поэзии Арно в равной степени верно и для стихов самой Екатерины Симоновой»³.

Под обложкой сборника «Ты не заставишь меня открыть глаза» 79 верлибров из книг «Отражения Анны» (1983), «Освобождение, только похожее на любовь» (1990), «Наши невидящие глаза» (1997). Композиционно они

¹ Быть мальчиком (Нижний Тагил: Объединение «Союз», 2004), Сад со льдом (М: Русский Гулливер, 2011), Гербарий (New York: Ailuros Publishing, 2011), Время (New York: Stosvet Press, 2012), Елена. Яблоко и рука. (New York: Ailuros Publishing, 2015), Два ее единственных платья (М.: Новое литературное обозрение, 2020)..

² До книги Анны Арно в серии «InВерсия» под гетеронимами вышли ещё три стихотворных сборника (Гала Пушкиренко. Матрица Э. Дикинсон (2020), Никита Иванов. Василий (2020), Павел Басков. Звук (2021) , но ни один из них не был снабжен хорошо разработанной биографией автора.

³ Олег Дозморов. Опыт краткой биографии // Анна Арно. Ты не заставишь меня открыть глаза. С.16.

выстроены сходным между собой образом: смысловая доминанта, как бы пересобирающая текст заново, заостряющая, а подчас и переворачивающая его посыл, приходится на последнюю строфу. Она размыкает «частное» во «всеобщее»:

Плотоядна моя любовь

«Плотоядна моя любовь», —
радуюсь я, выгрызая
каждый твой хрящик, высасывая
каждую твою косточку.

«Плотоядна моя любовь», —
урчит кошка, поедая
своих слепых детенышей,
хрустя мягкими позвонками.

«Плотоядна моя любовь» —
шепчет господь бедной Анне,
заставляя ее проживать
не свою жизнь.

Как «Камень» Осипа Мандельштама, поэта, досконально изучившего «науку расставания», балансировал на грани немоты и звука, так и книга Арно существует на лезвии света и тени (бытия/небытия, проявленности/растворенности, своего/чужого, жизни/смерти). Как и у акмеистов, работа здесь идёт через скрупулёзно выписанную деталь (фрагмент, предмет), так помещённый в фокус, что вдруг вспыхивающий поток лучей-смыслов рассыпается фейерверком, и видно становится «во все стороны света». Андрей Тавров в 2012 году в предисловии к книге «Время» Симоновой говорил о «поэтике «аур»» или поэтике «ауратичности», свойственной автору: «Дело в том, что слова этого поэтического языка необычны — они похожи на планету Сатурн — смысловое ядро каждого из них не ограничено самим собой, а окружено некоторым резонирующим кольцом или сферой, в котором основной смысл ядра распределяется по эхообразной траектории, налитанной пространством и воздухом. При взаимодействии эти слова, расположенные в замедленном ритме строки, скорее смешивают свои «ауры», чем формулируют

жёсткие смыслы «ядер». Отсюда возникает чудесная пластика пассажей»¹.

В случае Арно «ауратичность» слов-образов выходит за рамки стихотворного периода или отдельно взятого пассажа, а пролонгируется на композицию книги в целом. И наблюдение за тщательно срежиссированным балетом этих комбинаций — отдельный сюжет. Читатель может отправиться в подобное путешествие и непременно вернётся с собственным открытием, следя в пространстве сборника за метаморфозами, происходящими с зеркалом, лицом, картиной, фотографией, стулом, лодкой, паутиной, пылью, песком, камеей, птицей, чашкой. Так «*чешуя* старой краски» на бортах лодки, засыпаемой песком, из первого верлибра мини-цикла «Потерянный день полный смятения» в последнем оборачивается сказочными существами, которые «выходят из моря ночью. // Играют в волейбол, // блестят розовой *чешуей*, // сидят в пустой лодке, выглядят кого-то вдали».

Возможно, здесь стоит говорить о волнообразных мотивах, в которые складывается движение образов (так и хочется добавить — в режиме отлива-прилива). Главный из них такой: жизнь — непроявленный, стёртый поток дней, уносящий, вымывающий самое дорогое; крупницы «ценного-настоящего» сохраняются только в момент световой вспышки-осмысления, внезапного озарения, не важно чем вызванного, хотя чаще всего в случае Арно это любовные переживания. Именно поэтому единственное стихотворение, названное «Поэзия», представляет собой вполне обыденную сценку, где идёт дождь, подруга Анны курит на террасе, когда вдруг «замигала и лопнула лампочка». «Очевидно только это, — смеялась ты, вкручивая новую лампочку, — в своё время любой свет гаснет». Оттого автору важны те виды искусства, которые работают со светом: живопись, это главный способ остановки времени у Арно, консервация момента через его светотификсацию.

Довольно часто стихотворение превращается в картину — или картина в стихотворение. В таких текстах каждый предмет будто омыт

¹ А. Тавров. Возможность рая // Е. Симонова. Время. С. 5

светящейся пустотой, как случается в работах американских художников Эндрю Уайета и Эдварда Хоппера: «в пустой мастерской // с зарешеченными окнами // лодка света // плывет посередине»... «смерть одной из нас превратит вторую // в отражение, потерявшее своего хозяина, // не отражающее никого, значит, не существующее» («Зеркало в пустой комнате»).

«Жизнь становится потихоньку картиной», но если в тексте присутствует женщина, чаще всего она стоит спиной, почти никогда не оборачивается, да автор и не хочет, чтобы она оборачивалась. Глаза любовников тоже зачастую закрыты, более того, лицо самой Анны – «единственный предмет, // который она не может найти, // назвать своим, избавиться от него, // стать просто зрителем, как и ты, смотрящий». Назвать = избавиться, ещё одна из функций поэзии, терапия неизбежной смерти.

Лицо Арно то же зеркало наоборот. Оно полно чужих отражений: ««Анна, – они мне говорят, – тебя зовут Анна», // показывают мне отражение в зеркале, // я же смотрю и вижу: Катерину, Натана, Зою, Доминику, // Александра, // заiku Инес – всех моих возлюбленных, // всех, кроме тебя, Анна»¹. Для Арно любовь не только «метафизическая жажда сущностью другого»², это попытка нащупать и понять себя, удержать и зафиксировать собственное «я». Счастливая любовь такую иллюзию на какое-то время даёт, несчастная лицо и красоту стирает. «Разглядывала себя в зеркало, как безумная, // Никак не могла разглядеть в себе ни одной // красивой черты» – признаётся брошенная героиня стихотворения «Жемчуг».

Для поэтики Арно важна даже не графика чёрно-белой фотографии, а светочувствительность йодистого серебра старинного дагерротипа, который называли «зеркалом с памятью», где изображение в зависимости от

наклона к источнику света могло выглядеть как *позитив* и как *негатив*. «Это, – учит нас википедия, – приводит к неудобству, позволяя видеть нормальный снимок только под определённым углом, но в то же время создаёт иллюзию реальности образа. Репродукции дагерротипов дают лишь общее представление об их изображении, не передавая его подлинного вида».

Арно – негатив Симоновой – затем Симоновой и нужна, что она не просто эвристический и герменевтический способ познания себя, не только щит, за которым прячется реальный автор, или очередная попытка актуализации альтернативных жизненных сценариев. В пространстве её книги создаются идеальные условия для игры светотени, отстранения, той возможности, на которую указывала ещё Ольга Седакова в предисловии к книге «Елена. Яблоко и рука» – редкая вероятность даже не услышать, а *увидеть* собственный поэтический голос со стороны.

При посредничестве Арно Симонова устраивает сложную зеркальную ловушку для собственного «я», когда взгляд *сегодняшний* одновременно и *потусторонний*, из «другого места», заброшенного дома, со старого фото или киноплёнки, когда «наши невидящие глаза видят чудовищ за твоей спиной». И это «единственное достоверное, что осталось». Когда одновременно можно ощущать, что проживаешь «несколько жизней сразу», и испытывать «слишком мало невозможности своего присутствия рядом с вами», переместиться внутрь взгляда своей двадцатилетней погибшей матери и почувствовать то, что видела она; когда можно «отталкивать увиденное» и уходить в него, как уходит под воду.

И хотя в послесловии Симонова утверждает, что Арно не похожа на неё «всем своим “я”», для обеих самое дорогое – память, которая бережёт снимки озарения: «ты навсегда останешься в ней *той самой, // неповторенной* – тёмный силуэт на фоне распахнутой двери».

«Только когда не остается любой надежды, тень и свечение становятся тлением

и любовью».

¹ «Лицо Анны», текст, открывающий книгу.

² Выражение поэта Антонио Мачадо, который в 1923 году выпустил «Песенник апокрифов – двенадцати поэтов, которые могли бы существовать» с указанием краткой биографии каждого. Сам он тоже был среди них.

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 20 октября 2022 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.